



СЕМЕН КЛЕБАНОВ
ПРОЗРЕНИЕ



Scan Kreyder - 26.05.2018 - STERLITAMAK



СЕМЕН КЛЕБАНОВ

ПРОЗРЕНИЕ

ПОВЕСТИ



МОСКВА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1984

84P7
К 48

К48 Клебанов С. С.
Прозрение: Повести. — М. : Мол. гвардия, 1984.—
352 с. — (Стрела).

В пер. 1 р. 40 к. 100 000 экз.

В книгу вошли две остросюжетные повести о наших современниках — «Прозрение» и «Спроси себя», объединенные темой нравственного и гражданского воспитания молодого поколения. Автор исследует важнейшую проблему ответственности советских людей друг перед другом, перед моральным кодексом нашего общества. С повестью «Спроси себя» читатели знакомы, она была издана в «Молодой гвардии» в 1978 году. Повесть «Прозрение» новая.

К 4702010200—036
078(02)—84 170—84

ББК 84P7
P2

© Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.

ПРОЗРЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утром третьего июля профессор Дмитрий Николаевич Ярцев, ведущий офтальмолог одной из московских клиник, как обычно, проводил обход больных.

Без пяти минут девять он вышел из кабинета и направился в ординаторскую.

Он открыл дверь, все сразу встали, поздоровались и ждали, когда Дмитрий Николаевич скажет привычное: «Начнем».

Но профессор сообщил:

— Сегодня у нас праздник.

Врачи недоуменно переглянулись. Никто еще не успел спросить о неведомом празднике, как в ординаторскую вошли старшая медсестра Лидия Петровна и санитарка Евдокия Ивановна.

Все называли ее тетя Дуня. Она редко бывала в этой комнате и не понимала, зачем ее сюда пригласили. «Неужели промашку допустила?» — подумала она, смущенно глядя на профессора.

— Сегодня у Евдокии Ивановны день рождения, — прервал неловкую паузу Дмитрий Николаевич. — Такой у нас праздник.

— А мне и в голову не пришло... Сама забыла... — упавшим голосом сказала Евдокия Ивановна.

Дмитрий Николаевич пододвинул ей стул:

— Праздник! И вы, пожалуйста, садитесь.

Евдокия Ивановна, присев на краешек мягкого стула, стянула с головы выцветший платочек и стала тереть его концы.

— Мне очень приятно, — сказал Дмитрий Николаевич, — поздравить нашу коллегу, милую тетю Дуню. Без таких людей жить трудно, просто нельзя. Мы вас любим... Давайте пожелаем Евдокии Ивановне крепкого здоровья, радости и счастья.

Все дружно захлопали.

— Одну минуточку. Еще не все. — Он вынул из кармана накрахмаленного халата синюю коробочку, извлек оттуда часики и надел их на худую руку Евдокии Ивановны, ясно приметив на сухой коже пятнышки гречки. — Пусть время долго отсчитывает дни вашей жизни. — Дмитрий Николаевич обнял санитарку, поцеловал ее.

Тут же подошла Лидия Петровна с букетом цветов.

Тетя Дуня взяла большой букет, промокнула глаза уголком платочка и встала.

— Спасибо вам... Будьте все здоровы... — И смущенно добавила: — Я пойду, Дмитрий Николаевич... В двадцать шестой надо ребятишек покормить...

Профессор приветливо кивнул и, когда она вышла, сказал привычное: «Начнем».

К обходу Дмитрий Николаевич относился с высокой мерой требовательности, которая позволяла ему следить за многоликими формами течения болезней, быть в курсе успехов и неудач исцеления людей...

С этого, считал профессор Ярцев, начинается искусство врачевания. Он был убежден: больной есть объект для созидательной работы врача.

Закончив обход палат левого крыла, Дмитрий Николаевич остановился в небольшом холле и обратился к коллегам:

— Меня настораживают жалобы Дроздова на неутрачивающие головные боли. Вторая неделя, если мне память не изменяет. Ведь так, Сергей Васильевич?

— Восьмой день, — уточнил сухощавый врач в прямоугольных очках.

— А диагноза нет, — перебил профессор. — Вы, наверное, стесняетесь пригласить консультанта? Разве это зазорно? Полагаю, опасаетесь подрывать свой авторитет... Но Дроздову, равно как и всем другим, хочется одного: чтобы ему помогли... Кто это сделает — Сергей Васильевич или Ираклий Леванович, — им, страждущим, глубоко безразлично. Поможем, вылечим — поблагодарят за чуткость, за мастерство. А если боль не пройдет — тут уж всю медицину будут шерстить... И поделом: врач не имеет права лукавить. Иначе мы уподобимся мольеровскому лекарю, который твердил: «Болезнь — это отсутствие здоровья».

К профессору подошла Лидия Петровна, напомнила:

— В двенадцать тридцать у вас операция. Шестаков из тридцать первой ждет. Вы обещали выписать его.

Дмитрий Николаевич взглянул на часы. Он не любил опаздывать сам, не любил, чтобы опаздывали другие.

— Обещал, обещал... — Он улыбнулся. — А вдруг?.. Ладно, сейчас решим.

— Я вам нужна?

— Неизменно и обязательно, — с веселым озорством ответил профессор. — Загляну и в тридцать вторую. Там я тоже обещал... Подготовьте больного к осмотру.

В тридцать вторую палату Лидия Петровна вошла, когда Федор Крапивка, сидя на кровати, нащупывал ногой больничные шлепанцы.

— Кто? — спросил он и, услышав голос медсестры, лег обратно на скрипучую койку.

Лидия Петровна поставила на столик все необходимое для перевязки.

— Опять лечиться будем, — раздраженно сказал Крапивка, предполагая, что сейчас снимут повязку с его глаз и начнется очередная процедура.

Но вместо этого он услышал:

— Сегодня, Федор Назарович, решающий день. Если все будет благополучно, Дмитрий Николаевич разрешит выписать вас.

— А где он? Его нет?

— В соседней палате задержался.

Сняв повязку, Лидия Петровна промыла Крапивке глаза и отметила про себя успешный исход операции.

На соседней тумбочке лежал кем-то оставленный календарик. Апрель и май были зачеркнуты — следы терпения и надежды. Сбылись ли они?

Лидия Петровна подала Крапивке лупу и календарик. Он без охоты глянул на него.

— Хорошо видите?

Крапивка кивнул.

— Прочтите.

— Союзпечать... 1965 год... — И добавил: — Здесь два месяца вычеркнуты.

— Читайте нижнюю строчку.

— Цена две копейки.

Вошел Дмитрий Николаевич. В его глазах еще лучилась радость, губы улыбались.

— Здравствуйте.

Крапивка ответил не сразу, долго смотрел в окно, потом, словно задохнулся, ответил тяжело:

— Здравствуйте...

— Одного сейчас выписал в лучшем виде. Честно говоря, не очень верил в успех... Тяжелый случай. Ну, здесь как дела?

— Все нормально. Отделяемого не было, — доложила Лидия Петровна.

Дмитрий Николаевич заметил странный взгляд Крапивки и уловил легкое дрожание рук.

— Ну, ну, не волнуйтесь.

Крапивка сел на стул, откинул голову.

Дмитрий Николаевич склонился и, нажав пальцем на его веко, спросил:

— Больно?

— Нет.

— Откройте глаза. Закройте. Еще раз откройте. — Он снова надавил на веко. — Больно?

— Нет.

— Что-то вы хмурый сегодня, Федор Назарович. Радоваться надо. Все хорошо.

Крапивка встал, глубоко вздохнул и молча направился к двери. Вдруг остановился. Потом, как бы преодолев оцепенение, нерешительно повернулся и шаркающими шагами, которыми привык ходить за годы слепоты, подошел к профессору.

— Что с вами? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Домой отпускаете? — произнес Крапивка.

— Да, домой. Мы сделали все, что могли...

Крапивка молчал. И только взгляд выдавал его смятение.

Дмитрий Николаевич подумал, что Крапивка остро переживает свое одиночество и сейчас его охватил страх перед началом новой жизни.

— Нельзя падать духом... Вам помогут, Федор Назарович, вы ветеран войны. Не оставят без внимания. И мы письмо напишем. Будем просить...

— Спасибо... Спасибо... — перебил Крапивка. — Я, конечно, благодарю за все. А вот смотрю на вас... Очень вы лицом похожи на одного человека. Ну, просто вылитый он... Вот напасть какая...

— С прозревшими это бывает, — улыбнулся Дмитрий Николаевич. — Один во мне родного брата признал. Помните, Лидия Петровна?

— Помню. Потом сам смеялся.

— Но я-то не ошибаюсь. Я того Проклова и слепой видел. На всю жизнь запомнил. И теперь на вас смотрю, даже страшно. Вылитый Иван Проклов.

Дмитрий Николаевич замер. Было почти физическое ощущение удара. На какой-то миг все окружающее как бы погасло, провалилось во тьму. Откуда-то издалека донесся голос Лидии Петровны:

— Кто же этот Иван Проклов?

— Бандит... Отца и мать моих убил...

— Что вы плетете, стыдно слушать! — возмутилась Лидия Петровна.

— Вылитый Проклов, — зло произнес Крапивка. — А вот фамилия почему-то другая...

Кабинет Дмитрия Николаевича глядел большими зеркальными окнами на тихий скверик с фонтанчиком.

И всякий раз, ощутив усталость, Дмитрий Николаевич подходил к широкому подоконнику и, облокотившись, разглядывал скверик, где молоденькие мамы выстраивали вокруг фонтана детские коляски.

Дмитрий Николаевич мысленно усаживал среди них Марину, а в коляске — будущую свою гордость — внука. При этом он суеверно трижды постукивал по дереву, чтобы мечта сбылась.

Сейчас же, почти выбежав из палаты, Дмитрий Николаевич бесцельно и долго плутал по длинным коридорам больницы, прежде чем пришел в просвеченный солнцем кабинет. Вопреки давней привычке он не раскрыл окно, а наглухо зашторил его.

Комната погрузилась в серую темноту; померкло круглое зеркало, висевшее над умывальником, но Дмитрий Николаевич все-таки заметил горячий блеск своих запавших глаз, окаймленных синеватыми полукружьями.

Он сидел, прижавшись к спинке кресла, разглядывая одинокий блик, дрожавший на стене.

«Откуда он? Почему это пятно света тоже кажется страшным? — подумал Дмитрий Николаевич. — Неужели тем, что похоже на крест?..»

Всем своим существом он сознавал, что случилось непоправимое. Время, отсчитав долгий срок, отбросило его в прошлое. И сделало это глазами слепца Крапивки, которому он вернул зрение.

Все, что давным-давно затерялось в тайниках дав-

них лет и, казалось, навсегда исключало воскрешение Ивана Проклова, обернулось катастрофой для Дмитрия Ярцева.

«Что делать?.. Что делать?» — с тупой навязчивостью твердил Дмитрий Николаевич. Голос отчаяния безответно пропадал в душной темноте кабинета, на белой двери которого висела табличка: «Доктор медицинских наук профессор Д. Н. Ярцев».

Сколько суждено ей висеть?

Ректор института любил повторять студентам — будущим хирургам: «Мы часто говорим: человек — кузнец своего счастья. Не забывайте: он же и кузнец своего несчастья. Сотворите свою судьбу».

Спустя много лет они встретились на симпозиуме медицинских работников, и ректор не скрывал радости, говоря об успехах застенчивого студента Мити Ярцева, которым теперь по праву гордится институт.

Что бы он сказал теперь?

Судьба дала Дмитрию Николаевичу большую отсрочку. И только сейчас, там, в тридцать второй палате на четвертом этаже, эта отсрочка была аннулирована. А ведь он верил, что она дана ему навсегда.

Дмитрий Николаевич вдруг вспомнил, что сегодня предстоит операция. «А если я не смогу? Даже пальцы не гнутся. Почему я должен? Нет профессора Ярцева. Слышите, нет...» Дмитрий Николаевич вновь увидел палату, а в ней Крапивку, услышал его слова: «Иван Проклов... Бандит... Отца и мать моих убил». «А при чем здесь Проклов? Ждут профессора Ярцева... Люди доверяют ему свои жизни. Ему... Значит, он есть. Есть. Просто я сейчас не могу, немеют руки. Не видят глаза. Слышите! Кому позвонить? Кому объяснить?» Дмитрий Николаевич рванул узел галстука...

Вдруг возникло туманное, хмурое фронтовое утро, когда мимо медсанбатовской палатки провели дезертира с кошачьими глазами, в расстегнутой гимнастерке без ремня и погон и рядом, в прилеске, расстреляли. За минуту до смерти дезертир хрипло, истошно заголосил: «Мама!..»

В кабинете зазвонил телефон. Дмитрий Николаевич не поднял трубки.

Снова резанул телефонный звонок.

— Слушаю.

— Мы вас ждем, Дмитрий Николаевич, — сказала Лидия Петровна.



Дмитрий Николаевич молчал. Потом медленно опустил трубку.

Он опять заметил световой блик, раздраженно отвернулся от навязчивого креста.

Наконец он встал, резким движением раздернул шторку, нагнулся к умывальнику, ополоснул лицо холодной водой. А подняв голову, увидел в зеркале побелевшие виски.

«Так кто же ты? Проклов? Нет, черт возьми! Ты Дмитрий Ярцев. Спроси людей: кто их оперировал? Они скажут: «Ярцев!» Разве так просто зачеркнуть всю жизнь?.. Не Проклов, а Дмитрий Ярцев был землекопом в Челябинске. Это он учился на рабфаке. Это Митя Ярцев падал в обморок в анатомичке. Ярцев делал первую полостную операцию, а потом сотни, тысячи других операций. Это Дмитрий Ярцев пошел на фронт и одолел все военные дороги... Ему уже пятьдесят три года... Много это или мало? Не знаю. Это не арифметика... Ну какой же я Проклов? О чем я?! О чем?!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Елена Сергеевна и Марина вышли из вагона, и он с грустью смотрел через окно на своих женщин. Они стояли на платформе в сумерках, окрашенных вокзальными огнями.

Поезд тронулся. Медленно поплыли эмалевые таблички «Москва — Челябинск».

Поездка Ярцева возникла неожиданно.

В Челябинске отмечался юбилей глазной больницы. Кто-то из местных врачей прослышал, что Дмитрий Николаевич когда-то работал в Челябинске, ему послали приглашение, в котором подчеркнули его причастность к городу.

Дмитрий Николаевич изменил порядок ближайших дел, выкроив для поездки четыре дня.

Встречу с коллективом больницы, который собрался в актовом зале, он начал так:

— Прежде всего сердечно благодарю вас за любезное приглашение. Мне действительно пришлось в свое время работать здесь — на строительстве тракторного завода. Был я тогда землекопом. В ту пору профессия была престижная, поскольку все земляные работы велись вручную. Мозоли, правда, у меня исчезли, но сохранились добрые воспоминания о Челябинске. Теперь

по существу... Два дня я имел возможность наблюдать сложные операции, выполненные на высоком уровне. Не ждите от меня оценок и поучений. Боюсь оказаться в роли пожарника из анекдота, который, проработав много лет в филармонии, на вопрос: «Какая разница между виолончелью и скрипкой?», ответил: «Виолончель горит дольше...»

В зале рассмеялись, поаплодировали.

— Мне представляется важной для нашего общего дела заповедь: «Не заслони собой другого». Да, да. Авторитет науки нельзя подменять авторитетом того или иного работника.

Закончив беседу, ответив на вопросы, он сказал:

— А теперь я поброжу по городу.

От машины он отказался и двинулся пешком в район тракторного завода.

Все было неузнаваемо. Все было новым и больше относилось к Танкограду, чем к довоенному Челябинску, а тем паче — к старой Челябине с ее мукомольнями и винокурнями.

Только земля под ногами была прежняя, та, что когда-то раскинулась целинными просторами с березовым редколесьем.

Но об этом знает лишь память. Облик той жизни можно еще увидеть на поблекших фотографиях в музеях города и завода.

И все-таки Дмитрию Николаевичу повезло: он нашел несколько домов старого города. На Сибирской улице он узнал кирпичный двухэтажный особняк торговой фирмы братьев Якушевых, где позднее размещалась контора Челябтракторостроя. Он ни разу не был внутри помещения, но вывеску запомнил: на ней красовался богатырский трактор.

Время перекроило город, судьбы людей...

Дмитрий Николаевич мысленно расставлял по прежним местам приземистые бараки, баню, санитарный пункт, столовки и магазин с громким названием: «Универмаг Центрального рабочего кооператива». Это был такой же барачный дом, к которому выстраивались длинные очереди и медленно втягивались внутрь, где пуствовала половина прилавков.

За магазином пролежала дорога к Шершневским каменным карьерам. По обе стороны тянулись землянки и убогие камышитовые хибары.

Дмитрий Николаевич поймал себя на том, что вспо-

минает с таким старанием, словно должен рассказать кому-то обо всем подробно и не имеет права ошибиться.

«А где же была комендантская?» — спросил он себя и не мог ответить.

Комендантская... Комендантская... С нее все начиналось.

Сюда сводились дороги и тропки тогдашних смоленских и тамбовских, рязанских и пензенских крестьян. Шагали в одиночку и артелями. Шли землекопы и плотники, лесопильщики и коновозчики-грабари. Шли сотнями, тысячами, в лаптях и зипунах.

Только за один тысяча девятьсот тридцатый год на Челябинскстрой прибыло сорок три тысячи человек.

Запиши кто-нибудь тогда рассказы пришедших, какая бы осталась потомкам любопытная и поучительная книга, где судьбы людские открылись бы через надежды и отчаяние, тяготы и веру в завтрашний день.

Комендантская... Комендантская...

Многие приходили сюда с пилами, топорами, лопатами; здесь особо ценились те, у кого был собственный инструмент.

Гроыхали чайники пришельцев, привязанные к сундукам и старым заплатанным сидорам.

Комендант бросал торопливый взгляд на прибывших. Ему казалось, что у всех одинаковые лица, бородатые, заросшие. И все ждут одного: хорошего заработка.

Он привычно записывал в толстую амбарную книгу фамилию, имя и отчество, давал квиток в баню и на медицинский осмотр.

Когда новичок возвращался со штампом на квитке, этот листок становился его удостоверением.

Возле комендантского столика до самого потолка высилась груда полосатых матрацев, набитых ватой и опилками.

— Выбирай, какой по душе, — зычно говорил комендант, — и валяй в барак. У тебя — девятый. Занимай койку. Понял? Ты теперь рабочий класс. Следующий!

Дмитрий Николаевич хорошо запомнил сутулого небритого коменданта, потому что долго смотрел на него, ожидая своей участи. А когда приблизился к столику, то сразу услышал:

— Молодо-зелено... В землекопы пойдешь.

— Ясно, — ответил он и, получив квиток, заторопился в баню. Покуда не смылил весь кусочек мыльца, положенного ему, шайку не отдавал.

Он попал в артель тамбовского мужика с жидкой бороденкой, которую тот расчесывал сколом женского гребешка. У мужика были юркие глаза, будто хотевшие видеть все сразу, и говорил он быстро, без пауз.

Оглядев парня с головы до ног, артельщик предупредил:

— Завод казенный, но артель — моя. Так что не советую отбиваться от порядков. Коль работать, так лопату поглубже врезывай, а ежели в чем недовольство будет, не забывай: ты человек артельный...

Вся артель — семнадцать человек — жила вместе. В левом крыле барака было их общежитие — с дощатыми нарами, отдельным длинным дощатым столом, где они чаевничали, с железной печуркой, у которой сушили портянки. И без того тяжелый дух становился невыносимым, но открывать дверь, выстуживать барак артельщик не разрешал.

Он часто получал письма из деревни и, прочитав, всегда скучнел, валился на койку, загадочно произносил:

— Ну и дела... Ну и дела...

Однажды пояснил:

— Спрашивает Евдокия, как быть, вступать в колхоз или дожидаться лучших дней. А кто знает? Может, ни к чему нам это, ежели у меня артель... Как полагаешь?

— Не торопись, — советовал Гаврилыч, рыжеватый рассудительный мужик, носивший старые калоши вместо лаптей. — Обмозгуй.

— Отвечать надобно, — вздыхал тамбовский артельщик и, расчесавшись, свирепо дул в сколок гребня. — Ну и дела...

— Завтра отпишешь, — гнул свое Гаврилыч. — Утро вечера мудренее.

Но завтра отписать не удалось.

Дмитрий Николаевич вспомнил: в ту ночь сосед по койке надрывно кашлял и стонал от высокого жара.

Пришел доктор со слезящимися от сильного ветра глазами, прослушал больного, прописал микстуру и круговые банки. Обещал прислать медсестру. Уходя из барака, попросил Ярцева: «Ты, парень, рядом, последи, чтобы хоть поблизости не курили, больному и без того дышать тяжело».

Койка Ярцева была крайней в левом ряду, справа располагалась артель коновозчиков-грабарей. В их зем-

лячестве всегда было шумно, каждый вел себя вольготно, и никак артельщик не мог навести порядка. А нынче они опять не ладили меж собой. Белобрысый верзила по прозвищу Қаланча, под сильным хмельком, цеплялся ко всем. Никто не мог его утихомирить. Он шастал меж коек, гнусаво распевал похабные частушки, вызывая ухмылки у мужиков.

В это время пришла ставить банки медсестра.

Она скинула телогрейку, размотала платок и, надев халат, раскрыла на табуретке чемоданчик. Затем вынула банки, флакон спирта, факелок и спички.

Ловко все получалось у нее. Синим пламенем вспыхнул спирт. Она подносила факелок к горлу банки и тут же прикладывала ее к костлявой спине больного. Чмок — и банка прилипала, втягивая бледную кожу.

Когда медсестра отвернулась, Қаланча схватил флакон со спиртом.

— Что вы делаете? Поставьте на место! — крикнула она. — Это для больных.

Қаланча повел осоловелыми глазами, промышчал:

— Мое... — Он вытащил пробку, но никак не мог поднести флакон ко рту.

— Заберите у него спирт! — умоляюще просила медсестра, оглядываясь по сторонам. — Заберите!

Никто не сделал и шага.

И тогда она сама ринулась к нему. Но не успела. Қаланча пихнул ее ногой. Она упала на грязный пол возле койки, где сидел Ярцев.

— Доктор! Доктор! Ну, что же вы!.. — жалобно стонал больной.

С посеревшим от боли и злости лицом медсестра поднялась и подошла к нему. Руки ее дрожали. Она посмотрела на погасший факелок.

— Что я теперь сделаю? Что?! — Она встретила взгляд Ярцева. — У него воспаление легких! А если он умрет?! Он может умереть! Ты слышишь?! — Она рыдалась.

Кто-то вытолкнул Қаланчу из барака.

Пустой флакон валялся у дверей.

Еще ни разу с такой ясностью не вспоминалась эта история. В какое-то мгновение Дмитрий Николаевич даже услышал голос медсестры, презрительный, гневный, осуждающий голос...

Прошло больше тридцати лет, а он все слышен.

В киоске у гостиницы Дмитрий Николаевич купил газету и поднялся на свой этаж.

В просторном номере была приятная аскетичность мебелировки, суть которой Дмитрий Николаевич определил словами: «Ничего лишнего». И этим, пожалуй, обозначил отличие хороших гостиниц от квартир, где лишнего больше, чем необходимого.

Он принял душ и уселся с газетой в кресло.

Дмитрий Николаевич любил тишину: думалось легче и время текло медленней. А может, жизнь, проведенная в операционных, приучила к тишине, у которой своя тональность, такая знакомая и такая одинаковая. Только оттенков ее предвидеть никто не мог. Они возникали по ходу операции — от резкого возгласа до мертвой паузы.

Вечером раздался негромкий стук в дверь.

— Да, — отозвался Дмитрий Николаевич.

В комнату вошли женщина и мужчина. Остановившись у двери, они всматривались в лицо Дмитрия Николаевича, как бы сверяясь: не ошибка ли?

— Ярцев Дмитрий Николаевич? — уточнил мужчина.

— Да.

— Кравцов Родион Николаевич, — представился посетитель и слегка поклонился.

— Очень приятно.

— Моя жена... Зоя Викторовна. — Женщине на вид было под пятьдесят.

— Проходите, присаживайтесь, — предложил Дмитрий Николаевич, не понимая, что могло привести к нему этих незнакомых людей.

— Возможно, мы что-то перепутали, — с откровенностью бывалого человека начал Кравцов. — Вы извините. Прочли в газете о вашем приезде. А сегодня утром по радио слышали ваше интервью. Вы говорили, что в тридцатые годы работали на стройке тракторного?

— Землекопом, — вставила Кравцова и улыбнулась.

— Мы тоже в то время работали на стройке, — продолжал Кравцов. — И был там один парень по фамилии, кажется, Ярцев, а звали Митька... И вот мы подумали, может, вы и есть тот самый парень? Я ему очень обязан. — И с надеждой спросил, поглаживая голову. — Вы меня не помните?

Дмитрий Николаевич пожал плечами.

— Ну, понятно, малость полысел, усы отпустил... И седина пробилась, — усмехнулся Кравцов.

В наступившем молчании они разглядывали друг друга.

— Нет, — сказал Дмитрий Николаевич. — Не помню. — Ему было неловко перед ними. Он походил по комнате и, остановившись возле Кравцова, сказал: — Давайте попробуем по принципу «горячо» или «холодно». Глядишь, найдем что-нибудь.

— Разумно, — оживилась Зоя Викторовна.

— Спрашивайте, — предложил Дмитрий Николаевич.

— Вы жили в бараке или землянке? — начал Кравцов.

— В бараке.

— В пятом? — Кравцов застыл в ожидании.

— Да.

— Прекрасно! — обрадовался Кравцов. — Там проживали две артели: землекопы и коновозчики-грабари.

— Правильно. Я был у землекопов.

— Ваш артельщик... кажется, Мухин.

— Нет, другой.

— Махалкин... Макарецв, Махоркин... — вспоминал Кравцов.

— Мухоркин, — вырвалось у Дмитрия Николаевича. — Горячо?

— Он! Точно, Мухоркин! А помните, у вас однажды драка была?

— Погоди, Родион, — остановила жена. — Если про драки, то весь вечер потратим. Сколько их было!

— Чаше грабари давали волю рукам, — заметил Дмитрий Николаевич.

— Тогда не просто драка началась. То вражья сила голову подняла. — Кравцов посмотрел в окно, где желтели, золотились вечерние огни. — Этот случай не помните? — обернувшись, спросил он.

— Когда склад горел и новый жилой дом?

— Это позже произошло. Я помню... Вода была за километр. Протянули рукава, а они порезаны... Только о другой драке речь. Меня били. Смертным боем.

— Принесли в санпункт, весь в крови, я глянула и решила: «Не жилец», — вставила жена.

Дмитрий Николаевич ждал, когда же Кравцов опять заговорит о Митьке Ярцеве, но тот почему-то все оттягивал, поглядывая на жену. А самому Дмитрию Нико-

лаевичу вспоминались только пьяница Каланча и избитая молоденькая медсестра.

Кравцова неожиданно поднялась, подошла к Дмитрию Николаевичу. В ее глазах блеснули слезинки.

— Вы узнали меня? — спросила она.

— Нет... — Дмитрий Николаевич покачал головой.

— Это была я. Медсестру помните? Никогда не думала, что встретимся. Я тогда возненавидела вас. Никто не заступился. Вы помните?

— Помню.

— Простите, профессор...

Минутное молчание воцарилось в комнате.

Чтобы преодолеть неловкость, Дмитрий Николаевич обратился к Кравцову:

— Вы сказали, что тому парню... Митьке Ярцеву вы чем-то обязаны... Что же произошло? Расскажите.

— Хорошо, — согласился Кравцов. — Постараюсь поподробней. Я тогда был секретарем партячейки третьего участка. Сами знаете, в первое время трудности быта осложняли работу, вызывали недовольство. В первую очередь у сезонников. Вы помните, работали у нас всякие люди — и раскулаченные элементы, и уголовники, и артельные шабашники. За одно лето состав строителей сменился четырежды. И любой наш промах мог дать повод для провокации. В тот день из-за промашки заведующего в столовой не хватило обедов. И хулиганы стали бить посуду, орали: «Бросай работу! Нас обманывают!» Когда я и Лещев — он был председателем стройкома участка — прибежали в барак, то сразу услышали: «Бей их!» Я крикнул: «Тихо! Сейчас обо всем поговорим!» В ответ — пьяная ругань. Нас окружили, стали кричать: «Расценки не подымете — уйдем! Все артели уйдут!» И опять кто-то заорал: «Хватит митингов, бей их!» Гляжу — схватились за поленья. Какой-то пьяный бородач командует: «Ату их!» Сзади ударили, кто-то навалился на меня. Лещеву удалось вырваться, он побежал за помощью.

Меня стали бить... Сколько прошло времени, не помню. Но вдруг слышу крик: «Стойте, сволочи! Не троньте его! Стойте! Иначе сожгу! Всех сожгу!» Уже потом, в больнице, я узнал подробности. Какой-то парень из землекопов схватил бидончик с бензином, — бидончик всегда был возле печки для растопа сырых дров, — и облил бородача. Зажег коробок спичек и приказал: «Отпусти его! А то — спалю!» Бородач отпрянул. Па-

рень поднял меня и вытащил на улицу. К нам уже бежали люди. Вот этот парень и был Митька... Кажется, по фамилии Ярцев.

По озабоченному лицу Дмитрия Николаевича было видно, что эта история ему неизвестна.

— Нет, — сказал он. — Простите, не припоминаю... А может, был другой Митька и тоже Ярцев?

— В одном бараке-то? Да мы бы знали, что есть однофамилец. Я потом заходил, расспрашивал. Но парня того не застал. Куда-то он перешел на новое место. Смотрю сейчас на вас — вроде тот самый...

— И я так думаю. Даже уверена, — запальчиво сказала Зоя Викторовна. — Просто сопоставьте факты. И вы все поймете. — Глаза ее блеснули. — Дмитрий Николаевич! Вы же сами вспомнили нашу стычку. Это произошло в пятом бараке. Я тогда не знала ни вашей фамилии, ни имени. Для меня существовал официальный для того времени адрес — пятый барак. Так и значилось в журнале регистрации вызовов. Через полгода, когда там же избили Родиона Николаевича, я хорошо помню, стала называть этот пятый проклятым. Это факт, а не догадка.

— Я понимаю... Но, согласитесь, мне вроде бы отказываться ни к чему... Только я действительно не могу вспомнить, — сказал Дмитрий Николаевич.

— А знаете, как бывает в жизни? Вроде бы пустота, провал, а утром или через день где-нибудь в автобусе или в лифте все ясно вспомнишь.

Супруги Кравцовы переглянулись.

— Извините за вторжение, — сказала Зоя Викторовна. — Не сердитесь на меня. Очень прошу.

— Вот уж не представлял, что возможна такая встреча... Мне было очень приятно. Спасибо. Приедете в Москву, дайте знать о себе. — Дмитрий Николаевич протянул Кравцову визитную карточку. — Буду рад.

Родион Николаевич все еще с надеждой всматривался в лицо Ярцева. Вероятно, ему очень хотелось, чтобы его спасителем был именно Дмитрий Николаевич. И, прощаясь, он сказал:

— Удивительно, как жизнь тасует людей. Встречи, разлуки, снова встречи, потери, расставания. И вдруг видишь, как прошлое вступает в сегодняшний день... — Он пожал руку Дмитрию Николаевичу. — Всего вам доброго.

Когда Кравцовы ушли, Дмитрий Николаевич опу-

стился в кресло и долго смотрел на дверь, словно ждал их возвращения.

И только перед сном понял причину своего беспокойства: «Кто они теперь? Почему я не спросил?»

Его раздумья прервал телефонный звонок.

— Слушаю. Нет, не сплю, Сергей Сергеевич.

В трубке звучал сипловатый голос главного врача глазной больницы.

— Завтра в девять утра операция, о которой мы говорили. Если вы не заняты — приезжайте. Мне звонил ректор университета Родион Николаевич Кравцов, спрашивал, в какой гостинице вы остановились. Хотел вас навестить.

— Супруги Кравцовы недавно ушли от меня, — ответил Дмитрий Николаевич.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось два года.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дмитрий Николаевич погасил папиросу и закрыл глаза.

Еще в институте профессор призывал студентов: «Когда слушаете больного, закрывайте глаза, чтобы лучше слышать. Наверное, заметили, так поступают музыканты».

Сейчас Ярцев прослушивал свою жизнь. Обдумывая прожитое, он с болезненным пристрастием искал родное, ярцевское.

Припомнился шалый весенний дождик. Он сыпал на землю, стучался в оконные стекла. Лужи то вскипали водяными пузырьками, то покрывались мелкой рябью.

Весна выдалась ранняя, сумбурная. Еще недавно, неделю назад, метелица гуляла в последнем отзимке, а на другой день выглянуло солнышко, и повсюду простенькими нотами зачастила капель. Снег обмяк.

А сегодня с утра зарядил дождь. Бродит по Москве, поливает прохожих — на счастье, заглядывает в окна — внимания просит.

Но Дмитрий Николаевич ничего не замечал.

Настольная лампа под зеленым абажуром освещала узкое лицо профессора, его короткую старомодную стрижку. Старинные напольные часы устало пробили одиннадцать.

Отложив книгу, Дмитрий Николаевич попытался понять, отчего возникло тревожное беспокойство. Никаких видимых причин не было. Возможно, взволновала книга Льва Толстого «Путь жизни».

Открылась дверь, и вошла дочь. Она никогда не стучала, прежде чем войти.

Однажды мать спросила, почему Марина так поступает. И Марина с категоричностью десятиклассницы ответила: «Нельзя квартиру превращать в учреждение».

Дмитрий Николаевич только посмеялся. Мир полон условностей бытия. «Если мне звонят по телефону, а я занят, то ведь дома ответят, что я еще не пришел с работы. Но в ту минуту кому-то нужен был именно я, только я...»

— Тебе телеграмма, папа, — сказала Марина, присев на диван. — Из Киева.

Дмитрий Николаевич поблагодарил, взял телеграмму.

— Что ты читал? — спросила Марина.

Он молча передал книгу. Полистав, она сказала:

— Я возьму. Интересно?

Они нередко читали с дочерью одни и те же книги. Он кивнул, подошел к столу.

— Что в школе?

— Учимся... Но мне кажется, ты хочешь спросить о Максиме. Я не ошиблась?

— Вы не поссорились?

— Подозреваю, он тебе нравится, — усмехнулась Марина. В ее голосе послышались какие-то новые интонации. Кокетливые, что ли... — Ходили в кино. Потом провожались.

Она чмокнула отца в щеку, вскочила с дивана и уже в дверях, прижав голову к косяку, добавила:

— Мне он тоже нравится. Спокойной ночи. Допоздна не работай, слышишь?

Марина просила об этом начиная с пятого класса. Он вечно засиживался за столом до глубокой ночи: были обильная почта, рукописи, книги, отзывы, диссертации, дипломы, отчеты. И надо было все успеть к определенному дню, чаще всего — срочно. Только вот если терпение и желание у него были всегда, про время этого никак не скажешь. И самое обидное, что ничего тут нельзя было изменить.

Дмитрий Николаевич прочел телеграмму:

«Приглашаю к телевизору в субботу вечером. Во вто-

ром акте я вам подмигну. Целую ваши золотые руки. Мещерин».

Так мог написать только Константин Михайлович.

«Вот как все получилось. — Дмитрий Николаевич повеселел. — А тогда тянул дрожащую руку, слезно причитал: «Помогите другу Василия Качалова, слепенькому актеру Мещерину...»

Много историй поведал Константин Михайлович профессору, пока лечился у него. И каждый рассказ — мудрость, откровение. Большой художник жил в его душе.

Дмитрий Николаевич любил поближе сойтись с людьми, которых лечил, старался вникнуть в их человеческую суть. Но среди множества своих пациентов личности более яркой, самобытной, чем Константин Михайлович, он не встречал.

Случилось с артистом, казалось, непоправимое. Однажды во время спектакля Мещерин спускался по декорационной лестнице и внезапно рухнул вниз на сцену.

— Почему вырубил свет?! — кричал он. — Включите!

Дали занавес. А зрители поначалу ничего не поняли, никто даже не встал с места. Да и кто мог подумывать, что упавший актер мгновенно ослеп?

Как-то Константин Михайлович задержал профессора в палате неожиданной просьбой:

— Можно, я сыграю сцену из «Живого трупа»? Вдруг не доведется больше...

— Вам нельзя напрягаться, — сказал Дмитрий Николаевич.

— Что вы! Я так, шутя... Только не уходите. Я не могу без зрителей.

И Дмитрий Николаевич стал свидетелем чуда: почти мгновенно Мещерин превратился в Федора Протопова. В лице Мещерина с застывшим взглядом слились воедино страдания и боль. Руки судорожно шарили в карманах распахнувшегося халата. Потом, приставив к сердцу вместо пистолета чайную ложечку, артист вздрогнул и повалился на кровать... «Что ты сделал, Федя? Зачем?» — воскликнул он за Лизу и прошептал: «Прости меня, что не мог... Иначе распутать тебя... Мне этак лучше. Ведь я уже давно... готов».

Он заплакал. И вместо реплики: «Как хорошо. Как хорошо» — молитвенно произнес:

— Дмитрий Николаевич, если бы вы знали, как хочется жить, видеть...

В тот день Дмитрий Николаевич не мог ему ничего обещать. Только через три месяца в глаза Мещерина прорвался свет.

— Вы не поверите, Дмитрий Николаевич! Я вижу! Прекрасно вижу...

— И что же вы видите?

Мещерин вдруг опустил на колени:

— Вас, дорогой кудесник!

Смущенный Дмитрий Николаевич помог ему подняться, спросил нарочито рассерженно:

— Сосчитать мои пальцы сможете? Сколько?

— Два.

— А сейчас?

— Пять, — ответил Мещерин. — И все пять — бесценные! Они вернули мне Отелло и Протасова.

— Не забуду, как вы чайной ложечкой стрелялись, вот на этом коврике, — сказал Дмитрий Николаевич.

Теперь Мещерин снова играет на сцене.

...Дмитрий Николаевич подошел к окну.

Дождь утих, словно растеряв силы. Под светом фонарей бездонно поблескивал асфальт. Ветер, покачивая ветки, ронял стеклянные горошины капель.

Как всегда перед сном, Дмитрий Николаевич позвонил в больницу дежурному врачу.

— Ирина Евгеньевна? Это Ярцев. Тихо? — Так обычно он спрашивал о новостях и, услышав столь же краткое: «Спокойно», заканчивал свой рабочий день.

Но сегодня голос Ирины Евгеньевны прозвучал тревожно:

— Несколько часов назад из военного госпиталя доставили летчика. Готовимся к операции.

— Авария?

— Кажется, с самолетом столкнулась птица. Пробило лобовое стекло. У летчика тяжелое ранение. Поражен правый глаз.

— Когда это случилось?

— Утром.

— Почему мне сразу не позвонили?

— Нельзя же всегда надеяться на вас...

— Понял. И тем не менее я приеду.

— Сами будете оперировать? — Она спросила почти шепотом.

Дмитрий Николаевич улыбнулся. Он живо предста-

вил себе тихую Ирину Евгеньевну, у которой сейчас, наверно, покраснели щеки, словно она совершила что-то недозволенное.

— Нет, — ответил он. — Я просто хочу видеть этого парня.

В ночных коридорах больницы горели одинокие лампочки. Только операционный этаж светился всеми окнами.

В вестибюле возле вешалки одевалась врач Баранова. Увидев Дмитрия Николаевича, она сказала с сочувствием:

— Опять на ночь глядя... Не жалеете вы себя, Дмитрий Николаевич.

— Начальство пожалеет, — ответил он, входя в лифт.

В главном операционном зале лежал капитан Белокуров. Командир говорил про него: он рожден для неба. А что его ждало теперь? Куда, в какую сторону повернется его судьба?

Жизнь летчика Белокурова, с ее трудами, с багровыми закатами заречья, где раскинулся аэродром, с березовой рощей, где стояли дома военного поселка, была теперь в руках хирурга Ручевой.

Ирина Евгеньевна знала почти все про ранение Белокурова, но ей не было известно, что три дня назад у больного, которого готовили к операции, родился сын и он еще не видел мальчишку.

Увидит ли?

Дмитрий Николаевич стоял в сторонке, чтобы глаза Ирины Евгеньевны не встречались с его молчаливым, настороженным взглядом. Внешне он был спокоен, а отмечая ее уверенные, точные движения, освобождался и от безотчетной внутренней тревоги.

Следя за операцией, он думал о случившемся. Оказывается, раненый, ослепший летчик сумел посадить машину. Сохранить сознание в таких обстоятельствах почти невозможно. Это редчайший случай. И объяснением может быть только негибкая воля летчика.

Потом Дмитрий Николаевич услышит признание Белокурова: «Я все время внушал себе: сядешь, должен сесть и сядешь!»

Утром он, Белокуров, получил задание полкового «института прогноза». Задача была привычная — разведать погоду перед началом полетов.

Выполнив задание, он возвращался на аэродром и прикидывал, что через пару дней поедет в город и заберет из родильного дома Ольгу и мальчишку. «Хорошо бы назвать его Никиткой. Ольга, наверно, согласится».

От неожиданного толчка голова его откинулась назад и резко ударилась о жесткую спинку сиденья.

Лицо заливала кровь.

Еще не понимая, что случилось, он попытался открыть глаза, но уже не увидел солнца, разлетевшийся пух и забрызганные кровью приборы. Одна туманная красноватая муть.

Белокуров решил: надо сажать машину. Вслепую. По командам с земли.

— Седьмой! — запросил он командный пункт.

Ответа не было.

Прижав мягкие ларинги, повторил:

— Седьмой!

И снова тишина.

Он провел рукой по шнуру шлемофона и обнаружил, что тонкий шнур перебит.

Сквозь кровавую муть пилот еле угадывал очертания приборов. Но все-таки понял, что подходит к посадочной полосе.

Она совсем близко. Только бы не ошибиться... Белокуров глубоко вздохнул и захлебнулся от теплой крови во рту.

Сил оставалось все меньше.

Касание. Машину повело и встряхнуло. Руки вцепились в штурвал. И не могли разжаться.

«Теперь все, — сплевывая кровью на пол кабины, подумал он. — Мы в дамках, Оля».

Сирена «Скорой помощи» уже пронзительно выла.

Белокуров лежал в палате один. Вторая кровать пустовала. Ему нужен был абсолютный покой.

Первое время — после операции и многочисленных процедур — он не испытывал тоски одиночества. Его непрерывно клонило ко сну, а когда пробуждался и боль затихала, он не мог думать. Просто слабо тлела надежда на благополучный исход.

Однажды он проснулся, прислушался. И вдруг испугался одинокой тишины. Тогда он попросил Ручьеву подселить кого-нибудь.

Ручьева обрадовалась просьбе летчика. Значит, кризис проходит и вот-вот наступит перелом — предвестник исцеления.

Так в палате Белокурова появился студент Денис Лепешко.

Его привела санитарка тетя Дуня и, разобрав постель, сказала:

— Ну вот, Белокуров, принимай соседа. Денисом величают. Попал он в передрагу, конечно, не так, как ты, голубок, в небо, а на грешной земле.

— Здравствуйте, — первым отозвался Белокуров. И почему-то счел нужным предупредить: — Если стану храпеть, не стесняйтесь, свистните. Я на бок повернусь.

Денис Лепешко уважительно сказал:

— Надеюсь, в тягость не буду. Я — ходячий.

— Ходячий, а не зрячий. Тебе самому нянька нужна. Не очень шастай по коридорам, — предупредила тетя Дуня и, подбив подушку Белокурова, вышла из палаты.

К вечеру Белокуров и Денис познакомились поближе. Разговаривали сдержанно, по-мужски, без жалоб на судьбу.

Белокуров узнал, как Лепешко угодил в больницу.

— Я в строительном институте, на третьем курсе. Во время практики назначили меня мастером на стройку в Лазурный. Дела там шли плохо. График срывался. Я пришел на площадку и увидел: тридцать рабочих простаивают. Кто курил, кто читал газету, другие загора-ли. Спросил одного: «Почему не работаете?» Он ответил: «А что ты можешь предложить, мастер? Может, ты бетон привез?» Я пошел к начальнику стройки, рассказал обо всем, попросил принять меры. А он спокойно так посоветовал: «Поезжай в город. Купи футбольный мяч. Дай его рабочим. Пусть играют. Спорт укрепляет здоровье». Я возмущился. Начальник резко оборвал меня: «Послушай, студент, неужели тебе жалко десятку для рабочего класса? Купи мяч. И они при деле будут, и ты разомнешься. Соображать надо, студент...» Я хотел ответить, но не смог, потому что все вдруг разом провалилось в темноту. Я только крикнул: «Не вижу... Ничего не вижу!...»

— И ведь останется безнаказанным! — выдохнул Белокуров. — Я вот лежу, слушаю сирены «Скорой помощи» и думаю — половины сирен могло не прозвучать, если б поменьше таких вот сволочей было!

В палату вошел Дмитрий Николаевич.

— Как дела?.. По-моему, оба чем-то удручены. Может, не сошлись характерами? Что, Белокуров, молчите?

— Думаю, Дмитрий Николаевич.

— Тогда не смею беспокоить.

— Извините, не так сказал. Просто нахожусь под впечатлением того, что рассказал Денис Антонович. Страшно ведь!

Дмитрий Николаевич прошелся по палате.

— Я знаю другой случай... — заговорил он. — Над океаном летел самолет. Пассажирам выдали спасательные жилеты. Сколько мест, столько и жилетов. Маленькая девочка не имела билета, сидела с матерью в одном кресле. Ей жилет не достался. Самолет терпел аварию. Тогда один пассажир, наш врач, профессор Жордания, отдал девочке свой жилет. Он погиб.

В палате наступила тишина. Ее нарушил Белокуров.

— Человеком погиб... — сказал он.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось шестьдесят два дня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чаше других возникало в памяти имя Хромова.

Их дружба была сдержанной, но искренней. А Дмитрий Николаевич даже чувствовал к Хромову сыновнюю привязанность, хотя тот был старше всего на шесть лет.

Вот и нынешней весной Дмитрий Николаевич приехал в домик бакенщика. Тут всегда ждали его, всегда была приготовлена чистенькая, до блеска выскобленная светелка.

...В тот день, закончив оперировать дочку бакенщика, Дмитрий Николаевич спустился в приемное отделение, там с утра мучился в тревоге и ожидании Хромов. Увидев профессора, он вздрогнул. Ему почудилось, что приход Дмитрия Николаевича связан с дурной вестью, иначе пришла бы дежурная сестра.

Но Хромов услышал уверенное и доброе:

— Все хорошо.

Хромов закивал головой, в горле заклокотало, и, оробев, он не смог поблагодарить, а только глухо выдохнул:

— Радость-то какая, господи!.. — Слезы показались у него на глазах.

Дмитрий Николаевич сел рядом и стал успокаивать его, понимая, что сомнение и страх еще гнездятся в отцовском сердце.

Потом Хромов, точно очнувшись, всмотрелся в усталое лицо профессора и сказал:

— Не зря все твердили: Ярцев, Ярцев... Чем же мне одарить вас?

Дмитрий Николаевич рассердился:

— Да вы что?! И не стыдно?

Но Хромов, не слушая его, пообещал:

— Я вам речку подарю. Вот! Приезжайте, гляньте на подарок!

С той поры Хромов стал называть свой линейный участок — Светлое. Мало-помалу прижилось это название и в округе.

Наконец-то машина вырвалась за кольцо окружной дороги и юркий «Москвич», набирая скорость, устремился к заветной реке.

К полудню апрельское солнце стало пригревать. И все вокруг обрело яркие, звонкие тона: и голубой, почти осязаемо струившийся воздух, и словно бы побеленные стволы березняка, и золотисто-рыжие стожки прошлогодней соломы.

Дмитрий Николаевич свернул на обочину, остановил машину.

Справа от шоссе вешняя вода высоко залила крутой склон, поросший кустарником. Ледяное крошево, шурша, кружилось меж затопленных ветвей.

Щурясь от солнечного света, Дмитрий Николаевич глядел на вечную неутомимую работу реки.

Он был рад встрече с этим весенним многоцветьем, предвкушал отдых в светелке, где днем распахнуто окно, а вечером мгновенно, разом набегают сон, один час которого дороже целой ночи в городе.

До домика бакенщика оставалось сорок километров.

Дмитрий Николаевич неторопливо ехал по лесной дороге. Он опустил боковые стекла и вдыхал пахнущий мокрой землей воздух. Лес встречал гостя нескончаемым праздничным хоромом деревьев.

Неожиданно впереди возник милицейский мотоцикл.

Еще издали лейтенант, подняв руку, подал знак остановиться.

Дмитрий Николаевич вышел из машины.

— Вам синяя полуторка не встречалась? — Лейтенант торопливо козырнул, оглядывая Ярцева.

— Вроде бы нет.

— По шоссе ехали?

— У развилки я выходил. Спускался к берегу.

— Значит, не видели?

И, не договорив, лейтенант рванул с места мотоцикл.

Дмитрий Николаевич еще долго смотрел ему вслед. Но в лесном солнечном коридоре было пусто, только доносился треск удаляющегося мотоцикла.

Хромов не просто обрадовался приезду Дмитрия Николаевича, он был счастлив.

Позавчера, отправляя из райцентра телеграмму, он написал: «Ледоход в разгаре. Не прозевайте».

И хотя Хромов не был уверен, что дела позволят профессору приехать, он все же сходил в сельмаг и купил бутылку шампанского, что завезли еще к Новому году, буханку ноздреватого и пахучего хлеба, который Дмитрий Николаевич предпочитал пирогам и ел, запивая холодным молоком. Целую кринку выпивал.

Продавщица сразу догадалась, кого ждет Хромов, и с хлопотливым интересом спросила:

— Водку пить твой профессор не научился?

— Ты зубы не скаль, граммофон с языком. Вот.

Хромов вышел, хлопнув дверью.

За обедом говорили о житье-бытье, но Хромов больше рассказывал про дочь Аленку. Нынешним летом она закончит институт и поедет учительствовать на Дальний Восток.

— Распределили?

— Сама напросилась. Есть у нее моряк-пограничник. К нему решила податься. Вот.

— А вам бы хотелось, чтоб здесь была, рядом с папашей?

Хромов вздохнул:

— Сами знаете, настрадалась она. Не хочу теперь приневоливать. А вот Глаша не отпустила бы... — Он смолк, притих, словно пожалел, что вырвались слова о жене.

Спать легли рано, едва засмеркалось и потянуло вечерней свежестью.

Ночью Дмитрию Николаевичу снился сон: собирал он грибы, белые, боровички, всем грибам полковники. Набрал полные ведра, а вокруг грибов — тьма-тьмущая, хоть коси, только класть некуда. Кричит он, зовет Хромова, а того нет — пропал. Один-одинешенек Ярцев в лесу.

Утром за завтраком профессор сказал:

— Сон привиделся мне: грибы собирал. Это что, к болезни?

— К дороге.

— Значит, пора...

Хромов прищурил глаз, ухмыльнулся.

— В бога вы не верите, — сказал он. — Не положено ученому человеку. А сны признаете. В который раз про них спрашиваете. Это как понимать, Дмитрий Николаевич?

— Очень просто, Афанасий Мироныч: много еще неизвестного, неразгаданного. А знать-то хочется все. Есть такая жадность...

— Есть, — охотно согласился бакенщик.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось пять лет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

После ночного дежурства к профессору пришла врач Баранова «поговорить о делах».

Войдя в кабинет Ярцева, она предварила разговор настороженным предупреждением: «В нашем коллективе творится что-то страшное. Я не имею права молчать». Безбровое лицо Марии Ивановны слегка покраснело, короткие руки прятались в карманах халата.

— Я вам очень доверяю, Дмитрий Николаевич. — На ее лице истаяла робкая улыбка. — Вас это должно обеспокоить, ибо касается человека, которого вы опекаете.

Дмитрий Николаевич знал, что Мария Ивановна не отличалась тем, что именуется «остротой мысли». Так, рядовой врач. Но особа настырная. Своего не упустит.

— Говорите, — нехотя предложил он.

И Баранова стала рассказывать, как во время ее ночного дежурства Белокуров пожаловался на боль. Она взяла историю его болезни и ознакомилась с ней, чтобы понять, какую помощь следует оказать. Затем

вернулась на пост и сделала запись о случившемся. Снова полистав страницы, она обнаружила в записях Ручьевой явную неточность.

— Вопреки установленному порядку Ручьева вносит самовольные исправления в историю болезни летчика Белокурова. Такой уважаемый человек, летчик, заслуживает самого внимательного отношения!

— А другие больные, не летчики, разве не заслуживают? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Летчик — это... — Она еще больше зарделась. — Мы должны приложить все силы. А Ручьева нарушает принятую методику!

— Мария Ивановна, пожалуйста, спокойнее.

— Я волнуюсь!

— Тем более. Поберегите себя.

Что-то желчное, кляузное обозначилось в разговоре. Дмитрий Николаевич отвел взгляд. Ему захотелось встать и уйти, но настойчивость Барановой все равно не позволила бы сделать этого.

— Вам, конечно, нужны факты, — продолжала она. — Они есть. Причем неоспоримые! — Баранова вынула из папки историю болезни летчика и, открыв ее на странице, где лежала розовая закладка, почти шепотом сказала: — Дата процедуры не соответствует ангиограмме! Это подлог!

Дмитрий Николаевич прочитал записи Ручьевой. Стал рассматривать ангиограмму. Действительно, даты были разные.

— Расхождение очевидное, — согласился он.

— Надо реагировать! — настойчиво сказала Баранова.

— В каком смысле?

— Административном!

— Вы обратились не по адресу. Я не главный врач. Передайте вашу жалобу ему.

— А нужна ли огласка? Я хотела доверительно... Чтобы Ирина Евгеньевна впредь не подводила вас.

Ярцев посмотрел на Баранову.

— Вы очень предусмотрительны.

Она обиженно взглянула на Дмитрия Николаевича, аккуратно вложила закладку на прежнее место, словно боясь потерять главное доказательство вины Ручьевой, и пошла к двери.

У порога остановилась.

— Даже два человека могут одну истину понимать по-разному, — многозначительно заявила она.

— Смотря что считать истиной, — ответил Дмитрий Николаевич.

Баранова вышла, поспешно затворив дверь.

Дмитрий Николаевич рассеянно взглянул на часы — был полдень. Сейчас должна появиться сама Ручьева. Он обещал принять ее в двенадцать часов.

Обычно она легко и уверенно входила, будто всегда была убеждена, что ее появлению рады.

Он вспомнил строки Уитмена и улыбнулся: «Молодые и старые женщины ходят по городу. Молодые женщины очень красивые. Но старые еще красивее».

Ручьева опаздывала.

«Странно... — подумал Дмитрий Николаевич. — Она всегда была аккуратна. Что могло случиться? Вряд ли Ручьева могла совершить столь необдуманный шаг. Столь очевидную ошибку. Нет, это что-то другое...»

В дверь наконец постучали.

— Войдите, — отозвался Дмитрий Николаевич.

Ручьева, шагнув в кабинет, развела руками:

— Извините, Дмитрий Николаевич. Электричка опоздала.

— Слушаю вас, Ирина Евгеньевна. Садитесь, пожалуйста.

— Дмитрий Николаевич, состояние Белокурова заставляет, как мне кажется, обсудить вопрос об операции, которую будут делать нейрохирурги. Я прошу вас принять участие в консилиуме. Когда вы располагаете временем?

Он полистал странички календаря.

— В пятницу или понедельник. Пожалуйста. Кстати, о Белокурове. Как случилось, что вы провели сеанс, не предусмотренный курсом лечения?

— Вы уже знаете? — удивилась Ручьева.

В ее глазах было детское изумление. Где уж с такой искренностью хитрить!

Дмитрий Николаевич вздохнул:

— Я очень сожалею, что не вы сообщили мне об этом.

— Я приходила, но в тот день вы были в операционной. Потом я плохо себя почувствовала и уехала.

— Вам следовало все-таки доложить.

— Но мне прежде всего хотелось поделиться с вами. Вы назначили встречу на сегодня. Я и пришла...

— Вас опередили.

Если бы Ярцев сказал, что эту информацию он получил от Барановой, она бы не поверила. Всегда при встрече с Ириной Евгеньевной Баранова была ласкова и приветлива.

— Я не хотела скрывать. Поверьте, не хотела. Так случилось, Дмитрий Николаевич! И сегодня опоздала... Опять все нескладно!

— Что с вами, Ирина Евгеньевна? — Дмитрий Николаевич почувствовал, как она волнуется. — Разве вы живете за городом?

— Теперь да.

В ее глазах Ярцев увидел смущение, растерянность.

И, странное дело, Дмитрию Николаевичу явно слышался грохот мчащейся электрички. «Значит, действительно что-то изменилось в ее жизни, — подумал он. — Что-то с семьей?»

Дмитрий Николаевич напомним:

— Десятого вы проводили третий сеанс.

— Эта дата соответствует графику, — подтвердила Ручьева. — Белокуров был подвергнут воздействию лазера. Об этом есть запись в истории болезни.

— Но ангиограммы нет. Отсутствует важное звено в процессе лечения. Четырнадцатого вы провели очередной сеанс, хотя по графику он был запланирован только на двадцатое. На ангиограмме автоматически отбивается дата. Вы, наверное, про это забыли и, возможно, по рассеянности приложили ангиограмму, полученную четырнадцатого, к записям о сеансе, который был десятого.

Ручьева ответила не сразу.

— Самое удивительное, Дмитрий Николаевич, что я и сейчас не вспомнила про дату.

— О чем вы хотели сказать позавчера, когда искали меня?

— Я хотела сообщить, что провела внеочередной сеанс, потому что предыдущий оказался неполноценным. Значит, меня обвиняют в подлоге? — спросила Ручьева.

— Воздержитесь, пожалуйста, от торопливых выводов. Как все случилось? Объясните.

Ручьева поднялась с кресла и прошла по кабинету. Затем вернулась к столу:

— Я поняла вас так. Вы просите дать объяснение. Тем самым вы позволяете мне высказать свою позицию. Я не ошиблась?

— Нет, не ошиблись.

— Я думаю, что пределы моей вины вы толкуете значительно шире, нежели они есть на самом деле. Десятого я не сумела четко зафиксировать пораженный участок. Поэтому провела с Белокуровым повторный сеанс, показания которого имели для меня большое значение. Я готова нести всю полноту ответственности за него.

— Я вас верно понял: сеанс нужен был вам, врачу?

— Да, Дмитрий Николаевич, мне, врачу. Но в конечном итоге — больному.

— Врачебная этика ставит больного в привилегированное положение, — сказал Дмитрий Николаевич.

Ручьева встрепелулась.

— Разве есть доказательства причиненного мной вреда?

— Пока нет, — отозвался Дмитрий Николаевич.

Ирина Евгеньевна посмотрела на него внимательно и заговорила о том, что само понятие «эксперимент» содержит в себе элементы риска и что ее уверенность в безопасности больного может быть поколеблена непредвиденной случайностью. Входя в операционную, каждый хирург всегда помнит об этом.

— А то, что я была тогда расстроена, — Ручьева пожала плечами, — это мое. Личное. И оно не коснулось жизни летчика Белокурова. Помните, вы когда-то сказали — горе тому врачу, чьи слезы увидит больной. Десятого Белокуров моих слез не увидел.

Дмитрий Николаевич тихо спросил:

— Выходит, десятого с вами уже что-то случилось?

Ручьева кивнула и тут же спохватилась:

— Разве это имеет отношение к делу?

— Полагаю, самое непосредственное. Есть такое слово — самочувствие. Само-чувствие. Очень важно, как чувствует себя врач во время работы.

Неожиданно уныние охватило Ручьеву.

— Что будет теперь? Меня уволят? — нерешительно спросила она.

Глядя в ее тоскливые, вопрошающие глаза, он не нашелся что ответить.

— Догадываюсь, мою судьбу будет решать совет врачей. Об одном прошу, Дмитрий Николаевич. Не приглашайте меня. Я могу расплакаться... Я женщина...

Голос Ирины Евгеньевны дрожал.

О том, что «дело Ручьевой» будет обсуждаться на совете врачей, Дмитрий Николаевич узнал только накануне.

И сейчас, сидя в кабинете главного врача и слушая Бориса Степановича, он пытался понять его позицию: усматривает ли главный врач в действиях Ирины Евгеньевны нарушение формулы: «Не повреди» — или считает, что речь идет о случайной оплошности? Но Борис Степанович заявил, что не намерен навязывать свое мнение коллегам и оставляет за собой право выступить в прениях.

Он также сообщил, что испытывает чувство горечи от того, что Ирина Евгеньевна не нашла в себе силы прийти на совет, и призвал подойти ответственно к решению столь серьезного вопроса.

«Хитер», — подумал Дмитрий Николаевич.

— Возможно, кто-либо озадачит нас вопросом? — поинтересовался Борис Степанович и, выдержав паузу, сказал: — Вопросов нет. Прошу высказываться.

Дмитрий Николаевич обвел взглядом членов совета. Первым поднялся хирург Узоров.

— Я задаю себе вопрос — есть ли в действиях хирурга Ручьевой нарушение врачебной этики? — заговорил он. — Могут быть и другие вопросы, но для меня главный — этот. По-моему, Ручьева проявила небрежность, но в ее действиях нет злого умысла. Скажу больше. Борис Степанович не случайно зарезервировал выступление в прениях. Видимо, он не счел возможным обозначить происшедшее формулой, за которой последует наказание. Хочу спросить, а не затеваем ли мы бурю в стакане воды? Иногда я встречаю своего коллегу из Воронежа и спрашиваю: «Как дела?» Он отвечает: «Утешаюсь тем, что могут быть хуже». Сегодня у меня примерно такое же ощущение. По-моему, раздувая дело Ручьевой, мы совершаем безнравственный поступок. Давайте не будем делать этого. Лично я отказываюсь...

Под конец своей речи Узоров покраснелся, а когда сел, отер лицо платком с монограммой и посмотрел на Дмитрия Николаевича. Тот торопливо записывал что-то на полях газеты.

— Ну вот, — сказал Борис Степанович. — Узоров достаточно энергично начал наше обсуждение. Кто продолжит?

Отозвался Смородин.

Для своих пятидесяти двух лет он был необычайно моложав. Веселый, подвижный, всегда безукоризненно одетый.

— Я благодарен Илье Яковлевичу за эмоциональное выступление. Однако точка зрения Узорова игнорирует факт, который обойти нельзя. Это — разные даты под одним документом. Халатность, проявленная Ручьевой, в данной истории очевидна. И — наказуема. Другое дело — мера взыскания. Ее должна определить наша совесть. Но кто, например, возьмется наказать за ошибку при постановке диагноза? Лишь какой-нибудь неуч-всезнайка или тот, кто сам у постели больного не мучился, решая сложнейшие вопросы. В этом я убежден. Давайте спросим себя, соблюдала ли Ручьева врачебную этику все годы, что мы ее знаем? Безусловно! Значит, ее добросовестность изменила ей всего один раз? Так будем же справедливы. Могут возразить, что Смородин, дескать, амнистирует всех, кто попирает врачебную этику. Куда, дескать, покатымся? Ошибки начнут расти как грибы после дождя. Нет! Я хочу порядка. Но творческого. Хочу повторить известное: справедливость должна быть сильной, а сила — справедливой. Так как же поступить с Ручьевой?

— По закону! — задиристо ответил с места огненно-рыжий Леухин.

— Нет такого закона.

— Тогда зачем толочь воду в ступе! — сердито воскликнул седоусый Печерников.

— Я думаю, что общественное порицание вполне достаточная мера! Зная Ирину Евгеньевну, не сомневаюсь, что она правильно воспримет наше решение. Таково мое мнение, — закончил Смородин.

Леухин погасил сигарету и поднялся.

Дмитрий Николаевич вздохнул. Помнил он странную, не до конца понятную историю с Леухиным. С той поры много воды утекло, можно было бы забыть, да все не забывается. Именно с того времени Леухин стал резким, вспыльчивым. А был добрым, любил шутку, рядом с ним всегда было весело. Но однажды ошибся в одной операции, и исправить эту ошибку было нельзя. Больной Леухина, молодой геолог, остался с незрячим глазом. И каждый год, где бы он ни был, этот геолог, под Новый год любезно поздравляет Леухина с праздником. Напоминает, не дает покоя...

— Для начала есть вопрос, — сказал Леухин. — Кто у нас определяет степень виновности? Борис Степанович, вопрос, наверное, к вам?

— Руководство. Лечебно-контрольные, патологоанатомические конференции. Совет врачей, — с видимым неудовольствием ответил главный врач, поднимая хмурый взгляд на Леухина.

— Неувязочка получается... — забормотал Леухин. — Виновная не пришла. Поэтому разрешите еще вопрос: кто обнаружил несоответствие в истории болезни Белокурова?

— Могу сообщить, — сказал Дмитрий Николаевич. — Вначале я узнал об этом от одного нашего сотрудника, а потом рассказала сама Ирина Евгеньевна.

— Усвоил, — продолжил Леухин. — Пошли дальше. История болезни — основной документ. Подчеркиваю, в данном случае юридический документ. Каждая запись, каждая дата имеют силу официальной справки. Еще в студенческой аудитории молодым эскулапам внушают сию заповедь. Ручьева изменила принятый график лечения. И что мы обнаруживаем? — Он шумно вздохнул. — Подлог! А здесь уже вступает в силу закон. В Уголовном кодексе есть соответствующая статья. — Леухин развел руками и резко поправил сбившуюся на лоб челку. — А мы в милосердие играем, — закончил он, сел и сложил руки на груди.

Дмитрий Николаевич поднялся из-за стола и, встав спиной к книжному шкафу, в стеклах которого отражалось солнце, сказал:

— Не думаю, что полезность нашей встречи будет определяться мерой взыскания, которое получит Ручьева. Не поступим ли мы правильней, если используем время, чтобы глубже разобраться в случившемся? — Дмитрий Николаевич отпил глоток воды. — В давние времена, когда я работал в районной больнице, был у нас хирург Платон Елизарович Пашин. Про него говорили: «Зимний он человек. Теплый». Затем я часто вспоминаю слова Бехтерева: «Если больному после разговора с врачом не становится легче, это не врач».

Печерников что-то шепнул Узорову на ухо, тот согласен кивнул.

— Я не собираюсь, как Леухин, предлагать, чтобы

каждый воображал себе встречу с прокурором, — продолжал Ярцев. — Думаю, что это никчемное занятие.

— Верно, Дмитрий Николаевич, — сказал с места Смородин.

Дмитрий Николаевич заговорил о том, что в научном мире существуют различные школы, направления. Их авторитет цементируется не поклонением главе школы, не его диктатом. Выдающиеся деятели науки не раз предостерегали от бездумной верности их идеям.

— У нас бытует еще некое обожествление фигуры главного врача или научного руководителя. Икс Иванович или Игрек Петрович считают необходимым, чтобы в их департаменте оперировали только по методике, разработанной ими. Так понятие врачебной этики подчиняется служению принятому образцу. Все, что имеет малейшее отклонение, квалифицируется как нарушение установленного порядка. Я имел возможность подробно изучить дело Ручевой, — продолжал Дмитрий Николаевич. — Утверждаю, что речь идет об оплошности, которая была вызвана душевным состоянием Ирины Евгеньевны. Вот тут бы и проявить нам истинное милосердие, а мы...

Дмитрий Николаевич мысленно увидел Ирину Евгеньевну в толпе пассажиров у пригородной электрички.

— Откровенны ли были выступавшие до меня? — спросил он, оглядывая всех за длинным столом. — Откровенны. Это не подлежит сомнению.

Дмитрий Николаевич в своем выступлении не опровергал ранее высказанных обвинений, он отодвигал их в сторону и доказывал: Ручьева не только хороший хирург, она перспективный ученый. Он вспомнил поздний вечер, когда узнал о предстоящей операции Белокурова. Стоило тогда Ручевой позвонить Ярцеву, и легчика оперировал бы он, а она избежала бы связанной с этим ответственности.

— Разве уже одно это, — сказал Дмитрий Николаевич, — не говорит о том, что Ирина Евгеньевна — человек, достойный нашего уважения? Рискнет ли здоровьем больного хирург Ручьева? Думаю, вы согласитесь со мной, произнося решительное «нет». Да, повредить страшно. Ну а не помочь, не попытаться помочь — разве не страшно? Мы обязаны отвечать не только за то, что сделали. За несовершенное нами мы тоже в ответе. — Дмитрий Николаевич обвел глазами своих коллег и ровным голосом заключил: — И пусть вам не пока-

жется странным, что, начав разговор с оплошности, допущенной Ручьевой, я заканчиваю словами благодарности ей.

Дмитрий Николаевич отошел от шкафа и сел на свое место. Подперев подбородок ладонью, он ждал выступления главного врача. Но неожиданно поднялся всегда улыбчивый Перелогин.

— По-моему, все ясно, — выдохнул он первую фразу. — Мы собрались, отреагировали. — Он выдержал паузу, словно раздумывая, продолжать или не стоит. Но все-таки продолжил: — В протоколах предлагаю записать выговор. Никому от этого хуже не будет. Поверьте мне.

— За что выговор? — не понимая, спросил Узоров.

— Я ведь сказал: для протокола.

— Хватит и порицания! — буркнул Узоров.

— Не звучит, — улыбнулся Перелогин. — Поверьте мне. В разных комиссиях заседал. Никто еще от выговоров не полысел. Ваше дело решать, я сказал. — Пожав плечами, сел на место.

Главный врач начал свою речь с того, что упрекнул Перелогина в легковесном отношении к обсуждаемому вопросу.

— Я сторонник серьезных выводов. Проступок Ручевой заслуживает строгой оценки. Очевидно, нам придется расстаться с ней. Можно понять желание товарищей найти оправдательные мотивы, но я не могу доверять Ручевой...

Дмитрий Николаевич не удержался:

— Это еще не резон, чтобы выгнать человека. Я решительно возражаю! И уверен, что не одинок.

— И тем не менее решать буду я, — перебил главный врач. — Вы, наверное, знаете, есть клиника, где руководитель при приеме на работу ставит врача в известность о том, что, если они не сработаются, вопрос об увольнении не станет решать местком. Так вот...

— Борис Степаныч! Опомнитесь! — протестующе воскликнул Ярцев. — Мы прекрасно знаем, о ком идет речь. Так он же выдающийся врач... Не стоит вам на него равняться!

Главный врач отвел хмурый взгляд к окну.

А Дмитрий Николаевич вынул из бокового кармана пиджака листок:

— Позвольте зачитать эту записку. «Дмитрий Николаевич, сегодня в процедурном кабинете я услышал о со-

вете врачей. Я буду летать! В этом у меня нет никаких сомнений. И может, в тот день, когда это случится, вам и надо провести разговор о работе хирурга Ручьевой. Ждать осталось недолго. Капитан Белокуров».

В кабинете наступила тишина.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось семнадцать дней.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В небольшой прихожей квартиры Ярцевых стоит на треноге полукруглая плетеная корзина, почти доверху заполненная поздравительными открытками.

Теперь уже трудно вспомнить, кто предложил собирать их, чтобы потом, спустя десять-пятнадцать лет, совершить путешествие во времени, перечитывая послания, отмеченные вехами знаменательных дат.

Никто — ни Дмитрий Николаевич, ни Елена Сергеевна, ни бабушка — не оспаривает пальму первенства. Только помнят, что Маринке тогда исполнилось три года. Теперь ей семнадцать.

Первая неделя мая принесла вороха почты. Два раза в день бабушка опустошала почтовый ящик, затем стопкой складывала корреспонденцию на столе Дмитрия Николаевича.

Писали друзья, коллеги, однополчане и многие бывшие пациенты Ярцева.

Некоторые письма Дмитрий Николаевич зачитывал вслух.

— Лена! Сердечно поздравляет Леонид Алексеевич Скворцов. И опять спрашивает: ты все такая же красивая? Что ответим? Такая же?

Елена Сергеевна улыбнулась.

— Надо ответить Скворцовым телеграммой.

— С подписью: прекрасная Елена. Я — за!.. А вот послание от твоего вечного поклонника Вадима Дорошина. Каллиграфическим почерком свидетельствует свое уважение и шлет наилучшие пожелания.

Утром девятого мая Марина проснулась раньше всех и умчалась раздобывать цветы. Нынче ей повезло: купила отменный букет гвоздик.

Марина торжественно вручила цветы отцу и ровню двадцать раз — была двадцатая годовщина Дня Победы — поцеловала его.

— Я хочу пожелать, чтобы та война была последней.

— Я тоже хотел бы.

— А шампанское по этому поводу откроют?

— Шампанское утром не пьют, — напомнила Елена Сергеевна.

— Мы этого не проходили, мама!

Пришла в праздничной вязаной кофте бабушка, и семейное застолье началось с шумного выхлопа пробки. Шампанское позолотило высокие бокалы.

Телефонный звонок отвлек Дмитрия Николаевича. Добрых десять минут он выслушивал поздравительную тираду Вадима Дорошина. Можно было подумать, что на фронте был Ярцев не врачом, а боевым генералом.

— Остановись, Вадим, хватит, — сказал Дмитрий Николаевич. — Не забывай, я плохо переношу эпитеты...

— От этого не умирают. Позволь твоему верному другу выразить свои чувства. Постарайся стать академиком. Вполне заслужил. Мы с Валентиной ждем вас к обеду.

— Слушай, не получится.

— Никаких отговорок!

— Сегодня в больнице встреча. Мне надо быть.

— Тогда приезжайте вечером.

— Ладно, созвонимся.

Дмитрий Николаевич положил трубку.

— После разговора с Вадимом начинаешь чувствовать себя по меньшей мере Наполеоном.

— Господи! — воскликнула Елена. — Столько лет его знаешь и все привыкнуть не можешь.

— Не могу.

— А Дорошин воевал? — спросила Марина.

— Нет. Не довелось. Он всю войну проработал в госпитале.

— Где?

— В Томске.

— Значит, далековато от фронта. Там могли работать женщины, пожилые люди... Я знаю, ты очень любишь Дорошина. Поэтому защищаешь? Ты не сердись, папка.

— Защищаю? — удивился Ярцев.

— Ты ведь тоже мог остаться в тылу! Не остался же!

— Марина, оставь отца в покое! — вмешалась мать. — Праздник, а ты затеяла дискуссию!

— Все правильно, Леночка. Вопрос поставлен, надо

отвечать, — спокойно заметил Ярцев. — По-разному складываются судьбы людей. Война застала Вадима в районной больнице. Двух врачей, работавших там, мобилизовали в армию. Вот он и остался единственным специалистом. Потом больница стала госпиталем. А это — неотделимая часть фронта. Вадим награжден орденом, медалями.

Марина задумалась. Вероятно, чего-то она не понимала в той жизненной правде, которая была ясна отцу. И Марина не удержалась:

— И все-таки для меня фронт — это... Как бы поточнее выразиться? Это не место службы. А нечто большее... Человеческий долг. Пойми меня правильно. Останин — журналист. У него была броня, а он поехал на фронт. Значит, сделал выбор иной, чем Дорошин. — Она посмотрела на часы, отставила стул. — Я пошла.

— Куда? — спросила Елена Сергеевна.

— Праздник. Имею я право поздравить других мужчин? Пока. — И убежала.

Тотчас раздался продолжительный междугородный звонок. В трубке гремел голос Останина: «Поздравляю. Желаю. Всегда с вами».

Вот так все праздники он приветствовал друга. Оказывается, звонит из Норильска. Что его занесло туда? Неугомонная судьба журналиста?

— Спасибо, Николай! И тебя поздравляем...

Днем в актовом зале клиники Дмитрий Николаевич появился при орденах и медалях.

Возле председателя месткома Шершавиной, суетливой и озабоченной, щебетали самые хорошенькие молодые медсестры, специально отобранные ею, чтобы вручать цветы фронтовикам. Дмитрий Николаевич еще издали заметил, как Шершавина, взяв со стола букетик, передала его одной из медсестер и показала глазами на Ярцева.

Из всех праздников для Дмитрия Николаевича День Победы был самым дорогим.

В этот день ему всегда хотелось помолчать в одиночестве и вспомнить о пережитом на войне, которую он «отбухал от звонка до звонка».

Выйдя из зала после официальной части, Дмитрий Николаевич встретил хирурга Фомина, раскрасневшегося, с влажными глазами.

— Дмитрий! — воскликнул врач, обнимая Ярцева. — Светлая моя голова, поздравляю. И не сердись,

голубь, на меня. Ну, помянул друзей, помянул! Не могу!.. Было нас сто двенадцать. А по мосту прошли только семеро. Я — седьмой. Давай помянем тех, кто не прошел.

По дороге домой у Дмитрия Николаевича не выходили из головы слова Фомина. Ему чудились звуки разрывов, а потом в наступившей тишине, издали, гулко донеслись шаги семерых солдат, перешедших мост...

Уже кончился парад в честь двадцатилетия Победы. На улицах, прилегающих к Большому театру и площади Свердлова, собрались фронтовики, пришедшие на встречу с однополчанами.

По Садовому кольцу двигались орудия. Артиллеристы готовились к юбилейному салюту.

На уличных эстрадах звучала музыка, перебивали друг друга песни, кружились пары, кто-то смеялся, кто-то плакал, не скрывая слез.

Окна домов, вымытые до блеска, отражали свет голубого дня. Над площадями и скверами, встревоженные шумом, кружились голуби.

Марина с Максимом выбежали из толпы на площади.

— Хватит! — взмолилась она. — Три часа на ногах, устала.

— Пошли в кафе! — предложил Максим.

— Не надо.

— Стесняешься?

— Не люблю, когда на меня глазают как на витрину.

— Можно отключиться. Представь, что мы одни.

— Тебе это легко удается?

— Когда я с тобой, мне все удается.

Они сели за столик в небольшом кафе. Из дальнего угла доносилась магнитофонная музыка.

— Знаешь, при тебе я все время улыбаюсь. Со стороны, верно, выгляжу дурак дураком. Отец говорит: «Ты взрослый парень, а физиономия первоклассника. Надо быть серьезней».

— Конечно, надо.

— Постное лицо тоже еще не свидетельство ума.

— Это уже тема для реферата. И для поэмы. Ты не пишешь стихов?

— Зачем? — пожал плечами Максим. — Отлично сознаю, что бездарен. Вряд ли когда-нибудь сочиню:

«Ты так светла, как снег невинный. Ты так бела, как дальний храм...»

— Кто это?

— Блок. Вот он бы сумел написать, что во всей Москве нет такой девчонки, как ты...

— Да неужели?

— Лично я убежден.

— Поклянись!

— Это такая же аксиома, как та, что Земля вертится! — Максим поднял руку. — Клянусь!

— Тебе не кажется, что ты торопишься? Со всякими признаниями?

— Я чем-то оскорбил тебя?

— Ни капельки.

— Я для тебя — просто друг?

— Пока друг. Самый лучший. Разве этого мало?

Максим разминал ложечкой мороженое и смотрел, как оно таяло. В душе возникло чувство неожиданной потери чего-то исчезающего, как этот шоколадный шарик.

— Ну, вот ты и обиделся, — усмехнулась Марина.

— Просто осмысливаю услышанное.

— Валяй. Постарайся быть мудрым, как... — Она задумалась, ища сравнение. — Как Вольтер! Носи на лбу повязку мудреца.

— Тебя, пожалуй, и этот старикан не раскусил бы. Максим нахмурился.

— А я и сама себя не понимаю!

Они вышли из кафе. Максим вдруг стал рассказывать про легендарный корабль Черноморского флота лидер «Ташкент» и его командира Василия Николаевича Ерошенко.

Они подошли к Большому театру и увидели у колонны девушку в темной шали. У нее были страдающие глаза. Она держала в руках фотографию молоденького лейтенанта и время от времени спрашивала у проходивших фронтовиков:

— Может, вы знали его? Это мой отец.

Люди молча вглядывались в лицо лейтенанта и отходили. Высокий полковник-артиллерист с обожженным лицом протянул девушке букетик подснежников.

Максим взял Марину за руку.

— До сих пор слезы от этой проклятой войны.

У Каменного моста Марина остановилась.

— Отец рассказывал: наши отбили у немцев дерев-

ню. Все разрушено, уничтожено. И вдруг отец видит: лежат обломанные ветви яблонь, а на них — молодые листья, цветы белые...

И тут сзади послышался чей-то голос:

— Помогите, товарищи. Кто-нибудь!

Марина оглянулась. Человек в солдатской гимнастерке с медалями растерянно топтался на месте.

— Кто-нибудь есть? — повторил он.

— Слепой, — шепнул Максим.

Они подбежали. Оказывается, человек уронил палку и не мог найти ее.

Марина взяла слепого за руку и почему-то громко спросила:

— Вам куда?

Прохожий ответил:

— Слышу я хорошо. А вот не вижу ничегошеньки, дочка.

Максим поднял палку — старую, вырезанную из можжевельника.

— Спасибо, — сказал слепой. У него было худое скуластое лицо и безжизненные, остановившиеся глаза.

— Куда? — переспросила Марина.

Прохожий пожал плечами.

— Попал в историю — хоть стой, хоть падай, — произнес он и достал из кармана телеграмму.

Они прочли текст.

В Москву, на праздник Победы солдата Федора Крапивку пригласил его бывший комбат Лучко. Он прислал пятьдесят рублей на дорогу и обещал, что будет встречать Крапивку у вагона.

И не встретил.

Крапивка коротко рассказал, что был у комбата ординарцем, а в сорок четвертом после тяжелого ранения и долгих госпитальных дней его комиссовали. Ни отца, ни матери в живых у него не осталось, определили его в инвалидный дом.

Несколько раз он пытался найти Лучко, но безуспешно. А совсем недавно комбат сам объявился. Прислал письмо, а потом и деньги. Не забыл, выходит.

Но произошло необъяснимое: почему-то не встретил Крапивку. Целый час отстоял Крапивка на платформе. Все ждал — мало ли чего в жизни случается. Да так и не дождался. Подошел к нему носильщик, посочувствовал, спросил:

— Где комбат живет, знаешь?

— Так вот он, адрес-то. — Крапивка показал листок.

— Такой праздник, а ты неустроенный, — вздохнул носильщик. — Ерунда получается. Давай провожу тебя. Такси возьмем.

Когда подъехали к дому, носильщик сказал:

— Ты посиди, я его вызову.

В квартире Лучко никто не ответил.

Старушка соседка сообщила, что живет он один, человек пристойный. Если пригласил — надо ждать, объявится.

Носильщик уехал, оставив Крапивку в старом кресле у лифта.

Полдня прошло. Измученный ожиданием, Крапивка решил вернуться на вокзал.

На улице он оступился, палка выскользнула и укатилась на мостовую.

— Нужно вас устроить в гостиницу, — предложила Марина. — Как считаешь, Максим?

— Лучше я уеду, — без особой уверенности произнес Крапивка. — Видать, не гостить мне в Москве.

— Придет комбат, — заверил Максим. — Глупо вам уезжать, не повидавшись.

Они посчитали свои деньги — набралось три рубля семьдесят две копейки.

— Можем одолеть тридцать шесть километров, — объявила Марина. — Поехали.

Они объездили несколько гостиниц, но мест нигде не было. «Праздник... Поток гостей», — виновато оправдывался Максим.

Крапивка устало напомнил:

— Говорил я, лучше б уехать. А теперь и поезд тю-тю...

— Надо позвонить отцу, — сказала Марина, — может, у него есть знакомые деятели? Как считаешь, Максим?

— Одобряю. Автомат рядом.

Марина позвонила домой. К телефону подошел отец. Она торопливо, волнуясь, рассказала о происшедшем.

— Помоги, папка... Потревожь своих знакомых.

— Да нет у меня знакомых в этом хозяйстве, — подумав, ответил Ярцев. — Директора универсама оперировал. А здесь — никого.

— Как же нам поступить? Жалко человека. Нельзя же его бросить. Ты слышишь?

— Слышу. Думаю... Поступим так. Я позвоню в приемный покой. Скажу, чтобы приняли. Только вы сами его отвезите в клинику. Поняла?

— Еще бы! Спасибо, папка!

Тяжелые двери клиники, над которыми полоскался праздничный флаг, были закрыты. Блестели начищенные старинные медные ручки.

Марина позвонила.

Дверь открыл санитар Зотов, говорливый, но безвредный человек неопределенных лет. Он был в коротком белом халатике и синих диагональных галифе. Поздоровался, напомнил о празднике, позднем часе и о том, что приема сегодня нет.

— Здесь работает мой отец, — прервала Марина.

— Кто таков?

— Профессор Ярцев, Дмитрий Николаевич.

— Другой коленкор, — всполошился Зотов. — Раз прислал сам Дмитрий Николаевич, препятствий не будет! Сейчас приглашу дежурного врача!

В слабо освещенном вестибюле было пустынно. Пахло вымытыми полами.

Позвонив, Зотов с готовностью стал рассказывать, как все в больнице уважают профессора Ярцева.

Щелкнула дверь лифта.

— Архипова, дежурный врач, — представилась стройная женщина, убирая под белую шапочку прядку крашенных волос.

— Это вот, товарищ доктор, от Дмитрия Николаевича! — доложил Зотов. — Сам прислал. А девушка, значит, доводится профессору дочери.

— Сейчас все палаты заняты, — сказала Архипова. — Пока определим в изолятор.

— Хорошо, — охотно согласилась Марина. — Я так и скажу отцу. Спасибо!

Медсестра привела Крапивку в душ. Здесь держался слабый запах хлорки.

— Ну, папаша, ополоснитесь. А потом поужинаете.

— Спасибо, сестрица.

Стоя под шумящими струями, Крапивка поднял руки и потрогал ладонями мокрые кафельные стены. Тревога, бродившая в нем недавно, оставила его. Крапивка намылил голову и выронил скользкий кусок мыла. Случайно наступив на него, чуть не упал.

— Вы что там танцуете? — спросила медсестра.

— От радости, — ответил Крапивка.

Медсестра помогла ему обтереться полотенцем и натянуть хрусткое от крахмала белье, завязать тесемки на рубашке и кальсонах.

Крапивка давно не помнил прикосновения женских рук, а то, что было до войны, давно сделалось смутным и далеким.

Крапивке захотелось сказать медсестре что-то хорошее, но ничего не шло в голову, и он промолвил:

— Еще раз спасибо.

Медсестра привела его в изолятор. Усадила на койку.

— Располагайтесь. После ужина будете слушать салют. Я включу радио. Хотите?

— Это хорошо, — ответил Крапивка, поскреб рукой грудь и, притихнув, вздохнул.

Дверь за медсестрой закрылась. Крапивка потрогал кровать — пружины слабо простонали под ним.

Снова почему-то вернулось тоскливое настроение. Крапивка подумал, вряд ли теперь встретится с комбатом. Еще он подумал, что у него могла быть такая дочка, как эта медсестра. Но нету дочки. Никого нет. А жить-то осталось не так уж и много.

Крапивка твердо знал, что в мире существует такое, о чем ему думать не следует. Одно расстройство. Прошли мимо любовь и отцовство. И что-либо изменить в этом невозможно.

После ужина, в десять часов, он стоял у окна, касаясь коленями теплой батареи, и слушал артиллерийские залпы. Выстрелы глухо сотрясали стекла. Крапивка нащарил ручку форточки и открыл ее.

Теперь он отчетливей улавливал праздничный салют, который он никогда не видел.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось четырнадцать часов.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Утром в больницу первой приходит тетя Дуня — санитарка хирургического отделения, сухая, уже сутулая, с натруженными руками. Девятнадцать лет кряду хозяйничает она на этаже, где чистоту можно проверять белым платочком. И не зря моряк-острослов, выписываясь из больницы, назвал тетю Дуню «впередсмотрящей». Для больных она еще и поводырь.

Наверное, только в отделе кадров знают ее фамилию. А так все зовут по-домашнему, по имени.

Она вошла в изолятор и увидела Крапивку. Сгорбась, он сидел на кровати.

— Здравствуй, новобранец... Кто ж ты такой будешь? — спросила тетя Дуня.

Он повернул голову на голос.

— Федор Крапивка. Здравствуйте.

— Слыхала я, будто ты знакомец профессора Ярцева?

— Да нет. Я сам по себе.

— А почему его дочка тебя привела?

— Так уж случилось, — без охоты ответил Крапивка.

Тетя Дуня любила поговорить с больными. Особую слабость она питала к новичкам. И всегда доискивалась, давно ли света божьего не видит и как живет — один или семейный? Не от пустого интереса спрашивала, из вечного женского сострадания.

Крапивка рассказал про неудачную поездку к комбату и хмуро объявил:

— Сегодня двину обратно...

— Ты не самоуправствуй, посоветуйся с профессором по-хорошему, — поучала тетя Дуня. — Считай, повезло тебе, что попал к нам. Счастье тебе привалило, а ты его сгоряча упустишь.

— Не к вам ехал, а к комбату.

— Ты, орелик, так рассуди... Твой комбат небось телеграмму не получил. Или с дружками водку жрет, будь она неладна.

— Гадай не гадай, а если счастье тебя обошло стороной, его не заарканишь. Мне к бездолью не привыкать. С юных лет бедую.

— Что так? За всю жизнь и радости не было?

— Устал я мыкаться, — отмахнулся Крапивка.

— Не бери себя, — посоветовала тетя Дуня. — Не давай волю злобе.

Крапивка поднялся со стула. По острым скулам заходили желваки.

— Ты что?

— Куда я денусь...

— Ты, Федор, внемли слову моему. Отлежись тут, отдохни. Ишь как нервы вздыбились.

Крапивка потянулся к стакану, но рука ошиблась, проскользнула мимо.

— Сейчас налью, — сказала санитарка.

В час обхода в изолятор пришел профессор Ярцев. Ординатор доложил, что больной Крапивка принят согласно просьбе Дмитрия Николаевича.

Крапивка встал со стула, прислонился к стене, сказал:

— Я домой поеду!

— Не понравилось у нас?

— Чего без толку время терять? Все одно не можете, так лучше не расстраиваться, не мучиться.

— Давно не видите?

— С сорок четвертого. После ранения. Надоело по госпиталям валяться.

— Делать операцию предлагали?

— Один раз было. А потом отказались. И больше не предлагали.

— Советую не спешить с отъездом. Обследуем вас, тогда все решим.

— Надоело это, устал я, — сказал Крапивка. — Пустой, видать, жребий.

— И у судьбы бывают неожиданные повороты. Заранее не падайте духом. Вы попали в хорошую клинику.

— Койка другая, болячка все та же, — вздохнул Крапивка. — Уеду.

— Отдыхайте, завтра начнем обследование.

Дмитрий Николаевич вышел.

Марина слышала звонки, но к аппарату не подходила — готовилась к экзаменам. Приходилось жертвовать даже болтовней по телефону.

Приняв за основу заповедь: «Перед смертью не надышишься», Марина все же корпела над учебниками. «Если сгорю на экзаменах, никто не сможет упрекнуть, что от лени».

Из кухни вышла бабушка и, вытирая передником руки, сняла трубку.

— Слушаю. Нет тут Марины Дмитриевны.

Едва отошла, как снова раздался звонок.

— Слушаю. Просто Марину? Проживает. Марина! К телефону!

Марина выскочила из своей комнаты, на ходу заправляя халат.

— Ага! — выдохнула она в трубку. — Что делаю?

Пытаюсь быть прилежной. Пока удастся. Настроение не валенки — в прихожей не скинешь. Максим, полистай книги, установи, кто сказал: «Терпение есть гений».

— Бюффон, — мгновенно раздался ответ.

— Не может быть!

— Точно.

— А я, дура, не знала. Все! Кончаем разговор, бабуся смотрит на часы.

— Новенький объявился? — спросила бабушка.

— Максим. Эрудит. Между прочим, открыл закон личности.

— Посоветуй ему выучить закон вежливости. Мог бы поздороваться. Значит, ты уже Марина Дмитриевна? Я все гадаю: что за валет объявился на горизонте?

— Ну и что нагадала?

— Мутная идет карта. Все время какой-то рыжий пробивается.

— Рыжий — это прекрасно. Статистика утверждает: среди умных людей большинство рыжих.

— Отец почему-то не угодил в их компанию.

— Это — особый случай.

— Ужинать будем или его подождем?

— Подождем. Присутствие главы семьи повышает усвояемость пищи. Так считает Максим.

— Откуда он взялся, такой умник?

— Студент. Художник.

— Ухаживает? Или пока «дружит»?

— В загс не торопит.

— Спасибо, утешила, Марина Дмитриевна.

— Никто еще не знает, на что способна акселерация. Если у акселераторов будет добровольное общество, я предложу учредить герб с изображением шестилетнего Моцарта.

Бабушка усмехнулась, махнула рукой.

— Вам только волю дай. Второгодника пятого класса назначите директором школы. Я больше интересуюсь, какую отметку за вчерашнее сочинение получишь?

— Возможны варианты: тройка, четверка, пятерка. Что касается запятых, тут могут быть неожиданности. Или одна лишняя, или одной не хватит. А вот за тему ручаюсь.

— Расхвасталась.

— Конечно, если начнут придираться, то могут забодать.

— Почему?

— Представь, вышла за рамки принятого. И здесь не так, и там своя мыслишка бьется. А это опасно. Но я рискнула и согласна схватить даже трояк. А почему? Сочинение — это мои мысли о жизни. Это я пишу... Марина Ярцева. Хорошая, плохая, но я. Иначе — зачем сочинение? Тогда пусть остается диктант. Один на всех. Там все по правилам. Раз и навсегда. А нас в классе — тридцать лбов, и все разные.

— Ох, Марина, Марина... Десятый час, а отца все нет. Давай-ка ужинать, — сказала бабушка.

В квартире Ярцевых кухня была наособинку. Дмитрию Николаевичу захотелось, чтобы там стоял крестьянский стол с ошкуренной столешницей, а вместо стульев — лавки.

В остальных комнатах была обычная гарнитурная мебель, достаточно удобная и столь же однообразная. Порой многим гостям казалось, что они у себя дома.

Полужинав, Марина поставила будильник на семь утра.

— Семья живет от звонка до звонка, — сказала она. — Труженик папа. Работящая мама. Съезд офтальмологов. Симпозиум синоптиков. От всего этого захочется стать нормальной домохозяйкой.

— Попробуй, — сказала бабушка. — Лично я не против...

— Все ясно, — прервала Марина. — Удаляюсь зубрить.

Через час пришел Дмитрий Николаевич. Достаточно было одного взгляда, чтобы заметить его плохое настроение.

Бабушка осторожно спросила:

— Что с вами, Дмитрий Николаевич?

— Как-то не по себе...

Ему казалось, что отговорка освободит его от дальнейших расспросов, но бабушка не отставала:

— Неудачная операция?

В семье было не принято касаться больничных дел. О них Дмитрий Николаевич изредка разговаривал только с женой.

— Может, обойдется? — попыталась успокоить бабушка. Она уже пожалела, что затеяла эти расспросы. — Ужин готовить?

— Спасибо, ел... А где Марина?

— У себя. Весь день занимается.

...Поначалу это был просто пациент. Один из сотен, из тысяч таких же несчастных, которым надо было помочь.

Дмитрий Николаевич, глядя в сумрачное лицо Крапивки, хорошо понимал причину его недоверия.

— Столько лет прошло, — сказал тогда Крапивка. — А я все тащу свой крест. Опять напрасно мучиться? — Он безнадежно махнул рукой.

— Видите ли, Федор Назарович, медицина за эти годы основательно шагнула вперед.

Дмитрий Николаевич мог бы рассказать о новейших методах хирургического вмешательства при различных поражениях глаз. Но не стал. Словами не убедишь. Да и рано что-то обещать.

— Давайте проведем обследование, — заключил он. И Крапивка неожиданно согласился.

Через два дня Дмитрий Николаевич сообщил ему результаты обследования и предложил остаться в клинике для операции.

— Правда, случай сложный, но не безнадежный. Операция требуется двухэтапная: вначале придется убрать травматическую катаракту, а уж потом ликвидировать отслойку сетчатки. — Вот так, Федор Назарович. Решайте.

Крапивка, понуриив голову, обхватил ее похолодевшими ладонями.

— Значит, серьезная операция?

— Да. Кем вы были на фронте?

— Связистом.

— А где ранило?

— Под Варшавой.

— Человек вы бывалый. Сумеете вытерпеть. Первая операция под местной анестезией. И длится она недолго.

— А вторая? — спросил Крапивка.

— Через месяц-другой. И на этом — все. Решайте.

— Чего теперь скажешь? Авось хуже не будет. Я согласен, делайте.

За дверью, над которой светилося табло: «Тихо. Идет операция», стояла напряженная тишина.

Что ни говори, а при слове «операция» человеку всегда не по себе. И подсознательный страх вступает в спор с рассудком, и не убеждают доводы, что действия хи-

рургов основаны на точном решении. Но хирурги не боги. Хотя порой могут то, что и богам не снилось. Учитель Дмитрия Николаевича, покойный профессор Русаков, ударом скальпеля рассекал семь марлевых салфеток, лежавших на бумажном листе, не прикоснувшись к бумаге.

Многое унаследовал от учителя Дмитрий Николаевич. И сейчас он был спокоен и уверен.

Ассистенты и операционная сестра Лидия Петровна закончили приготовления. Дмитрий Николаевич сел в кресло, положил руки на специальные подлокотники. Лидия Петровна выдвинула штатив с микроскопом. Прильнув к окуляру, Дмитрий Николаевич увидел резко увеличенные глаза Крапивки.

Дмитрий Николаевич провел множество операций, и каждая требовала виртуозной техники, чтобы коснуться скальпелем в нужной микроточке.

Только подлокотники, если бы могли чувствовать, знали, какое напряжение испытывают руки Дмитрия Николаевича. Закончив операцию, он медленно, оцепенело откидывается к спинке кресла и сидит, закрыв глаза, пока не расслабится.

Когда на другой день Крапивке сняли повязку, чтобы закапать лекарство, он увидел чье-то лицо и закричал: «Вижу!»

— Это только начало. Первый проблеск, — улыбнулся Дмитрий Николаевич. — Лидия Петровна, пожалуйста, подставьте лупу.

Сестра приблизилась к Крапивке.

Теперь он смотрел через лупу.

— Лучше! Еще лучше! — радовался Крапивка.

Нервное напряжение мешало ему сосредоточиться. Только спустя несколько дней он смог описать увиденное.

Дмитрий Николаевич напомнил ему про вторую операцию и сказал:

— Тогда цыплят посчитаем!..

Потом Крапивка уехал, чтобы вернуться через полтора месяца.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На вокзале Крапивку встречала тетя Дуня. Она увидела его в окне вагона и постучала пальцами по стеклу.

По пути в клинику тетя Дуня успела рассказать Кра-

пивке, что Дмитрий Николаевич недавно приболел, жаловался на сердце, а теперь, слава богу, иной раз и по две операции в день делает.

— А вчера вызвал меня, — продолжала она, — и говорит: «Завтра надо встретить Крапивку. Не возражаете?» Говорю — не возражаю. Грамоте, милоч, всякого можно обучить, а вот чтоб душа теплой стороной к людям была повернута, тут не обучишь! Ну кто ты ему? Сват, брат? Больной, и только. А он хлопочет о тебе. Вот человек! Редкостный человек!

Крапивка слушал и теперь уже благодарил судьбу, что свела его с Ярцевым. Может, теперь жизнь и пригреет его, битого-перебитого. Ведь не так уж много ему и надó. Годы не молодые. Вот-вот разменяет полвека. На солнышко взглянуть — и то счастье...

Вскоре Крапивку опять привели в операционную.

С каждой минутой он все глуше и глуше воспринимал отрывистый разговор ассистентов, анестезиолога; постепенно погружался в теплый глубокий сон; деревенел язык, и наконец все оборвалось.

Девяносто три минуты длилась вторая операция.

Наутро первой навестила Крапивку тетя Дуня.

— Ожил?

— Ожил, да пока не знаю — к добру или худу.

— В нашем деле торопиться нельзя, — с достоинством повторила она слова Дмитрия Николаевича. — В девять обход. Жди. Придет сам.

— А сейчас сколько?

— Восемь.

— Водички хочу, сушит.

Тетя Дуня принесла стакан воды.

— А когда повязку снимут?

— Всему свое время. Понял? Зря томить не будут. — Она вышла из палаты.

Скоро беспокойные мысли, занимавшие Крапивку, оборвал тихий голос Дмитрия Николаевича:

— Давайте посмотрим, что мы сотворили...

Лидия Петровна подкатила к кровати передвижной столик с медикаментами и, склонившись над больным, стала снимать повязку. Нынешнее состояние Крапивки не вызвало опасений, и Дмитрий Николаевич попросил сестру сделать перевязку.

Федор Назарович удивился, почему профессор не спросил, как он видит. «Наверно, плохи дела», — подумал он.

Только через несколько дней услышал Крапивка долгожданный вопрос и, не веря себе, воскликнул: «Все вижу!»

Наперекор его ликованию Дмитрий Николаевич сказал:

— Рано, рано...

Лидия Петровна поднесла к глазам Крапивки лупу, и он, оглядевшись вокруг, повторил:

— Все вижу! Честное слово — вижу! Губы красные...

— Прекрасно, все начинается с женщины, — улыбнулся Дмитрий Николаевич.

Крапивка жадно всматривался в окружавшие его предметы и поспешно называл их: шкаф, стул, лампа, халат... Он торопился все перечислить, словно боялся, что его прервут.

— Будьте внимательны, — сказал Дмитрий Николаевич. — Не торопитесь. Разглядывайте предмет обстоятельно. Вам надо научиться видеть.

— А можно я сам буду держать лупу?

— Конечно.

Крапивка нацелил волшебное стекло на лицо Дмитрия Николаевича, потом посмотрел на Лидию Петровну.

— Теперь всех вас увидел... Нет, не всех... Тетю Дуню не знаю.

— Самую главную, — сказал Дмитрий Николаевич. — Завтра увидите.

— Дмитрий Николаевич! А мне казалось, у вас борода. Такая аккуратная, клинышком.

— Увы, не обзавелся.

Крапивка неотрывно всматривался в спокойное лицо профессора.

— На сегодня хватит. Пора делать перевязку, — сказал Дмитрий Николаевич.

Дни проходили в ожидании процедур, после которых Крапивка брал лупу и долго осматривал уже виденную палату. Но теперь его внимание все больше привлекали подробности. Возвращалось ощущение многомерности и многоцветности. А когда он подходил к открытому окну, то звуки улицы, жившие в его памяти, чудесным образом сливались со зримой картиной мира, вновь им открытого.

Столь же пытливо Крапивка рассматривал и Дмитрия Николаевича.

Однажды профессор даже усмехнулся:

— Вы бы лучше на Лидию Петровну смотрели. Богиня.

Лидия Петровна, застенчиво улыбнувшись, сказала:

— Больному хочется запечатлеть образ своего исцелителя.

В полдень Лидия Петровна бесшумно вкатила свою передвижку в палату.

Крапивка понуро сидел на кровати; на тумбочке стоял остывший, нетронутый завтрак.

— Почему не ели? — удивилась Лидия Петровна.

— Не хотелось.

— Ладно, будем лечиться.

Мягкими, ловкими движениями она сняла старый бинт, затем взяла стерильную марлевую салфетку.

— Погодите с перевязкой, — попросил Крапивка. — Можно посмотреть через лупу?

— Пожалуйста.

Он принялся вновь разглядывать палату.

Неожиданно вошел Ярцев.

— Здравствуйте, Федор Назарович.

— Здравствуйте...

— Что ж, наступила осень. Пора цыплят считать... Дня через два будем прощаться.

Крапивка цепко сжал черную ручку лупы, навел линзу на лицо Дмитрия Николаевича и увидел — сильно увеличенную — рассеченную мочку уха.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В последние дни Крапивка чаще стал вынимать из-под матраца бумажник и раскладывать на кровати свои документы и бумаги. Дольше всего задерживались в руках две странички, сколотые булавкой.

Он ощупывает странички и, убедившись, что они на месте, снова складывает их по старым изгибам.

Лидия Петровна появляется как раз в этот момент.

— Кто? — растерянно спрашивает Крапивка и, услышав знакомый голос, с неожиданной неприязнью продолжает: — Я думал, вы забыли про меня.

— Что вы, Федор Назарович! Сегодня для вас решающий день.

Крапивка настораживается, словно Лидия Петровна угадала его мысли. Мысли, которых он сам пугается.

— Если все будет благополучно, Дмитрий Николаевич разрешит вас выписать.

— А почему он сам не пришел? — с чувством еще большего раздражения спрашивает Крапивка.

— В соседней палате задержался.

— Придет?

— Конечно.

— Подождем, — бормочет Крапивка. — Дождемся...

Долгие годы одиночества приучили его разговаривать с самим собой. Слова, произнесенные вслух, хоть звуком окрашивали печальную бесцветность мира.

Было в его жизни время, когда он обрел друга. Собрав сбережения, оставшиеся от пенсии, он купил овчарку. Назвал ее Стрела. «Будет у меня собака-поводырь... С ней и поговорить можно», — с надеждой размышлял Крапивка.

Понемногу приучил он собаку к нелегкой службе и по-ребячески радовался взаимной привязанности. Но шальной грузовик сшиб Стрелу насмерть.

Лидия Петровна, сняв повязку, промыла Крапивке глаза.

Теперь он ждет, когда медсестра даст ему лупу и появится Дмитрий Николаевич.

Заметив нервозность Крапивки, Лидия Петровна протягивает ему лупу и календарик.

— Хорошо видите?

Крапивка кивает.

— Прочтите.

— Союзпечать... 1965 год.

В это время входит Дмитрий Николаевич, здоровается. Но Крапивка отвечает не сразу, словно онемел.

— Здравствуйте, профессор.

— Одного сейчас выписал в лучшем виде. Честно говоря, не очень верил в успех. Тяжелый был случай.

Крапивка не замечает, как светятся глаза Дмитрия Николаевича, но жизнерадостный, почти ликующий голос профессора вызывает в нем вспышку гнева. Ощувив холодный пот на лбу, Крапивка вытирает его рукавом халата.

— Ну, здесь как дела? — спрашивает Дмитрий Николаевич.

— Все нормально. Отделяемого не было, — докладывает Лидия Петровна.

— Будем смотреть... Ну-ну, не волнуйтесь.

Крапивка садится на стул, слегка закидывает голову.

Склонившись, Дмитрий Николаевич нажимает пальцем на веко.

— Больно?

— Нет.

— Откройте глаза. Закройте. Еще раз откройте, — снова нажимает на веко. — Больно?

— Нет.

— Что-то вы хмурый сегодня, Федор Назарович? Радоваться надо. Все хорошо.

Крапивка встает и молча идет к двери. Вдруг останавливается.

— Что с вами? — спрашивает Дмитрий Николаевич.

Крапивка не отвечает. Постояв в нерешительности, он поворачивается и подходит к профессору.

«Что с вами?.. Что с вами?..» — многократное эхо звучит в голове Крапивки. И гнев, искавший выхода, все накапливается.

— Домой отпускаете? — говорит Крапивка.

— Да, домой.

Крапивка почти не слышит слов Дмитрия Николаевича о помощи, которую ему окажут, потому что весь в плену испуга и гнева.

— Спасибо... Спасибо... — перебивает Крапивка. — Я, конечно, благодарю за все... Только вот смотрю на вас... Очень вы лицом похожи на одного человека. Ну, просто вылитый он. Вот напасть какая...

— Быстрый вы, Федор Назарович, — говорит Лидия Петровна. — Только видеть начали и тут же какое-то сходство обнаружили.

Молчит Крапивка. Путаются мысли.

— С прозревшими это бывает... — улыбается Дмитрий Николаевич. — Один во мне родного брата признал. Помните, Лидия Петровна?

— Помню. Потом сам смеялся.

— Но я-то не ошибаюсь. Я того Проклова и слепой видел. На всю жизнь запомнил. И теперь на вас смотрю, даже страшно. Вылитый Иван Проклов.

Вдруг лицо Дмитрия Николаевича потеряло очертания, в глазах Крапивки потемнело, все вокруг поплыло. Только слышит он жуткое молчание профессора.

— Кто же этот Иван Проклов? — спрашивает Лидия Петровна.

— Бандит... Отца и мать моих убил...

— Ничего другого не могли придумать? — возмутилась Лидия Петровна.

— Вылитый Проклов, — зло говорит Крапивка. — А вот фамилия почему-то другая...

После укола Крапивка спал трудным, беспокойным сном, временами стонал, зовя кого-то на помощь.

Он проснулся от ноющей боли в затылке. Вдохнул, нащарил кнопку вызова, но передумал, не позвонил.

Постепенно освободившись от тупой сонливости, он ясно увидел Дмитрия Николаевича, но тут же облик профессора обрел черты Ваньки Проклова.

...В 1930 году Феде Крапивке исполнилось тринадцать лет. Был он быстр, непоседлив: в один день мог сбежать за много верст в дальнюю деревню, вдоволь нагуляться с босоногими друзьями и затемно вернуться домой. От усталости валился на топчан, что стоял за громоздким шкафом, и, растянувшись на тулупе, брошенном черной шестью вверх, мигом засыпал легким и долгим сном.

Дом, крытый железом, стоял близ дороги, а за мостком, перекинутым через речушку, высилась мельница-ветряк, почерневшая от времени.

Дед Федьки издавна занимался мельничным делом и сына своего Назара приставил к жерновам, наказав: «Береги божий ветер и не протянешь руку за хлебом насущным».

Когда дед отдал душу богу, Назар стал хозяином мельницы. Все чаще и чаще проводил он беспокойные дни и ночи: о нем начинали поговаривать, что он-де кулак-мирод.

Приближалась коллективизация, пошел слух, что мельницу конфискуют. Но время листало календарь, слух не подтверждался.

Ударил в набат год тридцатый — и слово «колхоз» не сходило с уст людей.

Кулаки люто противились рождению колхозов. Травили скот, жгли хозяйственные постройки. Сеяли смуту и убивали из-за угла колхозных вожаков и сельских активистов.

Шастая к своим друзьям, Федька невольно становился свидетелем шумных разговоров, слышал, как поминали недобрым словом Назара Крапивку, его отца...

Сам Назар чувствовал, что близится крах, и однажды хотел было спалить мельницу, но не отважился, да и жена Настасья его отговаривала.

— Зачем зло свое выказывать? — убеждала она. — Прознают — в тюрьме сгноят, а может, и вовсе под расстрел подведут. Лучше по-доброму отдать. Нет у них другого мельника. Может, они тебя и оставят.

Назар выслушивал молча и понуро говорил:

— Так уж и оставят! Держи карман шире! Разве не слыхала, как мужиков с родных мест выколупливают? Тут дело Сибирью пахнет. — Но, помыслив, соглашался с женой. — Может, верно, отдать. Авось не угонят тогда с отцовской могилы. Мне бы только с духом собраться, чтобы не передумать...

Федька с ватажкой ребят пускал бумажного змея с мочальным хвостом.

Змей взлетел высоко, но вдруг нитка запуталась в макушке долговязой сосны.

Было жаль змея, и тогда вызвался Федька влезть по голому стволу на верхотуру, чтобы освободить пленника.

Измерив взглядом сосну и поплевав на ладони, он стал взбираться. Мальчишки шумно подзадоривали его. Федька достиг середины, передохнул, прижавшись к липко-шершавому стволу, и снова, откинув голову, начал упрямо подтягиваться по вершку-вершочку к цели.

Наконец, ухватившись за первый сучок жидкой кроны, радостно крикнул:

— Э-ге-гей! Эй, вы!

И, глянув вниз, увидел рослого парня, подошедшего к ватажке.

Чтобы доказать свою удаль, Федька полез еще выше, на самую макушку, и отцепил запутавшуюся нитку.

Змей ожил. Мочальный хвост колыхнулся, поплыл в воздухе.

Федька лихо, не ободрав рук, спустился на землю.

— Не страшно? — спросил рослый парень.

— Ни капельки, — бойко ответил Федька.

— Змей лучше в поле или по берегу пускать, — посоветовал рослый. — Наши мальцы так играют.

— Чьи ваши? — спросил Федька.

— Михайловские.

— Это за железной дорогой?

— Там, — сказал рослый и похлопал Федьку по

плечу. — А ведь мы с тобой встречались. Помнишь, на пароме...

— Помню. Ты тогда про стригунка говорил.

Парень постоял немного и пошел к лесной тропке.

— А у него ухо рваное. Видели? — глядя вслед, сказал Федька.

— С чего ты взял? — ухмыльнулся кучерявый в гороховой рубаше.

— Приметил. Еще на пароме пригляделся. Кто ж ему ухо рванул?

— Мало ли кто.

Из-за леса набежал ветер, рывками потащил змея по небу, и тогда кучерявый начал сматывать нитку.

— Зачем? — спросил Федька.

— Надо спускать, а то порвет.

Суетливо, быстро набегали тучи. Где-то в стороне сухо раскашлялся гром, потом над лесом полыхнула молния, и дождь, собрав силы, грянул косыми струями.

Размокший змей шлепнулся на землю.

Крапивка встревоженно приподнял голову с подушки. В палате было тихо. Лицо Ваньки Проклова проступило с такой неожиданной и отчетливой резкостью, что даже ясно обозначился шрам на мочке уха.

И сразу Крапивка увидел себя тринадцатилетним пареньком — в ту незабываемую жуткую ночь...

После ужина, когда солнце расплылось в закате, Федька попросился в ночное. Отец редко отпускал его с ребятами на пастбу коней, подозревал, что Федька с дружками в поле курят донник, а Назар терпеть не мог дурного зелья.

Федька побожился, что не займется баловством, и вымолил отцовское согласие.

— Ладно. Смотри у меня. А поить Метелицу води на песчаный откос. Вода там чистая.

Вернулся он на рассвете, но не стал входить в избу, а полез на чердак и улегся на старом отцовском тулупе. Ночью он все-таки не удержался — курил и теперь жутко боялся, что отец учует запретный запах.

Чуть в стороне от Федьки была открытая створка лаза, он глянул в квадратный проем: родители спали, отец похрапывал, закинув руку под голову.

Федька уснул особенно крепким, безмятежным сном.

...Он не слышал, как кудлатый мужик в потертой

кожанке, шепеляво грозил отцу, размахивая наганом; другой, прихрамывая на правую ногу, волочил плачущую мать, а молодой топором взламывал сундук.

Когда отец рванулся к матери, кудлатый выстрелил в него. Отец рухнул.

Именно от этого выстрела Федька проснулся, обмирая от страха, подполз к лазу.

На полу лежал отец в рубахе, залитой кровью.

У Федьки помутилось в глазах. Но все-таки он увидел, как молодому удалось отвалить крышку сундука. Подбежал кудлатый и, разворошив лежалое добро, выхватил кубышку с деньгами. И тут же потянулся за сапогами с торчащими из голенищ ушками.

Молодой попятился к двери.

— Стой! — остервенело крикнул кудлатый. — Кончай ведьму! Ванька!

Федька отчетливо разглядел лицо молодого и сразу узнал в нем того рослого парня из Михайловки. Со шрамом на ухе.

Взгляды их встретились. Молодой замотал головой и спасительно прикрыл лицо ладонями.

— Кому сказал! — Кудлатый зловеще матерился. — Добей ее! Ванька!..

В палату вошла тетя Дуня. Шаркая тапочками, она приблизилась к кровати.

— Тетя Дуня... Домой хочу, домой, — простонал Крапивка. — Пусть меня выпишут.

— Нашкодил, а теперь в кусты. И как тебя угораздило профессора бандитом обозвать? Тебе он сторонний человек, а мы его столько лет день в день знаем! Откуда в тебе зло притаилось? Разве доброму человеку придет в голову сказать такое? Да нет, горе всегда утишивает, а ты... Чего молчишь?

— Я правду сказал!

— Ни стыда у тебя нет, ни совести! Да профессора Ярцева весь город, вся страна знает!

— Он Проклов, а не Ярцев.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После бессонной ночи Ярцев окатил себя холодным душем и раньше обычного направился пешком в клинику. Вчера он на работе не был.

Улицы оживали не сразу. Вначале по широким тротуарам изредка шли одиночки, затем появились очереди у газетных киосков, постепенно собирались люди у остановок городского транспорта, а вскоре тротуар стал тесным — людской поток устремился к станции метро.

Еще вечером мысль о том, чтобы поговорить с Крапивкой, представлялась ему абсурдной. Из множества доводов «за» и «против» он выбирал те, что исключали смысл такой встречи. А сегодня утром — видно, не зря говорят, что оно вечера мудренее, — Дмитрий Николаевич ощутил отчетливую необходимость в разговоре с Крапивкой.

Подойдя к клинике, Дмитрий Николаевич замедлил шаги.

«Кто еще знает о случившемся?» — подумал он.

Но все, кого он встречал в этот день, были, как всегда, почтительны и приветливы.

Дмитрий Николаевич вошел в палату. К счастью, соседей Крапивки не было.

— Здравствуйте, Федор Назарович, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил Крапивка, дрожащей рукой отставив стакан чаю. И с опаской спросил: — Скоро меня выпишут? Или теперь задержат?

— Почему же?

— Да теперь всякое может быть, — пробормотал Крапивка. — Только не могу я больше. Разве я виноват? Душа не стерпела, все увидела. Сами уговорили делать операцию. Я не хотел. Вы настояли. — Он умолк, всем видом показывая, что говорить больше не желает.

— Кого вы увидели? Вы уверены, что не ошиблись? — спросил Дмитрий Николаевич и сел на стул, давая понять, что разговор только начинается.

Крапивка резко повернулся. С напряжением всматривался он снова в лицо Ярцева.

— Все так... — Он шумно вздохнул. — Честное слово, Ванька Проклов.

— Допустим, похож. Что из этого следует?

— А он и есть, который от суда сбежал.

— Федор Назарович! Сказать можно все, что угодно.

— Вот как вы рассуждаете, — устало произнес Крапивка. — По-вашему, выходит, все неправда. И глаза мои врут, и я с ними заодно? — И вдруг встал, подошел к кровати, вынул из-под матраца пухлый старенький бумажник. — Здесь про мою жизнь все сказано.

И про Ваньку Проклова имеется. Здесь документы, а не слова. — Он раскрыл бумажник. Правый кармашек был набит разными бумагами, а левый был тонким.

Крапивка вынул оттуда две странички, сколотые булавкой. Линии сгиба уже протерлись, видимо, они побывали во многих руках. Он пытливо осмотрел бумагу, но, не доверив взгляду, привычно потрогал пальцами каждый листик и булавку, словно хотел убедиться, что в руках у него нужный документ.

— Тут частное определение суда, — Крапивка ткнул пальцем в типографский бланк и, перевернув страницу, коснулся поблекшей печати. — Можете прочитать...

— Зачем?

— Вы хотели документ. Вот он.

— Нет уж, сами читайте. Вы теперь зрячий.

Крапивка развернул листок и скорее по памяти, чем по тексту, прочитал частное определение, в котором суд просил отдел народного образования ускорить прием Феде Крапивки в детский дом. В конце была выписка из приговора суда, где указывалось, что родители Феде Крапивки убиты бандитами.

Прочитав, Крапивка не спрятал бумажку, а оставил ее на столе, явно рассчитывая, что Дмитрий Николаевич захочет посмотреть ее.

Но Дмитрий Николаевич, склонив голову, не двигался.

— Бражко и Гнилова суд приговорил к расстрелу. А Проклов сбежал. Объявили розыск беглеца. И совсем это не вранье! Так все случилось. Я на всю жизнь побратался с горем! Знаю его на вкус, на запах и на ошупь! Зачем же мне на других беду наводить? Вы мне скажете — это ж когда произошло? Тридцать пять лет назад! А я лицо Ваньки все вижу. И опять смотрю на вас — он!

— Федор Назарович, почему вы прямо не спросили меня: было такое или нет?

Крапивка сердито ответил:

— Ну, спросил бы я... Любой отрекаться станет. Какой вам смысл подтверждать?

— Откуда такая уверенность?

— Был я на том суде. Видел двоих, которых поймали. А третий — Ванька Проклов — сбежал. На дороге нашли тогда ремень с выцарапанным именем: «Иван Проклов».

— А может быть, его давно поймали и рассчитались

с ним? И нет его, Проклова, больше на земле. Нету! — Впервые Дмитрий Николаевич повысил голос: — Чего вы добиваетесь?

— Не рассчитались с Прокловым, живой он! А как вы стали Ярцевым, не знаю! И не я приговор выносил! — Вдруг Крапивка резко обернулся. — Все! Все! Ничего не хочу от вас... Ну, встретились мы. Встретились и разошлись. За горе — проклинаю! Слышите, Дмитрий Николаевич? Я вашей гибели не желаю! Хотите, всем скажу — бес меня попутал... Все почудилось мне, дураку неблагодарному! Хотите, подпишусь?!

— Выходит, я пощады у вас прошу? К жалости взываю? Мол, я тебе зрение вернул, а ты у меня жизнь не отнимай! Так?

— Нет, Дмитрий Николаевич! Нет! — задыхаясь, неловко взмахнул руками Крапивка. — Мне вашей повинной не надо! И еще скажу: без меня у вас защитников хватит. Сколько слепых вашими глазами видят! Это я знаю!

Ярцев подошел к окну. День был пасмурный. Низкие облака клубились над городом.

— Федор Назарович, вам кажется, что вы знаете всю правду о гибели ваших родителей? — спросил он.

— Знаю. Я все видел своими глазами.

— И я видел, — не отводя глаз, сказал Дмитрий Николаевич.

Крапивка тронул рукой небритый подбородок, несколько раз провел пальцами по сухим губам.

— А говорили, что неправда... Все-таки я прав!

— Только в одном.

— В чем?

— Когда-то меня называли Иваном Прокловым. Был я в ту ночь в избе. Только я не убивал. Нет на мне крови. Нет!

...Отец вернулся с гражданской без ноги. Семья бедовала, вдоволь натерпелась нужды. Двоих детей унес голод. Отец стал пить, часто буянил. Измученная, больная мать страдала от его побоев, Ваньке тоже доставалось. Однажды так кнутом огрел, что рассек мочку уха. Вскоре у отца начались приступы белой горячки. Потом он ушел. Сказал — в город на заработки. Но не вернулся. Кто-то из деревенских баб однажды сообщил матери, что видел отца: тот бродил по базару, просил подаяние. Мать слухам не поверила. Они с Ванькой батрачили, получали гроши. С каждым днем силы покидали мать.

Она часто кашляла, корчась от боли, плевалась кровавой слюной и причитала: «Тяжко мне, сынок... Видно, приходит конец...» На исходе воскресного дня мать упала у колодца и больше не встала. Ее доконала чахотка.

Когда Ванька бросил ком земли на крышку гроба, кто-то крикнул: «Пожар!» Ванька оглянулся и ничего не увидел. Потом узнал. Это пустую избу подожгли. За что? За то, что мать в колхоз хотела вступить. Лютая злость охватила Ваньку. На беду встретил у церковных ворот подвыпивших мужиков. Один кудлатый, лет под сорок, другой помоложе, белозубый, хромающий на правую ногу. Кудлатый сказал: «Положено помянуть усопшую. Пошли». Ванька согласился. Выпил. Немного, полкружки. Спросил у них: «А вы сами-то откуда? Кажись, не из наших краев?» — «Дальние, — ответил кудлатый. — С голодных мест идем. Да и здесь, видно, не рай. Хотя мы еще порядком не пригляделись. Может, подскажешь, малый, у кого кубышка есть? Свою долю получишь. Не обидим сироту». И тогда Ванька сказал: «Есть кубышка... У мельника». Тут хромоногий прошептал: «Вот бы нам его колупнуть». А кудлатый устался, спрашивает: «Ты точно знаешь?» Ванька ответил: «Люди говорят, я не видел». — «Пойдешь с нами?» Ванька молчал. Потом согласился. Хромоногий полез в торбу и дал ему ломоть хлеба и шматок сала. «Пошли, посмотрим твое пепелище», — сказал кудлатый.

К счастью, да какое это счастье — цыганское, не иначе, остался угол избы, где висела икона, а под ней фотография, где Ванька с матерью... Как-то заезжий фотограф за ведро картошки сделал снимок. «Не помогла богородица, видать, тут грешники жили, — пробормотал кудлатый, — пора за дело браться». И он, подняв головешку, пьяно ухмыльнулся и швырнул в икону.

Потом свершилось это страшное. Все случилось совсем не так, как думал Ванька. Разговор шел о краже, а вышло убийство... И револьвер, который вытащил кудлатый, и нож с кривой рукояткой у хромоногого — об этом Проклов не подозревал.

— Когда раздался выстрел, я проснулся, — сказал Крапивка. — Потом услышал: «Ванька, добей ведьму!» Это кудлатый кричал.

— Верно, — подтвердил Ярцев. — Верно. Я возле

двери стоял. Обернулся на крик. И вдруг тебя увидел. Это был ты... Вспомнил, на пароме встречал тебя, говорил с тобой у сосны, когда ты бумажного змея снимал. Счастье мое, что увидел тебя. Это было моим спасеньем. Я рванул дверь и побежал к лесу. Вот как это случилось, Федор Назарович... Вам решать, верить мне или нет. Это не Ярцев рассказывал. Это Иван Проклов про свою жизнь исповедовался. Теперь в самый раз его к прокурору тащить.

— Что вы сказали?

— К прокурору, говорю, надо идти.

— Что ж вы, Дмитрий Николаевич, глаза мои спасли, чтобы я вашу смерть увидел?

— А как быть?.. Столкнулись две правды.

— Двух правд не бывает.

— Но у нас с вами, у каждого — своя, — сказал Дмитрий Николаевич. — Как быть? Человеку дана одна жизнь. И никому не удавалось прожить ее первый раз начерно, а потом уж набело. Не знаю, думал ли об этом Ванька. Боюсь, как бы не стал Ярцев говорить за Проклова. Ни к чему это. Вы и без того меня трусом считаете, Федор Назарович!

— Нет! Не говорил я такого!

— Не говорили, но думали. Оттого и не спросили, было ли это на самом деле.

— Зачем?

— Вы тридцать пять лет ждали этой расплаты. Может быть, тот Проклов сейчас бы и сказал: «Прости, очень прошу, прости. Давай все забудем». Но я, Ярцев, не могу. Не имею права.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Ты спишь, Дмитрий? — произнес Дорошин, тихо войдя в комнату. Он остановился у тахты, приподнялся на цыпочках и все же не увидел лица Дмитрия Николаевича, вдавленного в измятую подушку. — Это я, проснись, — он коснулся рукой его плеча и слегка потормошил.

Дмитрий Николаевич приподнял голову и, еще не расставшись с тяжелым сном, спросил:

— Который час?

— Восемь, — сказал Дорошин. — Вчера весь день пытался найти тебя — не удалось. Заболел?

Дмитрий Николаевич помотал головой.

— Вид у тебя неважнецкий. — Круглое, с маленькими усиками лицо Дорошина было участливым.

Дмитрий Николаевич отбросил одеяло, сел на тахту, взял с тумбочки папиросу, закурил.

Он вспомнил свою первую встречу с Вадимом. Это было в студенческом общежитии, когда тот пришел, чтобы вернуть долг сокурснику.

Ярцев лежал в маленькой комнате, где умудрились расположить пять коек. Он был болен, грипповал. Высокая температура держалась четыре дня.

Вадим положил трешку под подушку товарища и направился к двери. Но вдруг остановился, сказал: «А ты, дружок, здесь новенький. И вижу — хворый...» Он подошел к нему, затем, потрогав лоб, определил: «Тридцать восемь, а то и больше», посмотрел на тумбочку, где рядом с пустой эмалированной кружкой лежали таблетки и половинка черствого бублика. «Так ты, дружок, концы отдашь. Без присмотра скучаешь. Подружка есть? Молчишь. Понятно. Первокурсник. Давай знакомиться: Вадим Дорошин. Третий курс. А ты?»

Ярцев назвал себя и, повернувшись на бок, произнес: «Ничего, пройдет».

Вадим усмехнулся: «Стыдно слушать. И это говорит студент медицинского института. Знай такое профессор Грушин — отчислил бы немедленно. Вот что, Митя, где твои финансы?»

Ярцев протянул руку к ящику тумбочки.

Вадим открыл, увидел мелочь, копеек шестьдесят. «Ладно, не горюй.. Все течет, все изменяется», — выпалил он и вышел из комнаты.

Через час Вадим вернулся. В одной руке был чайник с кипятком, в другой — увесистая авоська. Там вперемешку лежали картошка и яйца, кусок колбасы и пачка чая, кулек с сахаром и румяный батон.

«Ну вот, будем лечиться, дружок», — сказал Вадим и с хозяйской хваткой стал готовить еду.

Ярцев смотрел на него с чувством неожиданной вины и мужской неловкости. «Сколько хлопот доставил тебе. И денег ты кучу истратил», — сказал он.

Вадим махнул рукой и легко ответил: «Жив будешь — деньги отдашь, а хлопоты цены не имеют. У них одна оплата — те же хлопоты. Давай ешь. Чаю больше пей, помогает, — наставительно заметил он. — Сейчас в магазин ходил, гляжу — птеник на тротуаре. Что делать? Отнес его в сквер, накрошил хлеба. Пришлось

батонком поделиться. Вот беда, воробышек из гнезда вывалился»...

— Что-нибудь не так? — спросил Дорошин.

— Именно... — Дмитрий Николаевич надел махровый халат и, сгорбившись, вышел из комнаты.

Покуда Дмитрий Николаевич принимал душ, Дорошин прикидывал, какие же неприятности могли обрушиться на друга. При этом он исходил из непреложной удачливости Ярцева. В душе он даже завидовал счастливому жребию, выпавшему на долю Дмитрия Николаевича. А вслух говаривал: «Везучий ты человек, Дмитрий. Под счастливой звездой родился».

В конце концов Дорошин пришел к мысли, которую раньше никогда не допускал: «Может, Елена ушла от него?»

Вернулся Дмитрий Николаевич и, сев в кресло, опять закурил.

— Плохо? — спросил Дорошин.

— Очень.

— Елена?

— Что ты!

Дорошин махнул рукой и тоном остряка на банкете сказал:

— И засуху победим! — Встретив тяжелый взгляд Дмитрия Николаевича, осекся. Тоже замолчал.

Дмитрий Николаевич отпил глоток воды. Поморщился.

— Выслушай меня. Пусть все останется между нами.

— Конечно, конечно, — торопливо заверил Дорошин.

— В тридцатом году случилась беда... Мне было тогда восемнадцать лет. И звали меня Иван Проклов. Не перебивай...

Лицо Дорошина стало хмурым. Он резко вскинул руку, хотел что-то сказать, но так и застыл в неуклюжей позе.

— Ты помнишь, я говорил тебе про операцию, которую сделал одному пациенту... Крапивке?

— Да.

— Он узнал во мне Ваньку Проклова.

Дмитрий Николаевич рассказал все происшедшее.

Дорошин сидел, обхватив руками голову, нервно постукивая носком ботинка по полу. Потрясенный услышанным, он оценил безвыходность положения Дмитрия

Николаевича. Его крах неминуемо произойдет, как только Крапивка сообщит обо всем в милицию.

Дорошин уже мысленно отнял у друга его звание, лишил ученой степени, уволил с работы.

Не выдержав мучительной паузы, Дмитрий Николаевич спросил:

— Что же ты молчишь?

— Как-то сразу все... Самое скверное, что пожар не удастся погасить. Слухи, наверное, уже ползут по больнице. Поэтому и Лидия Петровна так холодно говорила со мной. Я сразу понял, что стряслось нехорошее. Теперь твои недруги обязательно поднимут голову...

— Возможно, — ответил Дмитрий Николаевич.

Дорошин сожалел, что оказался первым, кто узнал про беду. Надо что-то говорить, советовать. А что говорить? И он позавидовал их общему другу Останину, находившемуся в командировке.

Дмитрий Николаевич словно прочитал мысли Дорошина.

— Ты не подбирай слова. Говори все, что думаешь.

— погоди, погоди... Мы давние друзья, Митя. Столько лет мы вместе! Скажу тебе честно: если бы это случилось со мной, я бы не знал, как жить дальше...

Дмитрий Николаевич погасил окурок.

— Вот и поговорили... Допустим, я приму твой совет. Что потом будешь говорить обо мне? Придешь на мои похороны? Считанные минуты понадобятся тебе, чтобы произнести приговор. А знаешь меня четверть века.

Внезапно Дорошин ударил кулаком по столу, да так, что стеклянной дрожью отозвалась посуда.

— Ты, Дмитрий, любил повторять, что совесть природа дает человеку бесплатно!

— Это говорил Ярцев, а не Проклов.

— Почему ты обиделся на меня?

— Я не хочу умирать.

Помолчав, Дорошин произнес:

— Что ты придумал? Какой приговор? Я совсем о другом! Успокойся!

— Вероятно, я ошибся, — ответил Дмитрий Николаевич.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Останин получил телеграмму Дмитрия Николаевича, где было всего два слова: «Очень нужен». Сейчас, сидя в номере гостиницы на другом краю страны — в Ха-

баровске, — Останин пытался понять, что же произошло, если Дмитрий со своей щепетильностью был вынужден послать такую телеграмму. Значит, что-то случилось такое, о чем нельзя даже сказать по телефону.

«Надо лететь, — решил он. — Немедленно».

И все же глухое раздражение из-за прерванной командировки не утихало. Только на телеграфе, послав «молнией» одно слово «Вылетаю», он расстался с сомнениями.

Поздним вечером Останин вылетел в Москву.

Он поудобней уселся в кресле, мысленно приказал себе — спи! — и под мерный гул двигателей тотчас задремал. Он обладал этой завидной способностью мгновенно засыпать. Друзья шутили: «Скидывая одну туфлю, он уже спит». Останин, ничего не опровергая, добродушно заключал: «С наше покочайте... Я перед сном в большом долгу».

Через девять часов, когда самолет пошел на посадку, стюардесса разбудила Останина и попросила пристегнуться.

Возле аэропорта выстроилась длинная очередь на такси, а машин было мало. Останин не стал дожидаться и двинулся к электричке, стоявшей у платформы.

Он сел у окна, развернул купленную только что газету и начал привычно просматривать страницы, за которыми непроизвольно возникали лица и голоса коллег по редакции.

Ему виделась напряженная суeta рождения газеты, такая, казалось бы, одинаковая, повторенная уже тысячи раз, но для каждого номера по-своему неожиданная и волнующая.

Отчего-то вспомнил Останин мемориальную доску в длинном коридоре редакции с именами военных корреспондентов, погибших в годы Отечественной войны. Он знал многих из них. Каждый, сполна испытав суровую солдатскую долю, выполнил свой долг.

И хотя Останин сам прошел фронтовые дороги военным корреспондентом, он благоговел перед именами павших коллег, причисляя себя к чудом оставшимся в живых.

Когда Останин вошел в подъезд дома, где жил Ярцев, старушка лифтерша приветливо поздоровалась с ним, как со старым знакомым.

— Давно у нас не были, — посетовала она.

Останин шагнул в лифт, глянул на себя в овальное зеркало и тихо спросил свое отражение:

— Скоро сдохнешь, старый?..

Дверь открылась лишь после третьего звонка. В проеме стоял Дмитрий Николаевич.

— Я ждал тебя завтра.

— Достал билет на ночной рейс. Впустишь?

— Моя фамилия Проклов. Иван Проклов. Мне было восемнадцать лет. Я тогда скрылся. Убежал. О суде мне рассказал Крапивка. Ты никогда ничего не знал про эти мои годы. Время хранило тайну, которую ты сейчас узнал. Для тебя моя биография всегда начиналась с Челябинска. С той поры все было обозначено именем — Дмитрий Ярцев. Теперь ты узнаешь все о Проклове.

Останин потянулся к пачке сигарет, но Дмитрий Николаевич отодвинул их.

— Ты же бросил.

Несколько раз Дмитрий Николаевич прерывал свою исповедь; порой не хватало дыхания, нить давних событий внезапно терялась, ее приходилось нащупывать, вытягивать с болью.

— Я убежал, прячась в густом орешнике, — продолжал он рассказ. — Я бежал долго, наконец выскочил на просеку — она вела к волостному центру — и с ужасом сообразил: туда нельзя, опасно. Тогда я бросился в сторону, помчался в лес. Я бежал не оглядываясь, задыхаясь и падая. Ноги сами уводили меня от места, где случилась беда. Не помню, как очутился у железной дороги. Потом на каком-то разъезде я взобрался на платформу, груженную бревнами. Уже светало. Товарный состав тащился неизвестно куда. Мне было все равно. Я уснул и очнулся под небом с мерцавшими звездами. Значит, наступила новая ночь — после той, страшной. Состав стоял перед закрытым семафором. Было холодно, мучительно хотелось есть...

Дмитрий Николаевич вспоминал, что товарный состав двигался медленно, подолгу стоял на разъездах, пропускал пассажирские. А ночь, которая его укрывала, уже таяла, и наступал рассвет.

Он лежал на бревнах и прикидывал, как раздобыть еду; если отлучиться, можно отстать и упустить верную возможность оказаться вдалеке, на новом месте, где его никто не знает. Пришлось терпеть, пересиливать голод.

Как назло пошел дождь — холодный, пронизывающий. Проклиная все, он был готов покинуть свое убежище, но вокруг тянулся лес.

Наконец, впервые за все время, товарный остановился вблизи станции. Ушел отцепленный паровоз. И тогда Иван, прыгнув на землю, прошел в конец состава, где в тамбуре хвостовой платформы сидел кондуктор.

От кондуктора Иван узнал, что поезд идет в Донбасс, везет крепежный лес для шахт. А придут они на место через трое суток, а может, и позже: на дорогах заторы.

Когда разговорились, Иван назвался погорельцем, со слезами вспоминал мать. Сердобольный кондуктор пожалел парня, поделился скудными харчами и советовал непременно ехать в Донбасс. Там рабочий люд в цене, и его сразу определяют в шахтеры и поселят под теплую крышу.

Иван робко спросил, не надо ли чем помочь, но кондуктор, пожав плечами, сказал, что дело у него одно: ночью — зажигай фонарь да следи, чтоб не потух, а днем — держи красный флажок, чтобы избежать аварии.

Часа через два снова поехали. Иван улегся на полу тамбура, прислонился головой к низко спадавшему тулупу кондуктора и, захмелев от чужого тепла, погрузился в сон, да надолго: товарный успел более ста километров отмахать.

Паровоз брал воду на узловой станции. Ивану не терпелось сойти, раздобыть еду, но страх будто стреножил его, он сидел, вздрагивая от близких голосов.

«Подальше уедем, тогда...» — твердил он и до боли сжимал зубы, чтобы не взвыть от отчаяния.

Покинув станцию, товарный поезд остановился у первого семафора, здесь его долго продержали.

Эта остановка хорошо запомнилась. Последняя платформа с лесом оказалась вблизи будки стрелочника. Иван решил попросить кусок хлеба.

Стрелочник сказал, что хлеба нет, его по карточкам дают, и так уж за три дня вперед съели, а вот картошки можно, аккуратно теплая. Он вынул из котелка сперва четыре, потом добавил еще две картофелины.

Дмитрий Николаевич умолк, потер виски.

— Продолжай, — сказал Останин.

— Да, да... Постараюсь. В Донбасс я не попал. На какой-то станции — забыл ее название — пришлось

стоять в очереди за кипятком. Я держал бидончик кондуктора и все оглядывался на наш товарный. Вдруг он тронулся. Я побежал через пути, но тут — встречный. И я не успел... На пристанционном базарчике продал злосчастный бидон из белой жести — получил рубль и тут же за этот целковый купил ржаную лепешку. Проглотив ее в один присест, я спросил бабу: «Может, надо дров наколоть?» Узнав, что я погорелец, она посоветовала пойти в депо — там нужны люди.

Действительно, там меня словно ждали. Паровозов много, а грузчика два. Какой-то усач в галифе поговорил со мной, направил в общежитие. Это был старый вагон. Я переспал на голой полке, а утром влез в брезентовую куртку и стал кидать уголь в тачки, которые потом везли по мосткам и опрокидывали в паровозный тендер. Навсегда запомнился первый заработанный суп из гороха и кусок ржавой селедки с огурцом. Через три дня грузчики взяли расчет и повели меня на станцию к бойкому вербовщику. «Этот с нами поедет. Записывай». Вербовщик похвалил ребят за помощь и, глядя на меня, отчеканил: «Поедем строить тракторный гигант. А место ему уготовано в Челябинске. Может, слышал? Нет? Ну, увидишь. Поначалу определим в землекопы. Жалованье по выработке. Обеды по талонам. Житье в общежитии. Дорога за наш счет». Потом открыл тетрадку, послунывил карандаш и спросил: «Фамилия?»

Тут меня осенило: «Ты теперь другой!» — и, вспомнив, как звали кондуктора, я ответил: «Ярцев Дмитрий... Николаевич...» Так меня и записали.

Дмитрий Николаевич отпил глоток холодного чая.

— Ну а с Челябинска тебе все известно.

Некоторое время молчали.

— Дмитрий, сварь кофе... А я позвоню домой, доложусь.

Когда пили кофе, Останин спросил:

— Мыши долго живут?

— Семь лет. — Дмитрий Николаевич пожал плечами. — Иногда десять...

— Это, Митенька, зависит от кошки. Всегда надо кошку в расчет брать. — Помолчав, спросил: — А Елена знает о Проклове?

— Нет.

— Понятно. Значит, Елену пока выведем за скобки. Где этот Крапивка сейчас?

— В больнице. Мне думается, ты сможешь написать заявление в прокуратуру?

— О чем?

— Обо всем... Решенный вопрос. Во всяком случае, для меня, Ярцева.

— А для Проклова?

— Писать будет Ярцев.

— Я Проклова не знал. Я могу судить только Ярцева. Не стану тебя обманывать. За тобой большой долг. Не каждому по силам оплатить такой долг. Ты — можешь. Ярцев богат. Хватит ли твоего богатства, чтобы рассчитаться за Проклова, решит суд. А я для тебя все тот же друг, что и раньше. Вадим знает? Ты говорил с ним?

— Да. Он сказал: «Если бы это случилось со мной, я бы не знал, как жить дальше».

Останин долго молчал, потом спросил:

— Что ты ответил?

— Сказал, что не хочу умирать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Поезд увозил Дмитрия Николаевича в Полесье.

Он лежал в двухместном купе спального вагона, уставившись взглядом на верхнюю полку, пустую, незастеленную.

Бесшумный вентилятор, перемешивая тепловатый воздух, подувал ветерком.

Дмитрий Николаевич прислушался к перестуку колес и вместо обычного «та-та-та» уловил нескончаемое: «при-го-вор, при-го-вор...».

«Я еду в Полесье. Это похоже на встречу со смертью, — подумал он. — Почему похоже? Похоже — это нечто приблизительное. А здесь...»

Постучав в дверь, вошла высокая, в вышитой красивым узором блузке, проводница и предложила чаю.

— С удовольствием, — поблагодарил Дмитрий Николаевич. Он обрадовался, что ее приход оборвал неотвязные мысли.

Отпив несколько глотков, он услышал в коридоре:

— Кто желает заказать билет на обратный путь?

У Дмитрия Николаевича кольнуло в сердце. Он был единственным пассажиром, который не знал, вернется ли обратно домой.

И сразу возникло лицо Дорошина, когда тот сказал: «Я бы не знал, как жить дальше».

Потом была ночь.

Он принял таблетку снотворного, налил немного коньяку в горячий чай и выпил, не очень разобрав — вкусно это или нет, и повалился на диван с надеждой на сон.

Едва он задремал, как в купе появился Крапивка, потрогал Дмитрия Николаевича рукой и буркнул: «Лежишь, а я думал, убежал». И неслышно исчез.

Дмитрий Николаевич спал тяжело, тревожно.

Утром в окне замелькали одинокие домики. Поезд прошел мимо составов, стоящих на запасных путях.

За окном показались вагоны с решетками, с часовыми у дверей. И разом потускнел блеск бронзовой арматуры, исчезла полировка на стенках купе, а вместо занавесок на окнах обозначилась ржавая решетка.

Поезд замедлил ход.

Прежде чем переступить порог прокуратуры, он долго бродил по бульвару в центре города, продумывая предстоящий разговор.

Наконец, подошел к старому зданию с колоннами. Поднялся на второй этаж.

Прокурор вышел из-за стола, протянул загорелую руку.

— Жбаков, Павел Иванович... Садитесь, прошу.

Ярцев сел на краешек стула, вынул удостоверение, одетое в красный сафьян с золотым тиснением, и подал Жбакову. На одном дыхании произнес:

— Меня интересует судебное дело Ивана Проклова. Он был осужден в Трехозерске в 1930 году. Нельзя ли поднять архив?

— В тридцатом? — переспросил Жбаков.

— Да.

— Прежде чем ехать, — с сочувствием сказал Жбаков, — вам следовало позвонить мне. Я бы сразу сказал: сгорел архив. Нас с первого дня войны бомбили. К сожалению, не сохранилось архива.

— Может, в других материалах какой-нибудь след найдется?

— Вряд ли, Дмитрий Николаевич. А что побудило вас искать столь давнее дело? Тридцать пять лет прошло. Уже история.

В это время раздался звонок. Жбаков несколько минут терпеливо слушал бубнивший в трубке голос, а потом, вспыхнув, сказал:

— Никто не имеет права навязывать суду оценку личности подсудимого. Никто! Так что дальнейший разговор считаю бессмысленным. Да, да! — Положив трубку, он вызвал секретаря и попросил достать подшивку областной газеты за прошлый год.

Дмитрий Николаевич извинился за беспокойство и, попрощавшись, вышел из кабинета.

День был жаркий, душный.

Побродив по зеленым малолюдным улицам, он зашел в кафе, чистое, уютное. Официантка расторопно подала обед, не задав непременно вопроса: а что будем пить?

Потом, перейдя сквер, Дмитрий Николаевич оказался у здания редакции газеты.

Едва глаз скользнул по надписи из накладных букв, как внезапная мысль заставила Дмитрия Николаевича остановиться.

А что, если зайти в редакцию и попросить разрешения полистать комплект газеты тридцатого года? Может, он сохранился?

В редакционной библиотеке коротко подстриженная девушка в роговых очках сказала:

— Старые подшивки хранятся у заведующей. Ее сегодня не будет — ребенок заболел. Завтра с утра, пожалуйста.

Дмитрий Николаевич, поблагодарив, сказал, что придет обязательно, стараясь не выдать огорчения, — впереди почти целые сутки томительного ожидания.

«Бог ты мой, — подумал он, — этот короткий путь через две улицы уведет меня из шестьдесят пятого года в тридцатый. Какие неожиданные маршруты вычерчивает жизнь».

На другой день он сидел в библиотеке и под частыми взглядами заведующей просматривал ломкие пожелтевшие страницы газеты.

Пролистав подшивку до половины, он спохватился, сообразил: все случилось летом. Когда же? День вспомнить не мог. Дмитрий Николаевич запомнил другой день тридцатого года, обозначенный фиолетовым штампом на обеденном талоне, который выдали землекопу Ярцеву двадцать первого августа на стройке тракторного, в Челябинске. Значит, это было до двадцать первого.

И вдруг ему стало страшно. Он даже не понял отчего. Сообразил только через минуту. Ведь он листал уже газеты августа.

Пятое, шестое, седьмое... А обеденный штампик — двадцать первого августа.

Сейчас в лотерее, которую затеял Дмитрий Николаевич, он хотел проиграть, обязательно проиграть. Пока его номера не было. С каждой страницей, переброшенной в левую часть подшивки, шансов на проигрыш становилось больше.

Вот и сентябрь переброшен налево.

В номере от шестого октября он увидел заголовок «Из зала суда». Нет, это про ограбление кассира.

Дмитрий Николаевич почувствовал сухость во рту.

В номере от шестнадцатого октября на четвертой странице была небольшая заметка — «Суровая кара». Неровно набранный текст.

«Закончилась выездная сессия суда, которая рассмотрела дело А. Бражко, Н. Гнилова, обвиняемых в убийстве. Бандиты приговорены к расстрелу. Объявлен розыск находящегося в бегах И. Проклова».

Дмитрий Николаевич прикрыл заметку разом вспотевшей ладонью, будто кто-то стоял сзади и заглядывал через его плечо.

— Может, хотите пообедать? У нас хорошая столовая, — предложила заведующая.

— Спасибо, — через силу ответил Дмитрий Николаевич.

Он записал текст заметки, дату и номер газеты, затем быстро поднялся и, уходя, зачем-то сказал библиотекарю, что придет завтра.

А вечером уехал в Москву.

И снова были смутные, тяжелые сны. Он просыпался в поту, лежал неподвижно, пока не забывался опять. К нему подкрадывался Крапивка, торопливыми движениями рук ощупывал его и хрипло спрашивал: «Еще не убежал?»

«Это никогда не кончится, — с ужасом думал Дмитрий Николаевич. — Никогда».

В последние дни Крапивка мало находился в палате, чаще сидел в дальнем коридоре верхнего этажа, где размещались лаборатории.

Здесь и нашла его доктор Баранова.

Крапивка встретил ее настороженно, с опаской.

Упрямые, жесткие складки появились у него в уголках рта, когда Баранова спросила его о самочувствии. Он каким-то неясным, подсознательным чутьем понял, что вопрос продиктован не добротой душевной, а несчастным недавним событием. А он к этому событию возвращаться не мог и не хотел.

— Все нормально, — вяло ответил Крапивка.

Баранова села рядом, расправила воротничок халата.

— Надо поговорить с вами.

— О чем? — с досадой спросил Крапивка.

— Мы, друзья и коллеги Дмитрия Николаевича, — шепотом заговорила Баранова, — обязаны защитить его от возможной беды. А для этого должны знать правду. Расскажите, как все было?

— Да что рассказывать? Я ведь домой хотел уехать. Не верил, что операция поможет. А профессор уговорил. Теперь вижу... Вот спасибо, значит, Дмитрию Николаевичу.

— Я не об этом спрашиваю.

— О чем же?

— Кого вы узнали в профессоре?

— Я?

— Вы, Федор Назарович Крапивка, — подчеркнуто официально сказала Баранова и тут же улыбнулась, смягчая тон. — Неужели вы не хотите помочь нам?

— Чем помочь?

— Расскажите правду. Вы, кажется, назвали профессора бандитом? В палате была сестра, она слышала это.

— Ну, брякнул... Так мало ли чего не бывает на свете? Вон у меня приятель. Такого наплетет...

— Значит, вы отказываетесь от своих слов? Я вас правильно поняла?

— Нет. Не отказываюсь.

— Странно. Вам все-таки придется объяснить, что произошло.

Крапивка откашлялся, покраснел, отчего скулы его обозначились резче, и твердо сказал:

— В общем, обознался я тем разом, товарищ доктор. И все тут. Точка.

— Может, вас кто запугивает? Вы скажите, мы примем меры.

— Я давно пуганый. Мокрый дождя не боится.

— Зря вы так, Федор Назарович. Мы к вам всей душой, а вы... Мы вам добра хотим. И Ярцева жалко.

— Что же вы прямо с отмычкой в душу лезете? — Крапивка отвернулся. — Устал я, пойду в палату... — Он поднялся и ушел.

И в этот момент Баранову осенило предположение: Ярцев дал взятку Крапивке! Поэтому и молчит, не выдает профессора. Она старательно припоминала настояренные взгляды Крапивки, его растерянность, молчаливость. Теперь все виделось в ином свете. Мысль о взятке многое объяснила. Ну да, Ярцев откупился! Как она раньше не подумала об этом? Так вот, Дмитрий Николаевич, любите вы медок, полюбите и холодок...

На другой день Баранова появилась в больнице к восьми утра, когда приходит главный врач. До начала пятиминутки можно будет спокойно поговорить с Борисом Степановичем.

Она попросила главврача, чтобы доверительный разговор остался пока между ними, хотя все, что она знает, по существу, является ясным и требует лишь частичных уточнений.

Поняв, что Борис Степанович молча согласился, Баранова стала рассказывать историю прозрения Федора Крапивки.

— Как бы нам не опоздать, Борис Степанович! Ведь нас спросят: где же вы были, уважаемые товарищи?

Баранова замолчала и, спрятав руки в карманы халата, с вниманием наблюдала за Борисом Степановичем, который не торопился с ответом. Может, припоминал сейчас то заседание совета врачей, где Ярцев не пощадил его самолюбия, недвусмысленно причислив его к лику середняков?

Наконец Борис Степанович сказал:

— Допустим, ваш рассказ соответствует действительности. Допустим, что все так и было, — подчеркнул он. — Но мы-то с вами здесь с какого боку?

— Надо реагировать!

— Разве это наша компетенция?

— Наша. Вы только представьте, что может произойти.

— Не могу представить. Не имею подобного опыта.

— В руководимой вами больнице произошло...

— Я уже слышал, что произошло, — прервал ее Борис Степанович.

— Вы, пожалуйста, поймите! Больной при свидетеле сказал...

— Хватит! Лучше подумайте, как будете выглядеть, если все окажется вымыслом?

Баранова насторожилась. Борис Степанович, по-видимому, решил отмежеваться.

— Я понимаю ваши опасения. Поэтому хочу добавить очень важное соображение.

— Что же раньше-то не говорили? — хмуро поинтересовался Борис Степанович.

Баранова пожала плечами и тут же, подавшись вперед, сказала:

— Я беседовала с Крапивкой. Наедине. Весьма подробно.

— Подтвердил Крапивка?

— Сначала все подтвердил, затем отказался.

— Не понимаю.

— По-моему, он подкуплен!

— Вот как?!

— Полагаю, что Ярцев откупился взяткой. И в этом вся загадочность. Сперва Крапивка признал, а потом передумал — где логика? Под чьим влиянием передумал? Чего опасается?

Борис Степанович встал из-за стола, прошелся по кабинету.

— Надо подумать, серьезно подумать, — неторопливо произнес он.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Заместитель начальника следственного управления Прокуратуры СССР принял Останина точно в назначенное время.

Входя в кабинет, Останин вспомнил, что фамилия Шагина известна ему много лет. Шагин довольно часто публикует интересные очерки.

— Что привело к нам?

— Неожиданное событие.

— Все, чем занимается прокуратура, неожиданное, — улыбнулся Шагин.

— Здесь особый случай... У меня есть друг. Добрый, старый, верный друг. Я сразу определяю свое отношение к нему, чтобы вы знали мою позицию в этой

истории. — Останин говорил спокойно, он настроился на нелегкий разговор и берег силы. — Возможно, в вашей практике эта история окажется уникальной. Так вот, мой друг — доктор медицинских наук, профессор. Думаю, сейчас нет смысла называть его фамилию?

— Пока не настаиваю, — согласился Шагин.

Выслушав весь рассказ до конца, Шагин прищурился, сцепил пальцы на животе. Был он полноват, румян, улыбчив — этаким тип доброго дядюшки. Но Останин заметил в его взгляде жесткую настороженность и подумал: он не так прост, как могло показаться.

— Что вас интересует, Андрей Васильевич? — спросил Шагин. — Чем могу помочь?

— Ознакомьте меня с законодательством, которое действует в подобных обстоятельствах. Конечно, если это не противоречит вашим служебным нормам.

— Нет, не противоречит, — сказал Шагин. Подошел к массивному книжному шкафу, достал нужный том. — Так вот, существует срок давности, по истечении которого человеку, совершившему преступление, уже не может быть предъявлено обвинение. Но если преступник скрывался, то течение давности приостанавливается и возобновляется в момент, когда он будет задержан или явится с повинной. Ясно?

— Вполне.

— Это не все. Есть важное дополнение, которое вам следует знать. Если со времени преступления прошло более пятнадцати лет, смертная казнь уже исключена. Таковы главные пункты интересующего вас законодательства.

Лицо Останина чуть посветлело.

— Значит, будет судебное разбирательство? — спросил он.

— Для этого должен быть основательный повод. Задержание преступника или явка с повинной.

— Мой друг пишет заявление в прокуратуру. Сообщает обо всем.

— Я понимаю, — сказал Шагин. — И тем не менее определенно ответить на ваш вопрос нельзя. Судебное разбирательство возможно только при наличии объективных доказательств вины того или иного человека. Имеются в виду свидетельские показания, улики, вещественные доказательства, опознания. Но разве легко спустя тридцать пять лет воссоздать истинную картину происшедшего? Иной раз просто невозможно.

— А признание собственной вины разве не дает оснований?

— Нет. Получим мы заявление, примем его. — Он выдержал паузу, развел руками. — А если это самооговор? Ведь и такое бывает... Все равно нужны доказательства. И самое важное. Как вам известно, презумпция невиновности заключается в том, что до вступления в силу обвинительного приговора суда человек считается невиновным. Защищаться против предъявленного обвинения — это право, а не обязанность обвиняемого. Подсудимый может вообще не давать объяснений в свою защиту и даже не приглашать защитника.

— Стало быть, пока ничего определенного?

— Получим заявление вашего друга, начнем разбирать. Вот все, что можно сказать с уверенностью.

На следующее утро Дмитрий Николаевич приехал в Москву.

Он позвонил с вокзала Останину домой и договорился, что сразу приедет к нему.

Они сидели в небольшом кабинете, где книжные полки опоясывали все стены до потолка и комната выглядела как маленькая книжная лавка.

Дмитрий Николаевич прочитал вслух текст газетной заметки, рассказал о встрече с прокурором.

— По-моему, пора решать, — сказал Останин. — Многое прояснилось.

— Что ты советуешь?

— Есть два пути. Первый. Можно поблагодарить наш гуманный закон и продолжать жить, как жил до сих пор Дмитрий Николаевич Ярцев. Естественно, отвергая напрочь фантастические измышления Федора Крапивки.

— Не понимаю...

— Дослушай, — перебил Останин. — Есть второй путь. Предположим, Крапивка возбуждает уголовное дело. Но теперь нам известно, что все судебные материалы сгорели. Двое участников преступления расстреляны. Свидетелей обвинения нет. Точнее, остался один. Сам Крапивка. Но он не сможет доказать, что ты Иван Проклов!

— Кому доказать?

— Всем!

— Всем, кроме меня, — сказал Дмитрий Николаевич.

Письмо, адресованное Генеральному прокурору, — семь страниц, которые перепечатал на машинке Останин, — лежало на столе, и сейчас Дмитрий Николаевич выбирал: отправить его по почте или отнести самому. Он понимал, что сразу рассчитывать на встречу с прокурором трудно, но передать секретарю, видимо, возможно.

Процедура отправки письма заботила его не случайно. Раньше тайна принадлежала только ему. Теперь же его исповедь легла на бумагу, скреплена подписью, дополнена адресом, номером паспорта и местом работы... Совсем не исключено, что письмо, попав в канцелярию, начнет свое движение под всяческие пересуды. Отыщутся доброхоты, которые сообщат в клинику, а может, и в министерство.

От этих мыслей Дмитрию Николаевичу стало мутно. Нет, пусть его дело до поры до времени не выйдет за стены кабинетов тех официальных лиц, которые будут решать его судьбу. Значит, надо попасть на прием к руководящему лицу, вручить письмо лично.

Как ни старался Дмитрий Николаевич уверовать в правильность этих рассуждений, он чувствовал их подоплеку. Трусость. Боязнь огласки. Страх за репутацию. Вот что кроется за этими рассуждениями.

Нет, к черту! Трусом Ярцев не был. Никогда не был!

...Операционную полевого госпиталя устроили на окраине разбитой деревни, в единственной уцелевшей избе. Вместо сорванных дверей вход был завешен плащ-палаткой. А под наспех сколоченным навесом лежали раненые, стонавшие от боли.

Совсем рядом, в пяти километрах, шли упорные бои.

Дмитрий Николаевич двое суток не отходил от операционного стола. Руки становились все более скованными, почти чужими. Но он, оглушенный близкой канонадой, упрямо продолжал работать.

Закончив неведь какую по счету операцию, распрямился, жестом подозвал санитаря. Тот вытащил из пачки папиросу, прикурил и дал хирургу. Дмитрий Николаевич вышел за порог избы, жадно затянулся и через минуту опять был возле операционного стола.

Там уже лежал молоденький солдат, умоляя:

— Спасите руку! Спасите!

Воспаленные глаза его были полны слез.

— Спасите!.. — хрипел солдат.

Дмитрий Николаевич хотел сохранить руку молоденькому солдату, но, перебитая в трех местах, она была ему неподвластна.

В избу вбежала запыхавшаяся медсестра Тося.

— Приказано уходить, — торопливо крикнула она. — Наши отступают!

Дмитрий Николаевич не ответил.

— Уходить надо! — громче закричала Тося. — Там последняя машина... Вы слышите, Дмитрий Николаевич?!

— Молчать! — приказал Ярцев. — Раненый на столе.

Тося застыла, ощутив лихорадочные толчки сердца. Все смешалось разом: горечь отступления и беда, что ждет раненых, лежащих под навесом возле избы.

Дмитрий Николаевич продолжал операцию.

Когда он закончил, наших частей в деревне уже не было.

Проклиная шофера, угнавшего санитарный фургон, Тося отыскивала какую-то брошенную телегу. С трудом подтащила ее к избе.

Они уложили раненых. К оглоблям привязали лямки и потащили телегу по раскисшей грязи. Въедливый скрип несмазанных колес терялся в грохоте близкого боя.

Когда потом вручали награды, командир дивизии, передавая Дмитрию Николаевичу орден Отечественной войны I степени, сказал:

— Поздравляю, доктор Сивка-бурка.

Все засмеялись, понимая, чем вызвана шутка генерала.

Надолго прилепилась к Ярцеву эта кличка. Однополчане вспоминали ее даже в поздравительных открытках и после войны.

Лежат эти открытки теперь в корзине, и горше всего будет Дмитрию Николаевичу, если кто-нибудь из фронтовиков дознается, что у Сивки-бурки была и другая, неизвестная им жизнь.

В приемной прокуратуры было много народа. В основном озабоченные, встревоженные лица.

Дмитрий Николаевич занял очередь и, оглядев инспекторов, принимавших посетителей, решил, что подойдет к молодому инспектору, стриженному под бобрик.

К другим почему-то доверия не возникло. Сейчас он беседовал с фронтовиком, на стареньком пиджаке которого висели вразброс ордена и медали. Ярцев заметил, как инспектор взял заявление фронтовика и, поглядев на листок, сказал:

— Что вы здесь накалякали? Ничего не разобрать.

— Без очков я, — оправдывался фронтовик. — Дужки сломались. Только через неделю будут готовы. Я и так старался, в три руки писал...

— Это же документ! — негодовал инспектор.

— Когда молодой был — все видел. А теперь... Глаза тоже документ, — с пронзительной убежденностью заявил фронтовик.

В это время освободился другой инспектор, сходя женщина, и Ярцев торопливо подошел к ней.

— Старший советник юстиции Рыбакова Евгения Марковна, — представилась она. — Слушаю вас.

Дмитрий Николаевич вынул из папки заявление, протянул Рыбаковой.

— Прочтите, пожалуйста...

Прочитав первую страницу, Рыбакова ошеломленно посмотрела на Дмитрия Николаевича. А он невидящим взглядом уставился на ее худые руки, державшие страницы позднего, горького признания.

Он не запомнил, сколько прошло времени, пока она добралась до конца, но встрепенулся, когда Рыбакова кому-то позвонила и попросила срочно принять ее вместе с профессором Ярцевым.

Он хорошо запомнил: «с профессором Ярцевым».

Вскоре Дмитрий Николаевич получил пропуск, и лифт доставил их на четвертый этаж.

— Зачем вы привели его ко мне? — спросил Рыбакову заместитель генерального прокурора, прочитав заявление Ярцева. — Сейчас трудно о чем-либо говорить.

— Я понимаю. Но я хотела, чтобы вы увидели его.

— Ярцев... Ярцев... Где-то я слышал о нем или читал. Евгения Марковна, я не буду с ним говорить. Просто поздороваться — ни к чему. Дайте ему мой телефон и пусть позвонит через три дня. Да, через три. — Он сделал пометку в календаре и сказал Рыбаковой: — Об этом заявлении никто не должен знать. Зарегистрируйте его под фамилией Проклов. Ясно? Ярцеву скажите, что я занят.

Рыбакова вышла из кабинета. В конце коридора у балконной двери стоял Ярцев и смотрел на улицу.

— Вот по этому телефону вам надлежит позвонить через три дня, — сказала ему Рыбакова.

— Спасибо.

Прощавшись, Дмитрий Николаевич ушел, озадаченный еще больше, чем до прихода в прокуратуру.

Дома он развернул бумажку с номером телефона и обнаружил, что никакой фамилии там не написано. Лишь четко было выведено слово «Прокуратура».

А в это время заместитель генерального прокурора как раз думал о Ярцеве и по другому аппарату, в обиходе называемому «вертушкой», позвонил заместителю министра здравоохранения и попросил рекомендовать какого-нибудь видного офтальмолога в качестве консультанта по важному делу.

— Сейчас, минутку, — раздумывая, ответил заместитель министра. — Поговорите с Коржихиным, Былинским. Запишите еще Лысогора. Если заняты и не смогут, тогда позвоните Ярцеву. Даст согласие — считайте, что повезло.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Эти три дня, оставшиеся до звонка в прокуратуру, Дмитрий Николаевич прожил как-то механически. В его душе все притупилось, окружающее стало безразличным.

День четвертый был понедельником. Тринадцатого июля. Но даже суеверных предчувствий не возникло. Главное сделано: документ в прокуратуре, а сколько потом минует черных пятниц и тяжелых понедельников — незачем предугадывать и считать. И не стоит надеяться на везение. Ивану Проклову давно не повезло — еще в Полесье, в тридцатом году.

Единственное, что позволил себе Дмитрий Николаевич, это отложить звонок до середины дня. Чтоб не создалось впечатления, будто он не спал всю ночь, ожидая окаянного понедельника.

После полудня Ярцев позвонил и узнал, что ему необходимо приехать в прокуратуру к товарищу Ледогорову, который будет вести дело.

Входя в кабинет следователя по особо важным делам Вячеслава Александровича Ледогорова, даже беглым взглядом можно было заметить нечто особое в атмосфере казенной обстановки. Рядом с письменным столом, у кресла, покоились две гири, по пуду каждая, облитые черным лаком. Несколько раз за день Вяче-

слав Александрович делал разминку — энергично выжимал эти гири. Позади селектора телефонной связи на белом подоконнике металась в длинном аквариуме экзотичные рыбки. Одна из них, выплыв из водорослей, уткнулась в подсвеченное стекло, заглядевшись на Дмитрия Николаевича.

В тридцать девять лет Вячеслав Александрович со своим гладким и розовым лицом, глазами цвета крепкой чайной заварки выглядел очень молодо. И своей мальчишеской улыбкой порой озадачивал людей, ибо появлялась эта улыбка в самые неподходящие моменты. Он знал эту свою особенность, но ничего поделать не мог, хотя при встрече с начальством такой диссонанс иногда приводил к нежелательным результатам.

— Садитесь, будем беседовать... — сказал Вячеслав Александрович, подчеркнув слово «беседовать».

В беседе нынешней и тех, что предстоят в дальнейшем, Ледогоров меньше всего касался его работы в клинике. Здесь все было ясно.

— Давайте, — устало ответил Дмитрий Николаевич. — С чего начнем?

— Вы обращались к адвокату? — спросил Ледогоров.

— Нет.

— А мне показалось... Здесь есть информация, связанная с судом в Полесье. Откуда она?

— Я ездил в Полесье. Был у прокурора Жбакова.

— Когда?

— Пятого июля.

— А заявление датировано десятым.

— Правильно.

— Я о другом. В заявлении вы указываете, что судебное дело погибло во время войны. Об этом вам сообщил прокурор. При таких обстоятельствах у вас была возможность принять иное решение.

— Конечно, был и другой путь... Простите, как мне следует к вам обращаться? Гражданин следовательно или...

— Вячеслав Александрович.

— Благодарю. Так вот, Вячеслав Александрович, иначе я поступить не мог. Насчет адвоката — это что, рекомендация или юридическая необходимость? Мне бы не хотелось его иметь. Я сам и обвиняемый и адвокат. Все очевидно, даже не нуждается в расследовании.

— Не спешите с выводами, Дмитрий Николаевич. Коль вы и адвокат, то советую — почаще заглядывайте в процессуальный кодекс. Сказав: «не нуждается», вы проявили, простите, юридическое невежество. Ничего еще не доказано. Поэтому я для вас не гражданин следователь, а Вячеслав Александрович. До той поры, когда смогу доказать, что именно вы — Проклов. Это главный камень преткновения. Здесь меня ожидает больше силяков и шишек, чем пирогов и пышек. Ваше признание в официальном документе может фигурировать только в качестве цитат из вашего заявления. А такие, как известно, берутся в кавычки. Мне кавычки будут очень мешать. Видите: задачка с одним неизвестным, а решать ее надо сложнейшим путем.

— Простите, еще вопрос.

— Пожалуйста.

— Каково мое юридическое положение? Кто я? Подследственный, обвиняемый, подозреваемый, подсудимый... Кто?

— Пока вы — заявитель. Мы с вами еще не устранили ни единой неясности.

— Я-то устранил...

— Дмитрий Николаевич, приход с повинной, несомненно, имеет существенное значение. Но если бы это заявление поступило к нам хотя бы на один день раньше вашей встречи с Крапивкой! Будем все называть своими именами. Тут проглядывается простая схема. Крапивка узнал вас. Вы испугались и... — Вячеслав Александрович смолк, видимо, подбирая слова для оценки случившегося. — Вот мы с вами беседуем. Правда, беседуем в доме с вывеской: «Прокуратура». Так вот, мне в нашей беседе представляется, пожалуй, очень важным вопрос: почему вы, Дмитрий Николаевич, не сделали этого шага раньше? Чуть усложню вопрос. Можно? — И, не дождавшись ответа, добавил: — Без внешнего раздражителя, так сказать, без случайного фактора? Вам не грозит расстрел, но понимаю, что десять, семь или пять лет тюрьмы не могут не нарушить устоявшийся образ вашей жизни. Не только вашей. У вас семья.

Дмитрий Николаевич молчал. Только вспоминались слова, которые говорил своим больным: «Потерпите, будет больно, но потом обязательно станет легче. Потерпите».

— Я никогда ничего не знал о суде и приговоре. О расстреле Бражки и Гнилова я узнал, только прочитав заметку в газете. Почему тогда удрал? Был убит страхом. Бежал от себя, от Проклова. Во все времена это называлось — спасти шкуру. Есть пословица: «Не пойман — не вор». И вот, прикрывшись ею, как шапкой-невидимкой, двинулся уже Ярцевым по жизни. Потом грянула война. Не брала меня смерть. Не брала, окайнная. Иногда задумывался: почему? Никто ведь не молился за меня. Потом нашел для себя ответ. Видно, знает смерть, что я от своих должен рухнуть, не врагам меня казнить. Теперь вам судить, хорошо ли она потрудилась или зря старалась.

Дмитрий Николаевич хотел попросить воды, каких-нибудь капель, но не стал этого делать, чтобы Вячеслав Александрович не расценил просьбу как слабость, рассчитанную на жалость и милосердие, которые вроде были обещаны вначале, а потом неожиданно исключены в ходе беседы.

Дмитрий Николаевич не был уверен в справедливости своих выводов, но восприятие им Ледогорова совершило эволюцию: от открытого доверия до протеста и обиды — что ж, не повезло...

Вячеслав Александрович смотрел спокойно, будто исповедь Дмитрия Николаевича не коснулась ни слуха, ни сердца следователя.

— Не устали?

— Волнуюсь.

— Понимаю.

— Страдания делают нас эгоистами.

— Боль всегда чувство личное. Вам, профессор, это хорошо известно.

— Нет... Это одна из наиболее распространенных ошибок в жизни, — возразил Дмитрий Николаевич. — Природа ее возникновения понятна. Простой пример. Человек вывихнул ногу. Страшная боль. Ну а хирург, вправляющий ногу, он как, по-вашему, только слышит стон и крик больного? И ничто его больше не тревожит, все отключено? Было бы такое — горе бы раскололо земной шарик. Одним больно, а другим — трын-трава? И вы, Вячеслав Александрович, если искренне исповедуете веру, что боль всегда чувство личное, допускаете ошибку. Неужели вы так присмотрелись, приобвыкли к конвейеру боли, который тащит людские судьбы по

всем вашим этажам? Поймите меня правильно, сейчас мы с вами в определенной мере люди одной человеческой профессии — санитары общества. — Он помолчал. — Послушал бы кто мой разговор, вот бы вдоволь подивился. Хорош санитар, петля по нему скучает.

— И я вдруг подумал об этом, — признался Вячеслав Александрович.

— В этом повинен только я. Вы-то лицо служебное.

— Хотите сказать о неотвратимости ответственности, а, мол, мне удалось ее избежать. Об этом речь?

— Да.

— Дойдем до отправной точки и признаем: перво-причина трагедии кроется в самом факте — в совершенном преступлении.

И снова Дмитрий Николаевич почувствовал укор. Он взглянул на хозяина кабинета и, по-своему оценив сказанное, с печалью заметил:

— Вы начали с совести, к ней и пришли. Вернулись на круги своя.

— Куда ж от нее денешься? «Мы родимся с добродетелями, и совесть дана им в охранение...» Это еще Лобачевский сказал. Почти сто пятьдесят лет назад. Дмитрий Николаевич, у меня к вам просьба. У вас в ближайшие дни будут операции?

— Вы обо мне?

— Да.

— Я сейчас не работаю.

— Почему? Кто-то уже распорядился?

— Нет. Я сам. Не могу. Это ведь глаза... Мозоли удалять и то нужно настроение. Почему вы спросили?

— Хотел бы попристутствовать. Посмотреть.

— В больнице операции ежедневно.

— Мне хотелось увидеть именно вас во время операции.

— А здесь... Я другой?

— Мне очень важно все о вас узнать.

— Обо мне — пожалуйста. Только очень прошу — пусть моя семья, если это возможно, пока будет вне случившегося.

— Ясно.

Ярцев подумал, что еще две-три такие встречи, и он не сможет войти в операционную. А это ведь тоже смерть... Только медленная, долгая, очень долгая. Знает, думает ли об этом Вячеслав Александрович?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Три дня подряд, приходя на работу, Вячеслав Александрович вынимал из сейфа дело Ярцева — тощую папку, где было подшито всего лишь семь страниц заявления и несколько листиков с записями беседы с Дмитрием Николаевичем. Он много раз перечитывал материалы, разглядывал карту Полесья, думал, как выстроить схему предстоящего расследования. Работа двигалась медленно. Мешало обидное чувство профессионального бессилия. Такое с ним бывало редко. Но теперь напряжение резко обострилось.

Вячеслав Александрович разложил на столе большой лист бумаги и с усердием рисовал места события — дом Крапивки, дорогу, по которой убегал Проклов, на отлете изобразил товарный состав с платформой, груженной лесом. В правой стороне, ближе к кромке листа, начертил круг, вписал в него: «Челябинск».

Потом в различных точках расположил людей, обозначил их имена и фамилии. Человечки, правда, ему не удались — одни палочки и нолики. Как в детском рисунке.

Вячеслав Александрович озабоченно посматривал на картинку, мысленно восстанавливая события давних лет. Но при всем его незаурядном творческом воображении, он не мог преодолеть барьера, возникшего в ходе размышлений:

«А может, все было иначе... Хотя бы разговор с прокурором Жбаковым. Ведь не исключено, что архив сохранился, а Ярцев утверждает — сгорел. А приговор? Только и есть — заметка в газете. Но могла быть допущена ошибка. Известны и такие случаи. Выходит, ровно так и нарисовал картинку. А вдруг все окажется правдой? Есть свидетель — Крапивка. Вот здесь, — Вячеслав Александрович ткнул карандашом в прямоугольник лаза, — он находился во время разбоя. Так... Буду допрашивать, получу показания... Но где гарантия, что Ярцев не откажется от своего заявления? Да, да — откажется! — Он поставил в центре картинки большой вопрос. — Надо вызывать Ярцева. Придет профессор, подтвердит признание. Что это даст? Неужели ты — следователь Ледогоров, уверуешь, что в твоих руках неоспоримое свидетельство истины? Тогда, брат, собирай манатки, сдавай дела. — Вячеслав Александрович подошел к аквариуму. — А ты что скажешь, золотая

рыбка? Молчишь, рыба душа. Ладно, успокойся! Не станет Ледогоров собирать манатки. Будем соображать, как действовать. Где-то ведь есть выход из лабиринта. Скажу тебе по секрету: направлений поиска в подобном варианте: раз, два и — стоп! Прикинь, может, подскажешь мудрое. Отпущу тебя в сине море!..»

Рыбка, мордочкой уткнувшись в стекло, выслушала Ледогорова и, вильнув хвостиком, уплыла к бледно-розовой ракушке.

Вячеслав Александрович походил по кабинету, затем торопливо подошел к столу и размашисто написал на рисунке два слова: «Жбаков» и «Приговор».

По нахмуренному лицу скользнула ироничная улыбка — признак осуждения прежней версии.

Он вызвал секретаря, продиктовал телеграмму Жбакову — просил разыскать дело Проклова.

На другой день прибыл ответ: архив не сохранился.

Прочитав телеграмму, Вячеслав Александрович огорчился. Как воссоздать модель преступления? Время не оставило зримых следов, совокупность которых могла бы помочь расследованию.

Но сожаление довольно скоро отступило — ничего не поделаешь: война...

И все-таки раздумья привели его к кважному заключению — Ярцев пока единственный человек, знающий всю правду об убийстве родителей Крапивки. Но он не воспользовался гибелью архива в своих целях.

Так появился кирпичик, который Вячеслав Александрович положил в фундамент своей модели. И тут же жирной чертой зачеркнул на картинке: «Жбаков».

Теперь все его внимание привлекло слово: «Приговор». Он понимал, что пожар испепелил и судебный приговор, находившийся в деле. Значит, можно смело исключить и эту надпись. Надежды воскресить важнейший документ у суда нет.

Но что-то внутри упорно сопротивлялось, сдерживало руку. И он резко отбросил карандаш.

В четверг Вячеслав Александрович беседовал с Ярцевым.

— Давайте приступим к работе, — предложил он, — будем устранять неясности. Любое событие преступления к моменту начала расследования всегда находится в прошлом. — Он раскрыл дело Проклова, перелистал

несколько страничек и доверительно, словно разговаривал с другом, произнес: — Здесь лишь предлагаемые условия задачи... Увы, только в школьных учебниках на последних страницах обозначен ответ. У нас этого нет. Путь перехода от вероятного знания в достоверное чертовски сложен. Будь на моем месте сам Шерлок Холмс, он бы так же оценил ситуацию.

— И я не доктор Ватсон, — заметил Дмитрий Николаевич, пытаясь разгадать едва уловимый замысел следователя.

— В моей практике не было случая, чтобы я предложил человеку, чье дело веду, сесть рядом со мной и установить истину... Вам — предлагаю.

— Это знак доверия, — спросил Дмитрий Николаевич, — или...

Вячеслав Александрович мягко перебил:

— Сомневаетесь?

— Как вам сказать... Я понял, что мое заявление вас не устраивает. Вы хотите получить другой документ? Исключено!

— Уточним. Вы, Дмитрий Николаевич, — заявитель. Когда ваше заявление поступило в прокуратуру, оно стало юридическим документом. Сейчас просто поздно рассуждать: устраивает или не устраивает. Теперь — такова моя обязанность расследовать дело — ваше заявление дает повод для многих вопросов. Поэтому прошу вас посмотреть на документ глазами человека, который может подтвердить достоверность изложенного. Но я, следователь Ледогоров, отнюдь не перекладываю на ваши плечи свою обязанность — доказать виновность заявителя или дать иное заключение. Верю или не верю — понятие субъективное. Первооснова соблюдения закона — доказательство. Давайте рассмотрим дело с этих позиций.

— Я готов. Спрашивайте.

Вячеслав Александрович надеялся, что тактический путь установления контакта с Ярцевым — обращаться к добрым началам в душе человека — приведет к выявлению подробностей, которых нет в заявлении. Он снова вспомнил телеграмму Жбакова — свидетельство правдивости Ярцева, и спокойно спросил:

— Вы ничего не хотите добавить к заявлению?

— Нет... Пока нет.

— Ну и ладно. — Вячеслав Александрович не стал уточнять оговорку Ярцева. — Когда вы пошли в дом

Крапивки, у вас не возникло опасения, что хозяева окажут сопротивление? Топор-то у них, во всяком случае, был. На что вы рассчитывали?

Дмитрий Николаевич покраснел. Вопрос адресован Проклову. О чем он тогда думал?

— Не знаю... Помню, кудлатый сказал: «У нас есть документ. Разрешено производить обыск».

— Вы видели документ?

— Нет. Поверил, что есть такая бумажка. Злость во мне кипела. Мать вспоминал.

— Вы знали, что у них есть револьвер?

— Нет. Видел, как кудлатый вынул из кармана пугач. Говорил, что купил мальчонке.

— Когда это было?

— На поминках. Когда водку пили. Взял я пугач, посмотрел. Щелк, шелк... игрушка!

— Почему убили отца Крапивки?

— Не знаю.

— Как это произошло?

— Я долго не мог открыть крышку сундука. Старик бросился на меня. Тогда хромоногий потащил его к печке. Старик вырвался, схватил кочергу, ударил хромого. Кудлатый стоял рядом со мной. Караулил, как бы я кубышку не унес. Хромоногий опять полез в драку. Старик отшвырнул его. Тогда кудлатый вынул из кармана кожанки револьвер и выстрелил. Убил старика. Я все еще возился с сундуком. Наконец отвалил крышку. Кудлатый подскочил, взял кубышку. А я — сапоги. Новые. Хромоногий повалил мать Крапивки. Заметил, у него был нож. Мать билась в истерике. Видно, он ранил ее и отбежал к окну. Кудлатый крикнул: «Ванька, добей ведьму!» Я испугался, бросил сапоги и попятился к двери. В этот момент увидел Федьку. Кудлатый кричал: «Добей!» Но я убежал. Что было дальше — не знаю. Когда добежал до шоссе, услышал второй выстрел. Я не оглядывался — удирал. Вот так это запомнилось.

— Запомнилось или было? — спросил Вячеслав Александрович.

— Было! Поэтому и запомнилось.

Дмитрий Николаевич закурил.

— Теперь мысленно поставьте свой стул рядом с моим, — сказал Вячеслав Александрович. — И порассуждаем по поводу рассказа Ивана Проклова... Будем терпеливы и попытаемся установить адекватность

услышанного с реальной ситуацией, происшедшей в Камышах. Скажите, какой бы вы сделали вывод? Вы, Ярцев!

Дмитрию Николаевичу показалось, что следователь готовит какую-то уловку, но ему чего-то не хватает для неожиданного эксперимента...

— Поняли вопрос?

— Да. Но позвольте заметить, в самом вопросе уже есть ответ...

— Любопытно. Поясните.

— Показания Проклова не подкреплены доказательствами. А вам они нужны.

— Очень, — спокойно подтвердил Вячеслав Александрович.

— Но это уже обвинение в адрес Ярцева. Что делать мне? Где добывать справки, факты, все, что называется вещественными доказательствами? Ваше право верить или не верить...

— Хорошо, что обострили разговор. Полезно! И мне и вам.

— Может, мне как заявителю — да! Но это моя временная визитная карточка. Будет другая... Я — обвиняемый. Какой же вывод я должен сделать?

— Помогите мне.

— Как?

— Об этом и разговор.

— Если вам мешает фамилия Ярцев, называйте меня Прокловым.

— Что изменится?

— Вам решать, Вячеслав Александрович. Только Проклов стал бы говорить то же самое. Он другого не знает. Другого не было. Разница в одном, самом существенном: Ярцев осуждает себя. А вот Проклов, честно говоря... Затрудняюсь ответить.

Вячеслав Александрович внимательно выслушивал возражения Ярцева и сдержанно задавал наводящие вопросы, не вступая с ним в спор. Он запомнил одну подробность, которая возникла внезапно. Ярцев, не отвергая заявления, почему-то хочет приблизить момент вручения ему обвинительного заключения. Почему?

Дмитрий Николаевич уставился на обложку синей папки. Надпись «Проклов» назойливо лезла в глаза. И вдруг, преодолев мучительный рубеж покорности, он категорично произнес:

— Я хочу внести дополнение к своему заявлению.

— Пожалуйста. Вот бумага, пишите.

— Спасибо! Я воспользуюсь вашим предложением. Когда я впервые переступил порог этого кабинета, в тот день для меня уже начался суд. Оставим в стороне эмоции. Суд без доказательств — машина без колес. Сегодня — второй день суда. И я понял страшную нелепость моего положения. Скажу больше. Безвыходность вашего положения. И вы, Вячеслав Александрович, знаете это сами. Потому и поставили мой стул рядом. Но и это не помогло! Думаю, что мое покаянное заявление не вызывает у вас особо сложных вопросов. Точнее, не может вызвать. Но есть один главный. Вопрос вопросов... Сегодня я его услышал. Убивал ли я? Нет, не убивал! — Дмитрий Николаевич стукнул кулаком по столу. — Не убивал! — Глаза его яростно сверкнули, он схватил папку и, помахав над столом, бросил на место.

Вячеслав Александрович сидел не шелохнувшись и слушал Ярцева, слушал и впитывал каждое слово.

Дмитрий Николаевич расстегнул воротник и неожиданно тихо продолжил:

— Пусть в этом деле появится доказательство! И это должны сделать вы, Вячеслав Александрович. Я — бессилен. Поймите, это не защитный маневр. Моя боль! Почему слова Крапивки, почему пятистрочная записка, я сам ее обнаружил в газете, обрели силу приговора? Я не юрист, но понимаю, что в приговоре должно быть ясно сказано, за что приговорили человека к тяжкому наказанию. Ведь закон содержит ряд статей, по которым суд определяет степень наказания. Да, наказания. За содеянное лично мной... В своем заявлении я не изменю ни одной строки. Но я дополню его фразой: «Я не убивал!» И если можно говорить о чести человека, совершившего преступление, то я буду отстаивать только одно: пусть моя честь не будет сопрягаться со словом «убийца».

Слушая Ярцева, Вячеслав Александрович снова ощутил, как сердце захлестнуло странное чувство безвиной вины следователя, который не может произнести свое веское слово.

Он вспомнил свой рисунок, где была надпись: «Приговор». Сейчас у него было одно утешение — он не осмелился тогда зачеркнуть это слово.

Вячеслав Александрович вынул из папки Проклова рисунок и стал вносить поправки, которые возникли после беседы с Ярцевым. Небольшие уточнения мало изменили общую картину. По-прежнему все было статично, фиксировало лишь место действия и его участников.

Почему-то вспомнилось, что журналисты нередко сравнивают суд со спектаклем. Вячеслав Александрович не разделял такого взгляда. Однако сейчас ему показалось, что он нарисовал эскиз главной декорации драмы, не прочитав пьесы. Но как оживить эскиз? Как привести в действие участников драмы? Он знал, что произошло. Знал финал. Ярцев рассказал, как это было. Надо попробовать развести сцену. Так поступают режиссеры на репетиции. Но перед ним были немые и безликие человечки. А если дополнить эскиз схемой движения участников драмы? Ведь она обретет хотя бы подобие жизни, станет мостиком между вероятным и достойным.

Вячеслав Александрович вооружился шестью цветными карандашами, линейкой и начал оживлять эскиз.

Первым участником стал Проклов. Зеленый карандаш заштриховал его лицо. Он находился в «зоне сундука». Линия его движения протянулась от двери к сундуку. Здесь следователь поставил крестик. Затем повел линию поближе к выходу, снова начертил крестик. Отсюда линия взметнулась к лазу — Проклов увидел Федьку. Дальше линия пересекла черту двери и оборвалась за пределами шоссе.

Были еще двое: кудлатый и хромоногий. Проклов не знал их имен и фамилий. Судя по газетной информации — Гнилов и Бражко. Кто же из них — кудлатый? Неизвестно. Тогда Вячеслав Александрович стал обозначать их по кличкам. Черная линия кудлатого подошла к сундуку, завершилась треугольником, затем устремилась в сторону синего квадрата — отца Крапивки. Отсюда кудлатый стрелял в старика. Черная линия снова протянулась к сундуку. Здесь произошла история с кубышкой. Куда ее вести отсюда? Вывел линию в центр. Возможно, отсюда он стрелял в мать Крапивки. Коричневая линия хромоногого пересекала плоскость в разных направлениях — то тянулась к окну, то к печке. И всегда упиралась или в синий квадрат отца, или в красный кружок, обозначавший мать.

Как бы условно ни выглядела схема, она дала возможность наглядно проследить действия преступников.

При этом подвижность черной и коричневой линий, несомненно, отражала наиболее опасные действия кудлатого и хромоногого.

Вячеслав Александрович задумался. Может, в этом повинен Ярцев, невольный ставший суфлером, и по его подсказке эскиз обрел такую схему?

«Пожалуй, эта версия пока не имеет подтверждения, — подумал он. — Вряд ли владелец револьвера отдал бы его Проклову. Тем более когда он стал обладателем кубышки. А второй выстрел? Ведь Проклов уже удрал».

Вячеслав Александрович почувствовал, как в нем зреет сопротивление неодолимому барьеру, за которым была истина. И удручающая безнадежность — ее даже узрел Ярцев — перестала бросать вызов: мол, не поверил Ледогоров, ладно, пусть расшибает лоб.

В противоборстве мыслей, поисков он искал новые ходы исследования события. И совершенно неожиданно, поглядев на черные и коричневые линии, подумал: «Почему я иду по следу Проклова? Почему все версии возникают в связи с ним? Только потому, что он заявитель? А если его отодвинуть на второй план? Забыть! Вывести за скобки. — Он вышел из-за стола, выжал несколько раз гири, будто проверял, хватит ли сил пойти другим путем. — Я двинусь по следу Гнилова и Бражко. Мне нужен приговор. Его нет! Но ведь вполне возможно, что они написали Председателю ЦИК СССР, просили о помиловании. Могло быть такое?! Значит, их документы попали в Москву. Из канцелярии Калинина они поступили в Прокуратуру СССР. А наш архив — рукой подать. Там все на месте... Вот какие пироги-то! — Он бросил взгляд на аквариум. — Что ж ты, рыба душа, раньше не подсказала? Через них я и подступлюсь к Проклову. Одобряешь?»

Версия следователя Ледогорова оказалась правильной. В приподнятом настроении он пришел в кабинет и вынул из портфеля копии документов, полученных в архиве прокуратуры. Тощая папочка пополнилась приговором, заявлениями преступников о помиловании и решением об отказе в их просьбе.

Вячеслав Александрович с удивлением обнаружил, что мотивировки приговора относились в одинаковой мере ко всем обвиняемым.

Но самым важным фактом, который он извлек из приговора, стало указание, что Гнилов и Бражко были ранее судимы за грабеж.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Останин открыл дверь Ярцеву и увидел его потухшие глаза, серое опавшее лицо. Понял: разговор в прокуратуре был тяжким.

— Будем обедать, — сказал Останин.

— Нет, не хочется.

— Жаль. А я ждал.

— Прости.

— Вот этого не будет! — взорвался Останин. — Пожалуйста, запомни — я плохо переношу голодовку. Не приспособлен! Так что будем обедать! Посмотри на себя. Кстати, ты не заметил — в прокуратуре есть зеркала?

Дмитрий Николаевич безучастно молчал.

— Как бы я ни был запальчив, — не остывал Останин, — категоричен в своих суждениях и оценках, ты не сможешь доказать мне, что сегодня тебе стало жить страшнее, чем когда писал заявление в прокуратуру.

Дмитрий Николаевич по-прежнему молчал. Заметно перекатывались на бледных скулах маленькие желваки.

— Я хочу гордиться тобой, твоим мужеством! Я презираю Проклова. И бесконечно уважаю Ярцева. Поэтому требую: неси достойно свою ношу. И пусть не будет у нас жалких слов. Я ведь тоже не из кремня. Я могу скинуть, как все люди... Сейчас один из нас должен быть сильнее. Я попробую им быть. Не мешай мне. Ты слышишь, Митя? Теперь говори, что хочешь, можешь даже ругаться. Итак, завтра утром — в путешествие! К Хромову.

— Завтра? — удивился Дмитрий Николаевич.

— Да, с утра.

— Я никого не предупредил.

— И правильно сделал. Разве у тебя взяли подписку о невыезде?

— Нет.

— Так о чем речь? У тебя отпуск. Ты отдыхаешь.

— Хорошо, — покорно согласился Дмитрий Николаевич.

— Отлично! Только не бери машину.

— Почему?

— Чтобы труднее было сорваться в Москву. На теплоходе поплывем. Путешествие по реке — удовольствию, даже в моей бродячей жизни. Уважь, Митя, а?

— Уговорил.

— А на будущий год махнем на Байкал. Закатимся к Лаврову.

Дмитрий Николаевич попытался представить себе лето будущего года, о котором говорил Останин, но почему-то увидел из оконца барака тайгу, стылое солнце и услышал завывание ветра.

Взглянув на его лицо, Останин сказал:

— Может, Байкал не выйдет, но Сухуми — гарантирую.

Дмитрий Николаевич хмуро усмехнулся.

Внезапный отъезд мог навести Елену на тревожные размышления. А если будет суд? Его-то не скроешь! И скрывать-то теперь бессмысленно. На мгновение подкралось чувство жалости к себе и подсказало неожиданное: если бы он умер до встречи с Крапивкой... Тогда в памяти Елены, Маринки и всех друзей он остался бы тем самым Ярцевым, которого они так любили. И к могильной плите с его именем пришли бы все, кому он успел сделать добро.

«Оказывается, иногда умереть вовремя — счастье», — подумал Дмитрий Николаевич. Но и это не было ему дано.

В Светлое добирались теплоходом до небольшой пристани Лесняки.

Дмитрий Николаевич опять всю ночь провалялся в бессоннице, только под утро задремал, уткнувшись в подушку.

Останин тихо прикрыл дверь каюты, взял фотоаппарат и поднялся на палубу.

Два пассажира сидели в плетеных креслах. Один из них — в широкополой соломенной шляпе — что-то оживленно рассказывал своему спутнику, но вдруг поморщился и громко объявил:

— Я чхаю!

И с удовольствием, вкусно чихнул. Затем разжмурил глаза и сказал:

— Я чхнул.

— Будь здоров, Микола, — пожелал спутник.

— Буду. — И продолжал свой рассказ про чью-то неудачную женитьбу. — Любовь — это же бездна...

Теплоход огибал береговую излучину. На песча-

ных холмах тянулся молодой березняк послевоенной посадки.

Останин засмотрелся и стал фотографировать.

Подошел Микола, спросил:

— Любуетесь?

— Дивные места. Глаз не оторвешь.

— Вы только мать-природу уважаете или, может, моего друга заснимете? Между прочим, герой, — заметил Микола.

— Чего мешаешь человеку? — вмешался спутник.

— Я деликатно, Трофим Никандрович.

— Ладно, Микола, отстань. — Трофим Никандрович смущенно пощипал рыжеватые усы.

Останин подсел к нему, представился:

— Останин, журналист.

— Ну, что я говорил? — воскликнул Микола. — У меня нюх на людей... Заверсту вижу, кто он и что он! Тут такое дело, что тебе добро и людям польза! Да ты не майся, Трофим Никандрович, я все сам доложу. Вы думаете, про героя я из бахвальства брякнул? Нет, уважаемый. Ему вчера третий орден Славы вручили. Так герой он или кто?

— Герой, — охотно согласился Останин.

— Про то и речь! А вот о себе слова не вымолвит. Молчит, как сирота. А, между прочим, орден этот за Берлин. Посчитайте, сколько лет награда хозяина дождалась? Ну-ка? Никак не могли найти. А он, между прочим, человек известный — начальником цеха у нас на судоремонтном.

Трофим Никандрович все порывался уйти, но Микола цепко держал его за руку.

— Далеко плывете? — поинтересовался Микола.

— До пристани Лесняки, — сказал Останин. — Дальше на катере в Светлое. Я не один, товарищ в каюте.

— Так вот, хочу досказать! Есть у него фотография. Ну, живая картинка истории. Стоит Трофим Никандрович среди солдат на ступенях рейхстага. Усов, конечно, нет, но узнать можно. Я как увидел, все подпись его искал на колонне. А он мне говорит: «Когда мы подошли, спереди все было разрисовано. Пришлось с тыла зайти». Понимаете, он расписался, да вот подтверди теперь! Кабы не орден Славы — не поверили бы...

В Лесняках их ждал катер.

Белобрысый — грудь нараспашку — моторист спро-

сил Дмитрия Николаевича, надолго ли он в их края, а потом сказал:

— Видок-то у вас... не первый сорт. Год назад другие были.

— Отосплюсь, позагораю, — неуверенно ответил Дмитрий Николаевич и почему-то вспомнил слова Останина: «Есть ли в прокуратуре зеркала?»

Останин разглядывал окрестные берега, щедрые на лесное добро. А Дмитрий Николаевич смотрел и ничего не видел — какие-то размытые сине-зеленые полосы текли по сторонам.

Катер шел быстро, с терпеливым старанием разрезая гладь реки. Два водяных отвала, вспоротых его белой острой грудью, пенились, оставляя за кормой глянцевую дорожку.

Вскоре показалось Светлое. И тут же длиннорукий моторист звучной сиреной предупредил Хромова. Давно сложился такой обычай приветствовать гостя.

— Славно, что приехали! Вот... — встретил друзей Хромов.

Прибавилось хлопот у Афанасия Мироновича Хромова. Ему и вставать приходилось пораньше, надо было принести к завтраку парное молоко и приготовить обед и ужин. Конечно, особых разносолов взять неоткуда, но Хромов очень старался, чтобы гости остались довольны.

Он переживал, видя, что Дмитрий Николаевич оставляет еду в тарелке, думал, не нравится; ему было невдомек, что тут другая причина. И все допытывался: может, гречишных блинов испечь или уху-семиглазку сварить?

Его успокаивал Останин. Уверял: еда, мол, превосходная, но теперь многие болезни лечат голодом. Вот и Дмитрий Николаевич таким способом сердце укрепляет.

Хромов кивал, но подсознательное беспокойство все же не оставляло его. Он шел в свою комнату с лопающимися синенькими обоями, скрипучей кроватью, стоявшей у окна, и рыжей тумбочкой, покрытой цветной клеенкой. Над ней в самодельной рамке висела фотография покойной жены.

Афанасий Миронович, коренастый, жилистый, был с виду человек мрачный, но глаза, темные, слегка раско-

сые, спрятанные под густыми бровями, смотрели на людей тепло и с озорством, как будто они никогда не пребывали в печали.

Только подушке с поблекшими ситцевыми ромашками на наволочке поверял он свои скорбные думы да вел тихий разговор с портретом покойной Глаши.

И теперь, при бессоннице, журчит голос Хромова, но уже все больше о профессоре Ярцеве и моряке-лейтенанте, что служит на Дальнем Востоке, где будет учительствовать дочь. На другой день Останин с Хромовым отправились в сельмаг, а Дмитрия Николаевича попросили наколоть березовых чурок для летней плиты, выложенной под навесом в дальнем углу двора.

Без охоты выполнив «домашнее задание» — так определял Останин поручения по хозяйству, — Дмитрий Николаевич вернулся в комнату. На кровати Останина лежала книга известного психолога Ганнушкина. Больше всего Дмитрия Николаевича удивило, что из нее торчали бумажные закладки. Полистав томик, он увидел подчеркнутые красным фломастером строчки. Значит, Останин не просто читает, а штудировать книгу.

«Что ему тут изучать?» — подумал Дмитрий Николаевич. Он полистал страницы, наткнулся на отмеченную фразу: «Человеческая личность даже на пути своего нормального развития обыкновенно претерпевает коренные изменения...» Еще одна страница с подчеркнутыми строчками: «В течение долгой жизни человек может явиться перед нами последовательно в виде нескольких личностей, до такой степени различных, что если бы каждая из фаз его жизни могла воплотиться в различных индивидуумах, которые можно было бы собрать вместе, они составили бы крайне пеструю группу, держались бы противоположных взглядов или питали бы даже презрение друг к другу».

Дмитрий Николаевич задумался.

Ему теперь часто слышался настойчивый вкрадчивый голос: чего ты ждешь? Зачем бессмысленно терзаешь себя? Уйди, уйди сам...

Дмитрий Николаевич не знал, хватит ли у него на это сил. Поймут ли его Елена и Марина? Простят ли?

Ближе к ночи, когда взошла луна, Дмитрий Николаевич и Останин сидели на берегу. Неярко горел костер, еле-еле освещая их лица.

Огонь отражался в темной воде: цепочка бликов уплывала по течению и все не могла уплыть.

Дмитрий Николаевич спросил:

— Андрей, ты от меня ничего не скрываешь?

— Скрываю, — с готовностью подтвердил Останин.

— Что?

— Небольшое открытие. Ты псих, Митя.

— Это еще надо доказать.

— Ты все равно не поверишь, — усмехнулся Останин.

— А все-таки? — прищурился Дмитрий Николаевич. — Человек, тайком изучающий труды Ганнушкина, мог бы найти аргументацию.

— Увидел-таки! Дознался! — воскликнул Останин. — Жалею, что не довелось раньше прочесть эту книгу. Честное слово, было бы полезно. Я ведь тоже теперь живу надеждой... Вот и удобряю ее научной мыслью. Митенька, ничего мы про самих себя не знаем. Ничего!

Вокруг было тихо, только вода поплескивала, качая отражение огня.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

У Федора Крапивки появился долгожданный билет домой. Поезд уйдет только в седьмом часу вечера, а Федор проснулся ни свет ни заря и маялся в беспокойных думах о завтрашнем дне.

Все так складывалось, что придется начинать с нуля и снова искать свое место в жизни.

Федор смутно представлял, по каким дорогам поведет его судьба. Устоявшаяся жизнь в доме инвалидов исподволь подтачивала, расслабляла волю, делала его пассивным. Он привык к поводам.

Теперь, расставаясь с двадцатилетним слепым укладом бытия, Федор чувствовал, что не сможет сделать первые самостоятельные шаги. Он пугался зрячего одиночества.

Обретя опять бесценный для каждого человека дар, он не чувствовал в себе жажды выиграть поединок с будущим. Была тому веская причина. Федор знал ее, но не мог с ней свыкнуться и пребывал в подавленном состоянии: окажись избавителем другой врач, не Ярцев — радость прозрения не омрачилась бы такой безнадежной тоской.

Федор метался в раздумьях, не находя сил и понимания, как жить дальше.

С той поры, как прошла операция и он ненасытно смотрел на окружающий мир, Федор ни разу не подхо-

дил к зеркалу. Его не интересовало свое обличье. Горькая память хранила лицо фронтовика, увиденное в разбитом зеркальце за два дня до рокового ранения.

Вчера, после того как ему принесли железнодорожный билет, Федор зашел подстричься. Усевшись в кресло, он застыл, увидя чужое, вытянутое, худое лицо. На морщинистом горле резко проступал кадык.

«Поутюжила жизнь... — подумал Крапивка. — Себя самого узнать не можешь. А в нем через тридцать пять лет с ходу узнал Ваньку Проклова... Почему так случилось? И главное-то — не поймешь, к добру или худу случилось. Тут со своей жизнью не знаешь, как совладать, дак еще ярцевская поперек дороги легла. Спуталось все. Не к добру, не к добру... И зачем он мне признался?»

В последние дни Федор страдал от щемящей боли в затылке, но терпеливо переносил ее, боясь пожаловаться врачу. Он сторонился людей, часами просиживал в дальних пустых коридорах, чтобы не встретиться ни с Ярцевым, ни с тетей Дуней, ни с Лидией Петровной.

После обеда он спустился в канцелярию и получил документы. В палату не стал подниматься на лифте — там всегда было многолюдно, а пошел по дальней лестнице.

Собрав в чемоданчик пожитки, облегченно вздохнул.
— Поеду...

В коридоре было пусто. Он заспешил к лестнице, и, надо ж случиться, навстречу ему попала тетя Дуня.

Он робко остановился, сказал:

— Уезжаю. Спасибо...

Тетя Дуня хотела пройти мимо, но все-таки задержалась.

— Желаю тебе хорошей жизни. Авось научишься ценить добро. — Она помолчала и добавила: — Только Ярцева я тебе не прошу... Слышишь?

— Ни в чем я не виноват, — отозвался Федор. — В милицию не бегал.

— Без нее шуму хватало.

— Вот уеду — и смолкнет.

— Легко беду забываешь.

— Зря вы... Оттого и страдаю, что память цепкая. Мне от нее покою нет. Изнутри жжет.

— Шагай, шагай! К чему все заново перемалывать...

Лицо Федора вспыхнуло багровыми пятнами. Он растерянно потоптался и побрел к лестнице.

Уже в поезде, когда мимо окон поплыли дачные поселки, Федор порадовался, что вырвался наконец из больницы. И какая-то разом возникшая сила не дала ему лечь и забыться в долгом сне, а приковала к окну, за которым была жизнь. Он не видел ее двадцать один год.

Молва о возвращении Крапивки тотчас облетела весь дом. В комнату, где он жил, набилось много народу.

Всех поразило исцеление Федора. Поэтому больше всего расспрашивали о профессоре Ярцеве. Но о нем Крапивка говорил скупой, не вдаваясь в подробности. А обитатели дома без усталости задавали вопросы про операцию, про то, велика ли очередь в больницу. Интересовались, сколько надо платить профессору.

И тут Федор не сдержался:

— Это вы чего удумали? Зря! Никаких денег!

Многие тоже почувствовали надежду, просили Крапивку написать профессору письмо, надеясь, что рекомендация Федора поможет.

Только к полуночи комната опустела. Крапивка стоял в коридоре и наблюдал, как расходились люди: кто-то шел, прижимаясь к стенке, многие тащились, постукивая палкой впереди себя, другие плелись, держась за руки.

Он плотно зажмурил глаза и с ужасом увидел себя среди этих людей, бредущих по коридору, и впервые после операции всем существом своим почувствовал, каким счастьем одарил его Ярцев.

С этой внезапной радостью он вернулся в свою комнату. Все здесь выглядело тускло: бледные желтоватые обои, подсвеченные маленькой лампочкой, стол с двумя чашками и неуклюжей пепельницей, которой пользовался сосед Кузьмич, куривший дешевые сигареты «Дымок».

По сторонам от окна стояли две кровати. Сколько раз за минувшие годы он подходил к окну, пытаясь представить, как выглядит улица, где он живет. Но сюда долетал только шум машин и ребячьи голоса.

Неделю Федор занимался оформлением пенсионных дел и прикидывал варианты новой работы. Первый день войны застал его в цеху — он был дежурным электриком. Может, и теперь возьмут по специальности? Люди помогут, поучат. Главное решить: здесь оставаться или ехать в другое место.

...Крапивка вспомнил, как его, тринадцатилетнего мальчишку, привели в суд в качестве свидетеля.

За оградой сидели бандиты. Судья, пожилой, с короткой бородкой, задавал вопросы, а Федя, сжимаясь от горя и страха, путано рассказывал про то, что случилось, и про третьего бандита, что убежал. Он знал его. То был Ванька Проклов из деревни Михайловки. Потом кудлатый бандит доказывал, что стрелял Ванька, а не он. Судья подозвал Федю к столу и, показав несколько фотокарточек, спросил: «Кто из них Проклов?» Федя ткнул пальцем в ненавистное лицо Ваньки...

Крапивка замотал головой, желая избавиться от тяжелых воспоминаний, но лицо Ваньки снова возникло перед ним. Тогда Федор вскочил с кровати и подошел к распахнутому окну, за которым начинала таять ночь.

— Нет, надо уезжать... — сказал он себе и вышел в коридор.

На столе дежурной по этажу лежала стопка писем. Крапивка глянул на них и вдруг увидел свою фамилию. «Кто же это?» — подумал он. Обратный адрес не был указан.

Вскрыв конверт, Крапивка вынул письмо. Покачнулись, запрыгали строчки. Смазались. Неужели опять слепота?

Он испугался, даже тронул пальцами глаза. Ему было невдомек, что все от волнения. И читать он начал с трудом, постепенно смыкая слова в строчки и не сразу улавливая смысл.

Все было впервые.

Он глянул на подпись. В конце письма стояло: «Твой фронтовой друг комбат Серафим Лучко».

Крапивка ухмыльнулся: он до сих пор таил обиду на комбата.

«Здравствуй, Федор Назарович! Попроси человека, который будет читать тебе это письмо, пусть не торопится, здесь каждое слово важно. Иначе боюсь, ты не поймешь, и останусь я перед тобой свинья свиньей, а то и хуже».

Крапивка, укорив себя за ухмылку, порадовался, что не надо никого просить читать.

«Долгое время я ждал ответа на мое письмо, но не дождался, — читал Крапивка. — Очевидно, ты обиделся за свою неудачную поездку в Москву. Конечно, ты вправе обижаться. А было так. За два дня до твоего приезда умерла моя мать, и я улетел в Красноярск, на похороны.

Ключи от квартиры оставил племяннику и строго наказал, чтобы он тебя встретил и повез ко мне. Но восьмого мая он набрался с друзьями и весь день девятого дрых, забыв все на свете. Досталось ему, подлецу, от меня. Так что, Федор Назарович, извини, если можешь. Пишу второй раз, может, первое письмо не попало к тебе. Сейчас я приболел. После смерти матери худо мне, худо. Может, надумаешь, приезжай. Пока живы — надо встречаться».

Крапивка вновь прочитал письмо. И к грусти, навеянной бедой комбата, прибавилась тихая благодарность другу, который не забыл его. Теперь Федору не грозит расставание с Серафимом Лучко.

Обида, боль и сомнения уходили.

Он вдруг ощутил прикосновение чего-то живого, чего не знал уже давным-давно.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Горько! Горько! — настойчиво зывал Анатолий, белобрысый моторист катера «Быстрый», и, скользнув взглядом по лицам гостей, взмахнул руками — мол, поддержите, братцы!

За столом оживились. Особенно старались подружки невесты, кричавшие налаженным хором: «Го-о-орько-о!»

Жених и невеста степенно поднялись — опять доказывать, что им вовсе не горько.

Свадебное веселье нарастало.

Звучали привычные тосты за любовь и счастье Аленки и Евгения, пожелания долгой жизни их родителям, которым теперь внуков нянчить придется. Но все говорилось от души, с шуткой и озорным присловьем, вспомнили даже старую песню «Чтобы жить-то нам не маяться, а прожившись — не спокаяться».

Дмитрий Николаевич сидел рядом с Хромовым.

Афанасий Миронович пил мало, понимая, что на свадьбе хозяйский глаз должен быть трезвым. А еще он дал зарок не осрамиться перед Дмитрием Николаевичем и напоминал о нем много раз. Постукивая вилкой по граненому стакану, просил всех утихнуть, ибо не речь он скажет, а отцовское спасибо от чистого сердца...

Аленка и Евгений сидели в красном углу, где Хромов повесил портрет Глаши.

Снежно-белое платье невесты и парадный мундир же-

ниха — морского лейтенанта — придавали молодым особую прелесть.

Настал момент, когда Мария Игнатьевна, старая учительница из местной школы, подвела к молодоженам конопатого мальчика в матросском костюмчике, посадила на колени своей бывшей ученице.

Тотчас жениху и невесте поднесли деревянную солонку, те по очереди лизнули соль и не успели еще опомниться, как их со смехом обсыпали пшеном.

— Это значит, чтобы первенец был сыном. Вот... — со счастливой улыбкой пояснил Хромов.

Он встал и попросил тишины.

— Это хорошо, Мария Игнатьевна, что вы мальчонку нам пожелали. В точку сказано. Потому что есть у нас такой загад — назвать внука Митей. Дмитрием... Может, это и не самое лучшее имя, но мне, будущему деду, дорого. И еще хочу сказать, что память о добре никогда не исчезает без следа. Все, что добром посеяно, счастьем всходит.

Дмитрий Николаевич все время чувствовал гнетущую неловкость от того, что столь часто упоминалось его имя. Порой хотелось подняться и уйти, но Останин, сидевший рядом, решительно удерживал его.

— Я не могу больше, — шептал Дмитрий Николаевич. — Или хочешь, чтобы я напился и объяснил, почему я здесь, а не в другом месте?

— Неразумно, — сказал Останин. — Будь, пожалуйста, человеком.

— Я не могу, — повысив голос, сказал Дмитрий Николаевич.

— Ты не свадебный генерал. Они тебя не за чин и звание чтут.

Дмитрий Николаевич хотел возразить Останину, но в это время подошел отец жениха, высокий и худой, в старомодном пенсне. Он улыбнулся, прищулив глаза, и почему-то сразу стал похож на бухгалтера. Трудно было поверить, что он моряк, штурман дальнего плавания.

— Можно причалить к вам? — спросил он. — Очень рад познакомиться. Много хорошего про вас слышал. — Капитан присмотрел непочатую бутылку вина и откупорил ее, лихо ударив ладонью по донышку. — Поскольку водку не употребляете — уважьте вино. А вы? — спросил он Андрея Васильевича.

— Могу, — согласился Останин.

— Важно не превысить ватерлинию. Тогда у человека остойчивость надежная. — Он поднял стаканчик: — Слышал я такую притчу. «Если хочешь быть счастливым день — выпей, если неделю — влюбись, если месяц — женись, если хочешь быть счастливым всю жизнь — будь здоров...» — Он чокнулся, блеснув стекляшками пенсне. — Сибирского вам здоровья, Дмитрий Николаевич!

Свадебный праздник постепенно дробился на маленькие островки веселья. Одни продолжали застолье — вина хватало, и закуски подносили, другие лихо отплясывали, третьи — пели.

Скуластая девушка с сережками, баянистка из районного Дома культуры, без усталости выдавала свой репертуар — от «Свадебного марша» Мендельсона, прозвучавшего в начале празднества, до модных джазовых песенок и частушек.

Все шло пристойно, Хромов был доволен. Но на всякий случай спросил Останина:

— Может, что не так? Вы скажите, Андрей Васильевич. Мы отладим!

Хромов, конечно, схитрил. Его волновали скованность и замкнутость Дмитрия Николаевича.

— Все путем, все отлажено. Я уже говорил Марии Игнатьевне.

— Правильно, — подтвердила учительница. — Все удалось на славу.

— Широкие нынче свадьбы. Затрат не жалеем, — усмехнулся Останин.

— Здесь особый случай, — желая поддержать Хромова, сказала Мария Игнатьевна.

Останин догадался, о чем речь, и сказал:

— Вот бы побывать у них на серебряной свадьбе. Только вряд ли... Мне тогда семьдесят шесть стукнет. Не дожить...

— Зря вы эту задачку тронули — никому не дано решить ее, — сказала Мария Игнатьевна и стала рассказывать, как в прошлом году ездила с учениками в Эстонию. У эстонцев есть обычай: когда жених и невеста входят в дом, где будут жить, им под ноги бросают полушубок. И жених вносит невесту на руках.

Жених должен постоять на полушубке и только после этого переступить порог. В этом, знаете, житейская мудрость и своя мораль. Муж обязан помнить, что он сильнее жены и ему легко ее обидеть...

— Прекрасный обычай, — оценил Останин.

Алена танцевала с мужем. Она слегка откинула русую головку. Длинные волосы мерно колыхались под фатой.

Давно, в свои трудные слепые годы, она была на свадьбе двоюродной сестры, сидела, забившись в угол, цепenea от мысли, что жизнь обрекла ее на одиночество. «Почему? За что? Чем провинилась перед богом, чертом, дьяволом?..»

Однажды Алена спросила об этом мать.

— Нету, Аленушка, твоего греха, нету, — сказала она. — А разве мне есть в чем виниться? Или отцу?

— За что же тогда?

— Чья-то злая воля колдует.

— Чья?

— Не знаю, доченька...

Устав от духоты и шума, Дмитрий Николаевич вышел из чайной.

Он завернул за угол дома, в тень от вечернего солнца, присел на пень со свежим срезом. И почему-то подумал о судьбе этого дерева: сгнило ли оно, разбила ли молния или люди повалили?

Сидел долго. И совсем неожиданно вспомнил, как впервые увидел свою Елену.

Был теплый стеклянный вечер бабьего лета... Дмитрий Николаевич пришел в почтовое отделение, чтобы купить талон на телефонный разговор.

В просторном светлом помещении, кроме него, было несколько мужчин, отправлявших телеграммы, и девушка. Она сидела за овальным столом, закапанным чернилами, и что-то записывала в общую тетрадь. Перед ней лежала раскрытая книга.

Дмитрий Николаевич купил талон, но уйти не торопился. Торчал у окошка, где мужчины сдавали телеграммы, и оттуда поглядывал на девушку.

Расположившись, словно у себя дома, она спокойно и независимо занималась своим делом. Все писала, писала...

Вряд ли она сочиняла письмо. Зачем тогда раскрытая книга?

Настенные часы показывали четверть десятого.

В одиннадцать почта закрывалась — об этом напоминала табличка, висевшая у входа.

Уже последний посетитель покинул почту, и Дмитрий Николаевич понял, что пора уходить. Но уйти не мог. Тогда он взял телеграфный бланк, сел за стол и сделал вид, что мучается над текстом.

Девушка никак не отреагировала на его соседство. А он беспокойно озирался на нее — ведь оставалось уже несколько минут до закрытия. И вдруг она спросила:

— Простите, вы случайно не знаете, что такое эманация памяти?

— Случайно знаю... Это когда долго помнится запах, возрождающий картину, эпизод прошлого.

— Спасибо... — И тут же спохватилась: — А это точно?

— Вполне. Почему вы здесь изучаете эти вопросы?

— Просто негде. В общежитии шумно. А тут вечером почти никого. Уютно. Настольная лампа. У меня сессия на носу.

Он смотрел, как ярко синели ее глаза, когда она поворачивалась к свету.

Через год играли свадьбу...

— Вот вы где прохладжаетесь, — сказал Хромов, найдя Дмитрия Николаевича. — А мы всполошились. Нет вас и нет. Останин даже к реке побежал.

— Это он выпил больше положенного.

— Устали? — спросил Хромов, чувствуя что-то неладное. — Может, чайку с медом попьем?

— Я посижу еще, — ответил Дмитрий Николаевич.

«Я не имел права жениться. Мне нельзя было иметь семью».

Категоричность суждения можно было смягчить и перевести в вопрос. Но Дмитрий Николаевич сознательно твердил себе это — он слишком любил жену, чтобы сейчас щадить себя и оправдывать. Осенью сорок седьмого года Ярцевых стало двое: он и Елена.

Любовь завязывалась осторожно, медленно. Порой от встречи до встречи проходили недели.

Внезапное и все крепнувшее чувство, охватившее Дмитрия Николаевича, проверялось долго.

Никто из них не торопил события, понимая, что время — их союзник.

Однажды они решили кутнуть — пообедать в «Арагви».

Им повезло, был свободен маленький столик в углу. Здесь было уютно. Подошел молоденький официант. Подавая карточку-меню, доверительно пообещал:

— Для вас — все, что пожелаете. Даже «Хванчкара» есть...

Елена тогда спросила:

— Митя, если не секрет, отчего вы не женаты? Или в паспорте — штампик о разводе?

Он знал, что рано или поздно возникнет такой вопрос.

— Посудите сами, — сказал он. — Работа на стройке. Койка в общежитии. Потом учеба. Рабфак. Институт. Районная больница. Через два года новая больница. И снова учеба. Курсы. А там четыре года войны. И вот мне уже скоро тридцать пять...

— Зато кое-что сделано для бессмертия, — подхватила Елена.

— Время бежит быстро. Не успел ни жениться, ни развестись.

— Вы так рассказали, будто заполнили анкету в отделе кадров. Все дотошно правильно. Но, кроме работы, учебы, была и другая жизнь. Неужели никто из женщин не нравился? Я, например, на втором курсе умирала от любви к одному студенту. Была готова тащить его в загс. Но он утонул...

— Нет, Леночка... — Ему надо было погасить овладевшее им волнение. — У меня было по-другому. Поздно, в восемнадцать лет, пришлось родиться как бы второй раз. Надо было наверстывать упущенное. Вот и зажал себя, оставив все на потом. А когда пришел живым с войны, опять все начинал заново. И жизнь, и работу...

Елена не обратила внимания на точно обозначенный срок второго рождения. У каждого по-своему складывается жизнь.

Но он заметил свою оплошность и упрекнул себя за неосторожность. Хотя тут же подумал в оправдание, что многие люди говорят так же, есть даже поговорка про то, что человек рождается дважды.

Когда знакомство перешло в близость, Дмитрий Николаевич напрочь откинул от себя все прокловское. Он сказал себе, что получил это право — и на войне, где не щадил своей жизни, и потом, на своей работе.

И все-таки страх не отпускал Дмитрия Николаевича. Ему казалось, что, расскажи он Елене обо всем случившемся, она не станет разбираться в психологических тонкостях и, не раздумывая, отвернется от него.

Боясь потерять Елену, он и сказал себе — Проклова не было.

Столкнулись страх и совесть. Страх оказался сильнее, рождая отговорку: «К чему терзаться? Нельзя жить только горем».

А совесть прикрывалась и тем еще, что все прокловские следы давно затерялись в болотах Полесья... Он — Ярцев.

Все было решено, взвешено. Только одного не взял в расчет Дмитрий Николаевич — что был тогда в избе паренек и они запомнили друг друга.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда Федор зашел в комнату заведующего домом инвалидов, то увидел незнакомого человека. Настороженно сказал:

— Просили прийти... Крапивка Федор Назарович.

— Здравствуйте, — приподнялся незнакомец и, протянув руку с сильными, просто-таки железными пальцами, представился: — Следователь по особо важным делам Вячеслав Александрович Ледогоров, из Москвы. — И показал красную книжечку с надписью: «Прокуратура СССР». — Как себя чувствуете после операции?

— Нормально. Хожу без поводыря... — И торопливо, грубо спросил: — По какому делу я понадобился?

— Поговорим... Садитесь. — Вячеслав Александрович вынул из портфеля папку и, раскладывая бумаги, предупредил: — Разговор должен остаться между нами. Очень прошу это запомнить.

— Я, товарищ следователь, заявлений не писал, — буркнул Крапивка.

— И об этом поговорим. Вы не торопитесь. Запомнили, что я вам сказал?

— Запомнил.

— Я знаю, что вы ничего не писали.

— Кто ж донес?

— Почему донес?

— Ну, сболтнул я, было такое... Чего же вы дело заводите?

— В данном случае, Федор Назарович, вы нам нужны как свидетель.

— А обвинитель кто?

— Пока никто. Если будут установлены факты, появится и обвинитель.

— Значит, я просто свидетель? — настойчиво уточнил Крапивка.

— Да. Я должен познакомить вас со статьей Уголовного кодекса. Ваш гражданский долг и обязанность — правдиво рассказать все, что вам известно по разбираемому делу. Предупреждаю, за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний вы несете ответственность по статьям Уголовного кодекса. Поняли?

— Понял. — Крапивка несколько секунд размышлял: — Небось сам Ярцев сообщил?

— Он говорил вам что-нибудь?

— Приходил в палату. Говорил — сообщу в прокуратуру. Там, мол, разберутся.

— О чем он хотел сообщить в прокуратуру?

— Как о чем? Дескать, он Проклов, а не Ярцев.

— Может, он хотел сообщить о чем-либо другом?

— Не знаю...

— В разговоре с вами он признавал себя виновным?

— Нет!

— А какие у вас основания считать, что Иван Проклов — это не кто иной, как профессор Ярцев?

— Я узнал его...

— Это еще не доказательство. Так ведь и я могу заявить, что вы Иван Проклов.

— Дак я увидел его и сразу узнал! Понимаете, узнал! Этого мало?

— Для обвинения нужны факты.

— Да, попал я в переплет...

— Когда вы потеряли зрение? Сколько лет прошло с тех пор?

— Двадцать один год и шестьдесят семь дней.

— Всегда так точно запоминаете?

— На шестьдесят седьмой день после операции я узнал его... Проклова...

— После того как сняли повязку, вы видели в больнице других людей? Или первым увидели его?

— Да какая разница? Ежели я не ошибаюсь? А я не ошибаюсь!

Ледогоров приподнял голову и уловил недоброе выражение в глазах Крапивки.

— Как вы можете доказать, что Ярцев и Проклов — одно лицо? Кроме следов памяти, у вас есть конкретные убедительные факты?

Крапивка напряженно думал. У виска на бледной коже вздрагивала пульсирующая синяя жилка.

Ледогоров что-то записывал, затем, отложив ручку, спросил:

— Припомнили?

— Я могу рассказать, как все случилось. Ну, убийство это... И тогда, может, вы поверите...

— Слушаю.

Ледогоров уловил, что рассказ Крапивки лишен подробностей. Он охватывал событие в целом. Восприятие зафиксировало скорее итог происшедшего. Возможно, в ранние годы его память удерживала мелкие детали, но время выветрило их. Или сработала психологическая защита, своеобразный охранительный барьер.

Будучи опытным следователем, Ледогоров не упускал из виду эту особенность в показаниях Крапивки.

— Вы не помните, кто хоронил ваших родителей?

Вопрос озадачил Федора. В памяти остались только звуки чьих-то рыданий и негромкая молитва священника. Да еще два гроба.

Он сказал об этом.

— Как вы жили после гибели родителей? Кто вас приютил?

— Дядя. Захар Крапивка. Он с отцом не ладил. Жил отдельно, в деревне Черенки. Туда меня и отправили. — Федор провел ладонью по столу. — Вспомнил. Захар Артемыч был на похоронах. Он и увез меня к себе. А мельницу вскоре забрали. Отца посчитали кулаком.

— Дядя жив?

— Нет. Их деревню немец сжег.

— Никого из односельчан вы не встречали?

— Не довелось. Жил в детском доме. Потом поступил в ФЗУ. А оттуда попал на спичечную фабрику, дежурным электриком. Там и призвали на фронт. Когда ослеп — не до розысков было.

— Вы встречались с Иваном Прокловым? До дня убийства?

— На пароме.

— Как это произошло?

— У нас Метелица занедужила.

— Кто?

— Лошадь. Метелицей звали. Отец за ветеринаром меня послал. А тот в Михайловке жил. Если в обход идти — далече, километров девять с гаком, а напрямки — на пароме, через речку, и трех не насчитаешь. Пошел на паром. Вот там и встретил его... На причале это было. Паром еще с того берега не отчалил. Стали ждать. Какой-то парень сидел на бревне. Чуть поодаль бабы с кошелками и мешками стояли. На базар собрались. Потом слышу: «А ты, хлопчик, куда топаешь? Садись, вдвоем веселей...» Я подошел, ну, рассказал про Метелицу. Так, мол, случилось. А он мне: «Счастливый ты, хлопчик. Коня имеешь!.. Вот бы и мне стригунка заиметь. Страсть как хочется... Только думка не сбывается. Знать, не судьба». Гляжу на него, глаза в тоске, вот-вот слезой зальются. Даже жаль его стало. Он помолчал, а после вдруг сказал: «Был у меня пес. Кормить нечем, стал дичать. Сами голодуем. В лес ушел, не вернулся. Видать, волки задрали...» Долго тогда ждали парома. Все говорили. О разном... Потом паромщик, старенький, рука у него слабая, попросил парня колесо повертеть, ну, которое на тросе. Вода большая, течение шибкое. Парень помог, старался. А когда сходили, паромщик говорит: «Спасибо, Ванька. Не объявился отец-то, Проклов непутевый?»

— Фамилию паромщика не припомните?

— Нет. Федором его звали, как меня. А фамилии не помню. Да он помер небось.

— А еще Проклова встречали?

Крапивка рассказал историю с воздушным змеем, застрявшим на сосне.

Ледогоров вынул из портфеля карту, разложил аккуратно и разгладил.

— Это карта района, где вы жили. Вот Михайловка.

— Мы на отшибе... Десять верст в сторону. Хутор Камыши.

Вячеслав Александрович склонился над картой.

— Зря ищите, — заметил Крапивка. — Это ж не военная карта. Там другое дело.

— Не военная, но здесь все помечено.

— Как же вы догадались именно эту карту захватить? Ведь разговор про Михайловку только сейчас пошел.

— Здесь нет чудес, Федор Назарович. В больнице

есть история вашей болезни. Там и ваше место рождения указано. Район мне неизвестный, решил познакомиться... — И, ткнув пальцем в карту, сказал: — Хутор Камыши. Вот он! Обозначен.

— Надо же... — скупно улыбнулся Крапивка, словно Вячеслав Александрович был иллюзионистом и показывал фокусы.

— В родных местах давно были?

— Как уехал к дяде — больше не бывал. А что, хотите наведаться? — сообразил Федор.

— Может случиться.

Крапивка подумал, что следователь предложит поехать вместе с ним, но сразу насторожился, решил: откажусь, своих забот по горло.

Ледогоров сложил карту, сунул в портфель. Тихо щелкнул замочек, блеснувший хромированной гладью. По всему было видно — разговор окончен.

Уходя, Ледогоров сказал:

— Завтра продолжим. Отдыхайте.

Крапивка молчаливо кивнул.

Когда исчез звук шагов следователя, он откинулся на спинку стула и, жестко сомкнув губы, остался наедине со своими думами. Теперь он был свободен от гнетущего потока вопросов. Они вызывали тупую долгую боль. Каждый новый вопрос мешал ей утихнуть.

Может, потому и не удалось рассказать следователю про очень странный сон, который приснился ему дважды и врезался в память. Неожидавшее видение околдовало его робкой надеждой на удачу — он поймает Ваньку Проклова.

Ему снилось, что в дождливый осенний день он плутал по улицам города и никак не мог найти дорогу к дому. Забрел на глухую окраину. Рядом лес — густой, мокрый. Вокруг пусто. И вдруг из леса появилась машина. Никуда не сворачивая, подъехала к Крапивке. Шофер опустил стекло и, не высовывая головы, спросил: «Далеко ехать?» Лицо шофера перевязано, кепка нависает на лоб. «Знаю этот дом, у меня там приятель живет, — сообщил шофер. — Трешку дашь — поеду».

Крапивка согласился, сел на заднее сиденье.

Машина шла быстро, Крапивка оглядывался по сторонам и, наконец успокоившись, поинтересовался фамилией приятеля. «Зовут Федором, а фамилию не знаю...» — «Кто ж такой? — сказал Крапивка. — И я

Федор». Шофер не обернулся, пробурчал: «Федот, да не тот».

Машина свернула на широкую улицу. И тут же раздался резкий свисток милиционера. Старшина попросил права: «Нарушаете правила, товарищ Проклов. Здесь поворота нет. Видите знак?» Шофер вышел из машины. Крапивка застыл... «И путевка у вас не по форме. Как же так, товарищ Проклов?»

Крапивка мигом выскочил из машины и, заикаясь, сказал старшине: «Я знаю этого человека...» Но он строго оборвал его: «Без вас разберемся, гражданин!»

Шофер рванулся в машину и с ходу набрал скорость.

«Он бандит, убийца! — кричал Крапивка. — А вы упустили!»

Старшина удивленно глянул на Крапивку и сказал: «Никуда он не денется... У меня документы. Поймаем!»

Крапивка побежал вдогонку, истошно крича: «Задержите его! Задержите!...»

Ледогоров проснулся рано, но чувствовал себя бодро.

Он облачился в синий спортивный костюм и, перекинув полотенце через плечо, вышел из гостиницы.

Отсюда к реке сбегала лестница с тремя маршами.

Берег был пустынный, только вдали у причала каменели у своих удочек рыбаки.

Вячеслав Александрович, энергично прошагав все восемьдесят семь ступенек, ступил на скрипучий светло-желтый песок.

«Повезло, — подумал он. — Благодать».

Широкая река спокойно несла свои воды, солнце старалось, серебрило ее бегущую чешую.

Лежа на песке, Вячеслав Александрович обдумывал вчерашнюю беседу с Крапивкой.

Десятки дел, расследованных им, требовали установления истины. И конечный итог виделся ему в образе медали, у которой две стороны: правда — истина и правда — справедливость.

Еще в университете он понял, что истину всегда можно восстановить. Это вопрос времени, старания и сообразительности.

А вот со справедливостью дело сложнее. Тут порой действует фактор необратимости. Когда он выяв-

ляется в судебной практике, все дело становится похожим на оборванную фразу с неожиданным многоточием.

Случай с профессором Ярцевым — наглядное подтверждение.

Истина — правда будет доказана, а истина — справедливость, отмеченная в приговоре, уже никогда не осуществится.

Вячеслав Александрович пытался понять душевное состояние Крапивки.

В момент опознания Проклова он пережил потрясение. Затем началась внутренняя борьба, которая продолжается до сих пор. То слышны раздраженные заявления: «Я милицию не беспокоил... Не писал в прокуратуру», то сам собою, без понуканий звучит рассказ о бегстве Проклова с места преступления.

Ледогоров думал о том, что жизнь сплела горе и радость Крапивки в один узел. Какой же силой надо обладать, чтобы не поддаться искушению мести, давно ждущей своего часа!

«Неужели ему станет легче жить, если Ярцев будет осужден? — думал Ледогоров. — Неужели еще одно горе позволит Федору Крапивке спокойно спать?»

На большой скорости промчались моторные лодки, разорвав утреннюю тишину.

С Крапивкой он встретился после обеда в его маленькой комнате.

— Я все думаю про наш разговор, — сказал Крапивка. — Разное у нас положение. Вы поймите: вам проще. Вы все время задаете вопросы, дорогой товарищ. В жизни это всегда выгодней. А я все время отвечаю. Я сейчас живу как на перекрестке... Все сызнова начинать надо. И дом, и работу. Думаете, легко? Я к тому толкую, что я, конечно, пострадавший, но совесть-то должен иметь. Не понравилось вам, что у меня точный счет — двадцать один год и шестьдесят семь дней...

Вячеслав Александрович хотел ответить, но сдержался, не стал перебивать.

— Вот я, к примеру, полжизни под горем ходил. Да разве ходил? Ползал стоя, как все слепые. И еще я так думаю: иногда вопросом можно человека сшибить. Я знаю, дело ваше служебное, казенное. Но понимать должны? Верить должны?

— Насчет моей позиции вы, думается, не очень

удачно выразились, — сказал Ледогоров. — И про вопросы тоже. Мое служебное положение обязывает докапываться до истины. Сами понимаете, главное средство добыть ее — проникнуть в суть дела. И без вопросов не обойтись. Иногда из сотни вопросов возникает один ответ, самый важный. Он-то и приближает к истине.

— Интересно говорите, — заметил Крапивка. — Только я не про службу вел речь. Про свое положение. Жить-то мне как? Свою память глушить? Она наотрез не отступает от того, что знает!

— Запоминаешь ведь не только то, что любишь, к чему привязан. Чаше наоборот. Вот и у вас такое. Но на минутку поменяйтесь с Ярцевым, и вы, если доверитесь только памяти, сразу почувствуете свою беззащитность.

Лицо Крапивки застыло в недоумении. Он снял очки и долго протирал стекла мятым платком.

Ледогоров вынул из папки протокол допроса Крапивки и сказал:

— Прочтите, пожалуйста, и подпишите.

Крапивка подтянул к себе листы бумаги и, не глядя на них, постукивал пальцами по столу. Было видно, что он чем-то озадачен.

— Прочтите, — напомнил Вячеслав Александрович. Коротко вздохнув, он надел очки и стал читать.

— Подписывать не буду.

— Что-нибудь искажено? Записано не так, как вы говорили?

— Претензий не имею. Ну, в смысле записи...

— Тогда в чем же дело?

— Во мне! — Крапивка вдруг поднялся. — Я смерти его не хочу!.. — И твердо повторил: — Не хочу!

— По истечении пятнадцати лет смертный приговор не может быть применен к осужденному, — сказал Ледогоров.

— Не в том дело! Как я жить-то смогу? Как?!

— Может быть, вы усомнились в своих показаниях? Не убеждены, что он Проклов? Произошла ошибка?

— Не было ошибки! — воскликнул Крапивка.

Ледогоров заметил, как у Крапивки лоб покрылся испариной.

— Может, вам лучше прилечь?

— Не время...

Крапивка достал из шкафчика старенький чемодан-

чик, отщелкнул запор. Вынул папку, полистал какие-то бумаги, поглядел на облигации давних лет. И уж потом, взяв серенький конверт, захлопнул чемоданную крышку.

Движения его были медленные, лицо дергалось. По всему было видно, что он, охваченный сомнением, никак не может отважиться на какой-то шаг, имеющий для него важное значение.

Наконец Крапивка открыл конверт и положил на стол фотографию с пожелтевшими краями.

— Вот, смотрите, — вздохнул он и зачем-то смял конверт в серенький комок.

Ледогоров внимательно глядел на снимок. Он увидел немолодую женщину в платочке, низко покрывавшем голову, а рядом удивительно похожего на нее парня.

Ледогоров оторвал пристальный взгляд от фотографии:

— Кто это?

— Это... — Крапивка запнулся и, стиснув комочек конверта, тихо произнес: — Ванька Проклов.

— Откуда фотография? Как она попала к вам? Вы уверены, что это он?

— А вы прочтите... Там написано.

Ледогоров перевернул снимок и увидел блеклые строчки: «Федя. Это Проклов Ванька. Получено от суда. Не забывай. Дядя Захар».

— Почему вы раньше не показали фотографию? — спросил следователь, все еще вглядываясь в лицо парня.

— Зачем?

— Это вещественное доказательство. Мы об этом говорили с вами, Федор Назарович.

— У вас свой расклад. А у меня свой.

— Расскажите, как попала к вам фотография.

— Ну, значит, поначалу я жил у дяди Захара, а после в детском доме. Пришел туда с котомкой, теперь и не припомню, чего там лежало. Только знаю, пакетик был, в газету завернут. Там справка из суда и фото. Дядя мне наказывал, чтоб берег. Вот и сохранилось... Бывало, нет-нет да и открою пакетик, взгляну на Проклова... Потом война. Ослеп. Так и лежал пакетик нетронутый... Двадцать один год был Проклов в темноте. А лицо его я всегда помнил. Остальное вы знаете.

— И все-таки — почему отказываетесь подписать свои показания?

— Не могу... Поистине не могу. Вы вспомните, как я слепой топтался на тротуаре, а меня дочь Дмитрия Николаевича подобрала, привела в больницу. И вот теперь я зрячий. Кто он мне? Что я ему? Он смог, а я? Я — кто? От слов своих не отказываюсь. Но подписи моей на вашей бумаге не будет.

Слушая Крапивку, Вячеслав Александрович чувствовал, что и сам волнуется. На его глазах одолевалось, казалось, неодолимое горе.

И он не стал говорить Крапивке, что меру наказания будет определять суд.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Едва дождавшись конца совещания, которое вел начальник отдела, Елена Сергеевна подошла к нему и без предварительных объяснений попросила предоставить отпуск на пять дней.

Начальник, прочитав заявление, тут же написал: «Разрешить. В счет очередного отпуска». И уж потом, глянув на Елену Сергеевну, поинтересовался:

— Что-нибудь случилось?

— Нет, — как можно спокойней ответила она. — Домашние обстоятельства.

Если бы Елена Сергеевна вела дневник, то историю своей поездки к Хромову, несомненно, начала бы с заявления. Именно с этого момента все ее догадки, предположения слились воедино. Надо было действовать.

Ясность могла внести только встреча с Дмитрием Николаевичем. У Елены Сергеевны не было уверенности, что ее приезд позволит узнать причину скоропалительного отпуска мужа и вряд ли объяснит отказ Останина от Железноводска, где он ежегодно лечит желудок. Однако что-то серьезное примирило Андрея с излюбленным местом Дмитрия Николаевича. И это тоже было многозначительной подробностью неожиданных событий.

О своем приезде Елена Сергеевна решила не сообщать. Она боялась, что телеграмма вызовет у Дмитрия Николаевича раздражение и он найдет вескую причину, чтобы ей не ехать. И тогда путь будет отрезан. А так? Ну, соскучилась. Потому и приехала. Господи, не на край же света...

Марине она сказала, что едет к отцу посоветоваться по поводу новой работы, которую ей предлагают.

Сидя в пустом купе и уставясь на желтый кувшинчик с ромашками, она клеймила себя за то, что способна мелко лгать, придумывать оправдания своим поступкам, скрывать глубокое волнение. Но что же делать? Что делать?

В купе вошли трое парней, поздоровались. Старший, со значком «Мастер спорта», сказал:

— Насколько я понимаю, у вас верхнее место. Костя, — он обратился к блондину, — если дама не будет возражать, ты любезно уступишь свое нижнее. Курить, мальчики, будете в тамбуре. Надеюсь, все ясно.

— Да, да, — ничего не понимая, сказала Елена Сергеевна.

Утром паровоз подтащил состав к маленькой, мокрой от дождя станции. Елена Сергеевна сошла, оглянулась вокруг. У багажного сарая стояла подвода с понурой лошаденкой. За минуту стоянки из почтового вагона быстро передали несколько посылок и пачки газет.

Паровоз шумно запыхтел. Лошаденка проводила состав старчески-мудрым взглядом, потом, словно поняв разговор Елены Сергеевны с возницей, закивала башкой, как бы одобряя просьбу приезжей — довезти ее к бакенщику Хромову.

Поначалу возница бубнил, что не может делать этакый крюк, а когда узнал, что она жена Ярцева, то весь просветлел.

— Ведь я при исполнении... — объяснил он. — И обязан почту по часам доставить. Потому и отказывался! А так — дело другое. Поехали.

То ли возница был молчун, то ли не хотел докучать жене профессора, но за долгую дорогу сообщил лишь одну новость:

— На прошлой неделе дочка с женихом к Хромову пожаловали... Свадьба была.

Постепенно солнце набирало силу, размывало синеву неба, ровным светом заливало окрестности.

Елена Сергеевна нетерпеливо смотрела на молодой лес, мелькавший белизной березовых стволов, на узкую мокрую дорогу, тянувшуюся вдоль опушки, на полегшее клеверное поле.

К дому Хромова дорога не доходила.

Только тропка вела до самой калитки палисадника,

где четыре ели с обвислыми лапами сторожили дом бабенщика.

Елена Сергеевна подошла к дому, толкнув, отворила калитку. Невидимый колокольчик известил о приходе гостя.

— Кто там? — отозвался Хромов из глубины двора.

— Это я... Здравствуйте, Афанасий Мироныч, — откликнулась Елена Сергеевна.

— Не узнаю... — И, шагнув навстречу, радостно воскликнул: — Вот это новость! Здравствуйте, Елена Сергеевна! Как же вы пешком! В такую даль. Вот... И Дмитрий Николаевич ничего не сказал... Спит еще. Пойду разбужу.

— Не надо.

— Не надо? Ну, пусть отдыхает. В полночь только легли. Все на бережку разговор вели. Я вас молочком парным угошу. Небось отвыкли?

— Я корову только по телевизору вижу. Как вы себя чувствуете?

— Все у нас хорошо, — сказал Хромов. — И Дмитрий Николаевич вроде чуть отдохнул, посвежел. Это очень правильно, что вы приехали. Часто он про вас вспоминает, скучает.

— Останин тоже здесь?

— Как поднялся — в район двинул. С кем-то в Москве поговорить надо. Обещал за продуктами сходить. Он за Дмитрием Николаевичем как за дитем ухаживает. — В глазах Хромова светилась детская радость.

Елена Сергеевна хотела спуститься к реке, но слишком устала. Сил не было. Подошла к умывальнику, что висел возле кухоньки, ополоснула лицо тепловатой водой. Хромов подал полотенце с красными петухами, вышитое еще Глашей.

Как раз в это время на крылечко вышел Дмитрий Николаевич. Не заметив Елены Сергеевны, поздоровался с Хромовым.

— А у нас гость, Дмитрий Николаевич.

— Кто же?

— А вы поглядите.

Дмитрий Николаевич повернул голову и, будто испугавшись, вскрикнул:

— Лена!

Елена Сергеевна кинулась к нему.

— Как же ты догадалась приехать? Умница моя! —

Он не выпускал ее рук. — А почему сердце стучит? Что-нибудь случилось? Что с Маринкой?

— Все в порядке... Лучше скажи, как ты?

Хромов принес кружки с молоком.

— Угощайтесь.

— Парное! — Елена Сергеевна, смакуя, выпила до конца. — Нектар!

— Ну, располагайтесь, а я буду завтрак готовить.

Елена Сергеевна очень старалась держаться непринужденно. Ей важно было подчеркнуть мотив своего приезда: соскучилась — и все. Но она видела на лице мужа тень подозрения, а может быть, и скрытого недовольства.

«Неужели я должна маскировать свою тревогу, должна притворяться? Неужели между самыми близкими людьми не может быть откровенности, естественности? — думала Елена Сергеевна. — Господи, у него совсем седые виски...»

С реки донесся гудок парохода, всколыхнул утреннюю сонную тишину.

— Ты прости, Митя... Я, наверное, глупо поступаю, что говорю об этом. Но меня мучает беспокойство. Я чего-то боюсь.

— Чего?

— Не знаю. Порой места себе не нахожу. Ты не сердись, я ничего не могу поделать. Это внутри меня. Стого дня, как я вернулась из Ленинграда, меня преследует страх. — Щеки Елены Сергеевны стали бледнеть.

Дмитрий Николаевич понял, что ему следует осторожно реагировать на каждое ее слово, чтобы не выдать себя.

— О каком страхе ты говоришь? — почти весело спросил он.

— Не знаю, не знаю! Но вот... Хотя бы твой отпуск... Почему вдруг?

— Разве это причина для тревоги? Отдых — и только.

— Хорошо, могу согласиться. Продлевай отпуск хоть еще на три месяца! Ты много работаешь, устал. Но все-таки, почему такая внезапность?

Дмитрий Николаевич отошел к двери, словно уклоняясь от ответа. Но тут же почти непринужденно пояснил:

— Взял и поехал. О чем волноваться? Видишь, живой, все в порядке...

— Я сдавала вещи в чистку. Взяла твой серый костюм. Он почему-то висел на крючке за дверью, а не в шкафу. В пиджаке лежали железнодорожные билеты. Оказывается, ты ездил в Трехозерск!

Он опять неловко улыбнулся.

— Послали. Срочно. Я не мог отказаться.

— Понимаю, понимаю, — сказала она, но тут же спросила: — Но ведь всю жизнь ты оставлял мне записки! Почему же...

— Я знал, что успею съездить до твоего возвращения.

— На днях тебе звонил прокурор. Кажется, Жбаков Павел Иванович. Просил передать, что сам интересовался материалами по делу какого-то Проклова. Ничего обнадеживающего: архивы не сохранились.

«Я не оставлял ему номера телефона, — вспомнил Дмитрий Николаевич. — Откуда он у него? — И сразу укорил себя: — Это ведь прокуратура!»

Настойчивый взгляд жены мешал Дмитрию Николаевичу сосредоточиться.

— Может, встреча со Жбаковым связана с твоими служебными делами? — заметила Елена Сергеевна.

— Вот видишь, сама поняла...

— Была у нас тетя Дуня. Помогла убрать квартиру...

Дмитрий Николаевич вздрогнул и едва сдержал себя. Но улыбка уже не давалась ему, губы не слушались.

— Ты ведь знаешь, тетя Дуня всегда рассказывает больничные новости, — продолжала Елена Сергеевна. — Но в этот раз... Что-то несусветное... Как будто один из больных, прозрев, узнал в тебе убийцу его родителей! Что за бред?

Дмитрий Николаевич зачем-то взглянул на часы, тоненькая стрелка отщелкивала секунды, и он подумал — все. Сейчас — взрыв.

За всю жизнь, что Дмитрий Николаевич и Елена прожили вместе, они никогда так не смотрели друг на друга.

— У нас не получается разговора, Митя. Ты говоришь неправду. Ты никогда не умел лгать, Митя.

— Успокойся, Лена! Тебе нужны силы... Отчаянные, невероятные. Я не знаю, что ты скажешь потом. Я не связываю тебя никакими обязательствами. Ты вправе принимать любые решения. Слушай...

Когда вечерняя заря завладела небом, Дмитрий Ни-

колаевич все еще видел себя в ночи на груженной бревнами платформе. Потом, черный от угольной пыли, он откажется от своего имени, назовется Ярцевым. А вербовщик с далекой стройки обрадуется новичку и, посплюнявив чернильный карандаш, впишет Ярцева в школьную тетрадку, где на синей обложке с масляными пятнами было напечатано: «Учение — свет, а неученье — тьма».

— Не надо больше, Митя, не надо, — дрожа от озноба, сказала Елена Сергеевна. — Я не могу...

Во дворике, у летней кухни, Останин раскладывал покупки, которые привез из райцентра в большой корзине.

— Боже, какой неожиданный гость... Здравствуй, Леночка.

— Здравствуй. Ты давно приехал?

— Только-только. Ночевал в районе. Митя дома?

— Да.

— Он сказал тебе что-нибудь?

— Сказал.

— Что он сказал?

— Все.

— Это много. Я бы не стал тебе рассказывать.

— Почему?

— Сердце часто не выдерживает. Боюсь, как бы вы не открыли фамильный лазарет. Будь моя воля, я бы увез его не сюда, а в Антарктиду. Пусть бы общался с пингвинами. Я слышал, у онкологов есть неписанный закон: диагноз сообщают самому здоровому из ближайших родственников. И это правильно, Лена.

— Меня ты исключашь?

— Имел такое намерение. Я бы пощадил тебя, Лена. Во всяком случае, подождал бы критической точки.

— Скажи, Андрей, почему ты сам остался наедине с его горем? Митя рассказал мне. По какому праву? Ты не из самых здоровых людей и в родстве не состоишь.

— Леночка, друг ты мой любимый. После сорока лет у человека все меньше друзей и все больше болезней. Мы стареем, а сердце исподволь ведет отбор среди друзей, товарищей, приятелей, сослуживцев, знакомых, коллег, соседей... Разные есть человеки. Одни — не поймешь кто. Другие, они самые страшные, — те, у которых осторожность — родная сестра трусости. Тут кончается совесть. Поверь, хочется всегда оставаться че-

ловеком. Не прибыльное это дело, но очень приятное. Всегда.

— Значит, я должна ждать развязки этой страшной истории?

— Твой подвиг — в другом.

— Уехать к пингвинам?

— Постарайся жить так, чтобы у Марины ни разу не возник вопрос: «Мама! Что с тобой происходит?»

— А вдруг я не смогу...

— Тогда в лазарете может появиться третья койка...

После завтрака Дмитрий Николаевич предложил:

— Пошли на речку.

— С удовольствием, — сказал Останин. — На меня купанье почему-то действует лучше, чем строгий выговор.

На отмели под водой пестрели осколки ракушек. Течение покачивало донные травы — медленно, как во сне.

Елена Сергеевна лежала на теплом песке, закрыв глаза. На какой-то миг она перестала ощущать себя и вдруг увидела сквозь закрытые веки черное облако, застывшее в небе прямо над ней. Это было так реально, что она вздрогнула. Облако с розоватым подбоем клубилось, набухая чудовищной грозовой силой, казалось — вот-вот ударит огненная стрела молнии.

Она встала, стряхнув песок с нетронутого загара тела, и медленно, все еще продолжая испытывать этот ужас, вошла в прозрачную воду.

Через час все трое вернулись домой. Хромов, разумеется, ни о чем не подозревал, но его приметливый взгляд улавливал беспокойство гостей. Во время обеда Хромов с опаской поглядывал на тарелки и был доволен, что окрошка пришлась всем по вкусу, а Останин даже попросил добавки. А вот со вторым Хромов оплошал: котлеты пригорели. Отойдя к погребку, он скоблил с них обгоревшую корку, котлеты крошились, и он решил их не подавать, а нажарил большую сковороду картошки с мелкими кубиками сала. Всем понравилось. Тогда Хромов признался в своей неудаче и сообщил, что завтра рыбаки грозились поймать карасей и обещали по пять штук на душу.

— Хорошо бы, — вздохнул Останин. — Лично я



встречался с карасем на картинке в учебнике зоологии. Еще у Чехова про карася можно прочитать.

— Классики в них толк знали, — сказал вдруг Дмитрий Николаевич и, что-то вспомнив, окликнул Афанасия Мироновича: — Можно раздобыть гармонь? Или баян?

— Ты же не умеешь играть, — удивилась Елена Сергеевна.

— На старости лет выучусь.

— Что затеял? — спросил Останин.

Дмитрий Николаевич вытянул руки, раздвинутые пальцы слегка дрожали. Потом он с хрустом сомкнул их в кулак.

— Как думаете, Афанасий Мироныч, достанем?

— В сельпо есть гармони. Видел.

— Значит, купим.

— Я у своих поинтересуюсь. Вам ведь на время? Может, у кого одолжим.

Хромов отошел к летней кухоньке, где под навесом закипал самовар — подарок Ярцева.

— Пока суд да дело, могут застыть подушечки пальцев. И тогда мои руки смогут держать только сапожный молоток. Мне нужен тренаж, — волнуясь, говорил Дмитрий Николаевич. — Пятьсот, тысяча нажимов на клавиши ежедневно. Любые вариации. Быстрые, плавные. И тогда руки не предадут меня.

— Митя, — прервала его Елена. — Не надо так...

— А еще можно сети вязать. Давай, Андрей, в четыре руки бредень соорудим.

— В браконьеры приглашаешь? — прищурился Останин.

— И тебе не грех поразмяться, — сказал Дмитрий Николаевич. — Ты давненько перышка не держал. Все меня караулишь. Наберись смелости, засядь за рассказ. И пусть он будет грустным.

— Почему обязательно грустным?

— В радости лениво думается. Все легко, просто. А когда жизнь покруче завернет, в тебе душа просыпается и ты невольно тянешься к чему-то доброму.

Елена Сергеевна слушала мужа, догадываясь о его невысказанных мыслях.

Вероятно, Дмитрий Николаевич это почувствовал. Взглянул прямо, открыто:

— Чем больше будет у меня адвокатов, тем мне тяжелей. Надо было раньше думать. «Не пойман — не вор». Да, не был пойман. Но сам-то мог понять, что это

не спасение? И мог за все расплатиться? Совесть у человека одна, недаром нет у нее множественного числа. Спасибо, что хотите вступить за меня. Только давайте уговоримся: не надо... — И, разглядывая кисти рук, усмехнулся: — Наконец-то на гармонии поиграю. Пришел отец с гражданской, гармонь принес. Радости было! А потом, как говорится, утопил музыку в самогоне. Я, бывало, уйду с гармонью к озеру, сам играть пробую. Только-только приладился, кнопочки под пальцами живые стали — отнял отец гармонь. Тоже пропил...

Елена Сергеевна поднялась к Останину в светелку.
— Я хочу уехать, Андрей.

— Почему?

— Ему стыдно глядеть мне в глаза. Я представляю, какие муки он переносит.

После обеда Дмитрий Николаевич и Останин отправились побродить по лесу.

Вернувшись, Останин поднялся в светелку и увидел записку:

«Андрей, оставляю письмо. Передай. Не говорю спасибо. Знаю, что остервенеешь. Лена».

Останин посидел немного, держа письмо в руке. Оно казалось ему тяжелым. Он вздохнул и, позвав Дмитрия Николаевича, передал конверт.

— Я знал, что она уедет.

«Митя! В этом письме не ищи моих оправданий. Их нет. Я с треском провалилась. Хлипкая, слабая, я скрылась, чтобы слезами не оскорбить тебя, — читал Дмитрий Николаевич. — Я знаю, мы думаем об одном и том же, Митя. У меня хорошая память. Потом я тебе все расскажу. Потом... Это прекрасно, когда у человека есть ПОТОМ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Зоя Викторовна Кравцова вторую неделю находилась в Москве и не торопилась с отъездом в Челябинск. Только что исполнилось два месяца, как умер Родион Кравцов. При мысли, что она вернется одна в пустую квартиру, где все напоминает о муже, ей становилось невыносимо.

На другой день после сороковин Зоя Викторовна улетела в Москву к двоюродной сестре. Здесь все были за-

няты годовалым внуком. И в заботах о нем боль становилась глуше.

Сейчас она сидела в квартире Ярцевых и разговаривала с Еленой.

Сюда она пришла не потому, что тогда, в Челябинске, получила приглашение. Незадолго до кончины Кравцов начал писать письмо Дмитрию Николаевичу. Не успел дописать. Так и осталась нетронутая белая половинка страницы. И эта мертвая белизна казалась сейчас траурной.

— Вот, пожалуйста. — Она передала письмо Елене Сергеевне.

— Спасибо...

Елена Сергеевна держалась молодцом, но все-таки руки затряслись. Она прижала ладони к столешнице.

Зоя Викторовна заметила это.

— Вы неважно себя чувствуете?

— Нет, нет, — всполошилась Елена Сергеевна. — Будем пить чай. С ореховым вареньем. Я быстро, мигом.

Она вернулась, неся на ярком подносе чай, варенье, вазочку с печеньем.

— Попейте горяченького.

А сама все боялась, все не могла взяться за письмо.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич! — писал Кравцов. — Прошло немало времени с тех пор, как я пришел к вам в надежде встретить моего спасителя.

Но, видимо, память моя зафиксировала только эмоциональную сторону события. У меня не было точных сведений, исключающих возможность ошибки.

Конечно, я рассчитывал на вас, на вашу память. Для меня это играло, я бы сказал, решающую роль.

Но, к сожалению, ничего подобного не произошло.

Вы говорили тогда, что у вас нет оснований отрицать свою причастность к данной истории, ибо она характеризует вас с лучшей стороны. Вы были, конечно, правы.

Таким образом, я стал перед необходимостью подвергнуть свою версию тщательной проверке. Сами понимаете, эта акция носила очень личный характер, но, подчеркиваю, была для меня крайне важной. Я все-таки не верил, что ошибаюсь. Не верил даже после встречи с вами.

Я советовался с психологами, рассказывал про этот факт. И узнал кое-что любопытное.

Случай, когда человек забывает происшедшее с ним событие, где он проявил себя героически, встречаются.

Причина неожиданная: болезнь. И называется она — фактогенная амнезия. (Амнезия: потеря памяти по-гречески.) Убежден, вы сами знаете, но это важно для моих рассуждений.

Мне объяснили, что человек отталкивает от себя все связанное с отрицательными воспоминаниями.

Позвольте, возразил я, здесь же положительная реакция! Поступок, отмеченный добром!

Значит, ответили мне, этому поступку предшествовала сильная отрицательная эмоция. Отталкивая ее от себя, больной невольно прихватывает смежный отрезок жизни.

Любопытно, не правда ли?

Это, пожалуй, наиболее вероятное объяснение случившегося. И только вам известно, была ли у вас эта отрицательная эмоция.

Теперь о главном.

Вы, может быть, знаете, что по инициативе Горького начали создавать книги по истории фабрик и заводов. В 1932 году была попытка написать историю нашего Тракторного. Собрали много материалов, но работа над книгой приостановилась.

Мне удалось узнать, что некоторые материалы сохранились в архивах.

И вот нам повезло. Случай, происшедший в пятом бараке, был подробно описан. В докладной на имя секретаря парторганизации зафиксировано вот что: «Мужественно проявил себя молодой землекоп Д. Н. Ярцев, который бросился спасать секретаря партячейки участка Кравцова».

А в архиве прокуратуры я обнаружил донесение о враждебной вылазке в пятом бараке, где тоже указывалось...»

Дальше строка обрывалась.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Чиркнула спичка, и огонек осветил лицо Дмитрия Николаевича. Закурив, он глубоко затянулся и снова откинулся на подушку. Рядом, на другой кровати, спал Останин.

Дмитрий Николаевич хотел принять еще одну таблетку снотворного — после первой он спал всего три часа, — но передумал, решив, что встанет с первой зарей и уйдет на реку.

Непрерывно роились воспоминания, неожиданно появляясь и столь же внезапно исчезая. Видно, утомленный мозг накрошил их на ночь побольше, чтобы было чем заполнить пустоту бессонницы.

Докурив папироску, он потянулся за новой. Но, вынув ее из пачки, не стал зажигать, а только пальцами помял табак.

Он вспомнил профессора Русакова, своего любимого наставника. Бросив курить, тот еще долго разминал проклятое зелье, по пачке, а иногда и по две в день. Говорил, что помогало.

Он увидел его незамутненные возрастом глаза, смотревшие на мир умным, все понимающим взглядом.

Недавно исполнилось десять лет со дня его смерти. В день печальной даты Дмитрий Николаевич поехал на кладбище.

Вокруг все было зелено.

Две березки затеняли маленький холмик с надгробием.

«Почему у людей, приходящих к могилам родных и близких, как бы происходит самоочищение? — думал Дмитрий Николаевич. — Может, потому, что здесь всегда монолог, никто не способен возразить, поправить, уточнить? Здесь теплится надежда, что грех будет понят и прощен... — При жизни профессора Дмитрий Николаевич обращался к нему на «вы». Теперь он говорил ему «ты». — Я не знаю, что бы ты сказал, узнав мою беду. Ты бы, конечно, напомнил, что лучшая подушка — чистая совесть. Ты говорил: «Жизнь — это всегда быть в пути». Ты знал, сколько я прошел, но не знал, откуда и как я начал свой путь. Ты часто повторял: «Когда тебе плохо, не выходи на улицу». Мне плохо. Поэтому я пришел сюда, к тебе. Прости меня. Может, тебе легче будет это сделать, если я поклянусь, что нет на мне крови. Прости, Ярослав Леонидыч. Ты предупреждал меня удачу, веря, что ученик не посрамит учителя. Помнишь, ты советовал: «Будешь подниматься по ступеням вверх, постарайся не греметь каблуками». Я старался. Но теперь я рухнул и качусь вниз... И все услышат грохот моего падения».

Дмитрий Николаевич, откинув одеяло, тихо оделся и вышел из комнаты.

Солнце еще не пробилось сквозь предрассветную дымку, и роса, похожая на ртутные шарики, лежала, не скатываясь на травах.

Он спустился к реке, сел на скамейку, которую смастерил Хромов.

Стайки мальков суетились под берегом, словно знали, что Дмитрий Николаевич захватил с собой белый хлебушек. Он размельчил его и бросил в воду.

Шурша песком, подошел Хромов.

— Так у нас дело не пойдет, — ворчливо заявил он. — У людей ночь для отдыха, а вы, Дмитрий Николаевич, речку сторожите. Будто ее черти выпьют. Хватит! На ночь станете мед пить, да мы туда еще для крепкого сна подбавим травки. От ваших таблеток проку нет.

Дмитрий Николаевич молча выслушал сердечный разговор Хромова и покорно сказал:

— Как прикажете, Афанасий Миropyч.

— Тогда порядок.

«Почему про таких людей говорят: простодушный? — подумал Дмитрий Николаевич. — Способность мгновенно ощущать чужую беду и откликаться на нее — это редкостный дар, такой же редкостный, как талант».

— Пошли завтракать, — сказал Хромов.

Останин уже сидел за столом, истребляя драники с парным молоком.

— Недавно я ездил в Каунас. Вот где кухня! Как думаете, сколько можно приготовить блюд из картофеля? Сколько? Ладно! — Останин махнул рукой. — Все равно не угадаете. Сто одно блюдо! Кстати, драники там во главе меню.

— А Дмитрий Николаевич вот не очень жалуется, — заметил Хромов.

— Митя! Кажется, Уайльд сказал, что самая тяжелая работа — ничего не делать. Мы бездельничаем уже четырнадцать дней!

— Что ты предлагаешь? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Я привез с собой дневники и записные книжки. В них уйма всяких историй, наблюдений, зарисовок. Я буду тебе читать — не все, конечно, а только избранное, — а ты скажешь, что стоит печатать, а что — в фамильный архив. Согласен?

— Когда начнем?

— Да хоть сейчас. Я готов.

Хромов принес газеты и письмо Ярцеву.

В короткой записке Елена Сергеевна сообщила, что дома все в порядке.

«...Только что позвонили из Академии медицинских наук. Тебя включили в состав делегации, едущей в Англию. Там через три недели симпозиум по проблемам глазной хирургии. Митя! Думаешь ли продлевать отпуск?»

«Этого не хватало... К чему сейчас поездка? Анкеты, объяснения... И завертится все... А ведь кто-то добро хотел сделать: ходатайствовал, включал. Так, мол, и так, фигура. Какая, к черту, фигура! — И неожиданно пришло на ум то, что выплыло давно, но где-то затерялось в тоске и боли: — Лже-Дмитрий!»

Затем он прочитал письмо Кравцова.

— Плохие новости? — спросил Останин.

— Прочитай сам. — Дмитрий Николаевич передал ему письмо и стал машинально закуривать.

Останин, пробежав листки, вложил их в конверт. Подержал на ладони.

— А ведь я про эту историю не знаю. Почему, Митя? Ты действительно все позабыл?

— Кое-что шевелится, но трудно понять, моя ли это память выудила или присвоила услышанное от Кравцова. При встрече в Челябинске я ему доказывал, что он ошибается.

— Как бывает! Не знал, не видел Кравцова, а прочитал письмо, могу смело утверждать: личность, — сказал Останин. — Был я как-то в суде. Рядом сидел пенсионер, фронтовик с четырьмя рядами орденских планок. Когда прокурор закончил речь, сосед наклонился ко мне и говорит: «Это ж каким человеком надо быть, чтобы получить право других судить? Их, должно быть, особым рентгеном просвечивают. А бывает и так: заберется человек на пригорок, напыжится. Вот, мол, я. Ему невдомек, что он вроде козы на горе, которая больше, чем корова в поле». — И снова Останин повернул свою мысль на Кравцова. — Верно говорят, когда умирают такие люди, злу становится выгоднее. Был бы он жив, мог бы...

— Не надо, — прервал его Дмитрий Николаевич. — Это письмо для меня как завещание. Не думал я, что в моей жизни есть еще один человек, перед которым надо держать особый ответ. Его, Кравцова, суд строже всех законов. И мне вдвойне тяжело, что его нет в живых.

Растревожив округу, пролетел самолет. Останин, проводив его взглядом, улыбнулся чему-то.

— А поедешь в Англию, не забудь купить мне крем для обуви. Люблю, когда солнце горит на штиблетах. Моя слабость.

— Я тебе здесь ваксу куплю, — хмуро ответил Дмитрий Николаевич.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На полустанке Голубичи поезд останавливается всего на одну минуту и, распугав лесную тишину железным лязгом, торопится дальше.

Отсюда до деревни Михайловки семь километров. Следователь Ледогоров не стал дожидаться оказии, а пошел пешком и был доволен: в Москве такие маршруты — мечта. Туристы за них деньги платят.

На постой его определили в дом учителя Шкапича.

Седая голова, редкие белые брови на бледном с розоватыми прожилками лице подчеркивали его почтенный возраст. До семидесяти лет он не покидал школу, а ныне на отдыхе. Пенсионер. Но все по-прежнему зовут его учителем.

В места эти Вячеслав Александрович попал впервые и знал про них мало. И Шкапич рассказывал гостю о Полесье, которое до революции считалось гиблым болотным краем. В те времена крестьян Полесья называли полешуками. Каждый клочок земли, отвоеванный у болот, был полит слезами. Люди собирали мизерные урожаи, страдали от злых лихорадок и болезни колтун. Только здесь гнезвился колтун и нигде больше.

В неурожайные годы люди покидали обиженную богом землю, хоть и была она родиной...

Советская власть повела наступление на топь. А потом военное лихолетье снова обескровило край.

Шкапич называл выжженные и затопленные районы, и губы его дрожали мелкой дрожью.

А на другой день в сельсовете Вячеслав Александрович узнал, что жену партизана Шкапича повесили немцы. И председатель сельсовета намекнул гостю, что, мол, не следует с ним говорить о войне, после этого болеет учитель. И еще председатель огорчил Вячеслава Александровича, сообщив, что есть только несколько односельчан из числа тех, кто жил здесь в тридцатом году. Сам он приехал из другого района и про убийство на хуторе Камыши ничего не слышал.

— Как помочь вам, право, не знаю. К вечеру они

придут сюда. Да, есть еще один человек, — неожиданно оживился председатель. — Петро Хрипич. Он в те годы в районной милиции работал. Правда, лет ему много. Может, позвать? Он у младшего сына живет. Тут недалеко. В колхозе «Победа».

— Пригласите, пожалуйста.

— А может, фотокарточку того гражданина повесить на доску? Вот здесь, у сельсовета? Кто узнает — отзовется. По этому шляху многие ходят, — предложил председатель.

Вячеслав Александрович хотел сказать, что опознание ведется другим путем, но ответил неопределенно:

— Подумаем, как поступить, подумаем.

Первым в сельсовет пришел Хрипич.

Он посмотрел на мальчишеское лицо Вячеслава Александровича и удивился:

— Такой молодой, а уже прокурор в Москве?

— Следователь, — поправил Вячеслав Александрович.

— О чем будет разговор?

— Очень важный, — сказал Ледогоров. И, сообщив, что председатель и секретарь сельсовета являются сейчас понятыми, продолжал: — Вы слышали что-либо про убийство на хуторе Камыши летом тридцатого года?

— Сразу и не припомнишь. Тогда было много хлопот у милиции. Непокойный год. Климовича, председателя колхоза, топором зарубили. Это помню. Я бандюгу в район привез. Но Климовича гады настигли в правлении. Это не в Камышах. — Он посидел, подумал. — Там вроде тихо было. Назар Крапивка не любил шума...

Услышав фамилию Крапивки, Вячеслав Александрович насторожился:

— А Проклова знали?

— Кого? — переспросил Хрипич.

— Проклова.

— А как же, — неожиданно подтвердил Хрипич. — Нескладный был мужик. Перекати-поле.

— Он инвалидом был?

— Какой инвалид? Кто сказал? Здоровый бугай. Непутевый. Никакой не инвалид.

— С костылем ходил. Так рассказывают, — уточнил Вячеслав Александрович.

— Да плюньте им в глаза, товарищ следователь.

— Вроде правая нога до колена была ампутирована, — продолжал Вячеслав Александрович и, раскрыв

папку, вынул пять фотографий, среди них две Ярцева: одна — взятая у Крапивки, другая — прошлогодняя. — А эти люди вам не знакомы? Приглядитесь.

Хрипич взял фотографии, отошел в дальний угол комнаты. Он долго вглядывался, по-всякому вертел фотографии, временами оборачиваясь на притихшего Вячеслава Александровича. Наконец вернулся к столу и решительно сказал:

— Чужие люди. Не знаю. Врать не буду. И Проклова тут нет. У Проклова не глаза, а одни щелки от пьянки были...

Через час Вячеслав Александрович снова сидел в сельсовете, и трое односельчан — в присутствии понятых — держали фотографии и сверлили их слабыми глазами.

Маятник стареньких висячих часов, раскачиваясь, громко отщелкивал время.

— Значит, надо сказать, кто это? — уточнил свою задачу рыжебородый счетовод Игнатюк.

— Правильно, — подтвердил Вячеслав Александрович. — Никого не признали?

— А кто его знает? Скажешь, а потом что не так, тебя же и привлекут.

— Про то убийство, что вы говорили, ничего больше не известно? — спросил худой бритоголовый ветеринар.

— Кое-что известно, — односложно ответил Вячеслав Александрович.

— Узнал! — неожиданно воскликнул старик Трегубович. — Он, ей-богу, он! Узнал. Это Данила Суровгин. Они рядом с нами жили. У ближнего колодца. Угадал или нет?

— Нам гадать нельзя. Нам нужно точно знать, — сказал Вячеслав Александрович.

— Я точно говорю: Данила.

— Спасибо. А вы? — Он обратился к стеснительному щуплому мужичку. Тот сидел у окна и зачем-то смотрел фотографии на просвет.

— Думаю.

— Думать не след. Вспоминать надо! — посоветовал председатель сельсовета.

Прошло еще несколько минут, и стеснительный мужичок убежденно произнес:

— Люди не из нашей деревни. У нас таких не было. Эти в Степичах проживали.

— Выходит, никто не признал, — подвел итог пред-

седатель. Ему было неудобно за односельчан, он смущенно потирал подбородок.

Вячеслав Александрович поблагодарил всех, аккуратно сложил фотографии в папку, туго завязав ее синие тесемки.

— Что-то знакомое в этом лице. — Шкапич всматривался в снимок, зачем-то откидывал седую голову и шепотом называл разные имена, подсказанные усталой памятью: — Черты знакомые, а кто, не назову.

— Попробую вам помочь. В тридцатом году на хуторе Камыши убили мельника и его жену. Не припоминаете?

— Это когда бандиты скрылись?

— Да.

— Один из них?

— Третий, который бежал.

— И здесь его фото? — учитель кивнул на снимки.

— Возможно. Это надо установить.

— Столько лет прошло. Трудно. В двадцать девятом году меня лихорадка замучила. Мы с женой к ее родне поехали в Тамбов. Там два года прожили. Потом домой потянуло. Как вернулись, слышали про эту историю. Задача... Пойдите, а как же фотография? Значит, третий пойман?

— Нет, есть подозрение. Необходимо опознание. Доказательство.

— Допустим, я бы назвал его имя, фамилию — вас бы это устроило?

— Конечно. Опознание свидетеля — важный факт.

— Право, не знаю. Как бы беды не натворить. Я еще подумаю. Можно?

Вячеслав Александрович не стал больше беспокоить учителя и вышел на сельскую улицу.

Небо пылало от вечерней зари. В Москве ее не увидишь. В Москве солнце давно садится за частокол панельных башен.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Дмитрий Николаевич и Останин лежали на песке, прикрыв головы влажными полотенцами.

— Сделаем перерыв? — спросил Останин.

— Читай дальше.

Останин перебрал переброшенные страницы общей тетради. Они уже были дымчато-кремового цвета.

— «В Севастополе, на месте разбомбленной фашистами библиотеки чудом сохранился один стеллаж. Я видел, как проходили люди, но никто не трогал книги. Это было свято, как памятник. На другой стороне улицы валялись отброшенные взрывной волной журналы. Я поднял уцелевший «Огонек» за 1927 год. Здесь была напечатана заметка: «Профессор Пенсильванского университета США Тиндаль Франк опубликовал прогноз столетнего развития науки, предусматривающий: увеличение средней продолжительности человеческой жизни до ста лет; быстрое и радикальное излечение рака и артритов; кругосветное путешествие в двадцать четыре часа в условиях полной безопасности; серийное производство радиопередатчиков и приемников, а также телевизоров размером с обыкновенные карманные часы; путешествие на Луну на аппарате межпланетного сообщения; сохранение женской красоты до старости; открытие безвредных возбуждающих средств, которые будут вызывать в людях доселе неизвестные ощущения наслаждения». — Останин откинул край полотенца, нависший на лоб. — «Где вы теперь, профессор Тиндаль Франк? Мы не гадали на сто лет. Мы рассчитывали на пятилетки. Это ближе и точнее. Мы знали, что есть фашизм и он рвется к войне. Так и случилось. Жаль, что не дойдет до вас письмо снайпера Томилиной. Она писала: «Дорогая, незнакомая подруга! Это письмо я пишу тебе из героического Севастополя. Оно, мое письмо, так же сурово, как и город. Дорогая незнакомая подруга, это письмо несет тебе горе, но я выполняю последнюю просьбу твоего друга Геннадия Годыны. Твой друг погиб. Проклятая пуля оборвала его жизнь. Он умер героем. Друг Геннадия нес для тебя его последний привет, последние слова, но вражеский снаряд оборвал и эту молодую жизнь. И вот среди крови и обугленной земли я нашла окровавленный клочок бумаги и разобрала несколько прощальных слов, написанных рукой умирающего Геннадия...

Дорогая незнакомая подруга! Я не знаю, где находишься ты. Если ты не на фронте — иди на фронт. Возьми винтовку и отомсти за смерть друга. Иди на наш героический Севастопольский фронт. Я покажу тебе могилу Геннадия. Иди к нам, ты отомстишь. Нас много, женщин на фронте, и почти у каждой свое горе. И это горе удесятерит силы и зовет к беспощадной мести. Вче-

ра я видела восьмилетнего мальчика с оторванными рядом ногами. Его несли санитары, а обезумевшая мать искала среди развалин его ножки...

Ты посмотришь на наших героев, и у тебя пройдет страх. Ты увидишь, как спокойны и суровы лица людей сражающегося Севастополя».

Вы мечтали, профессор, о сохранении женской красоты до старости. И полагали, что для этого потребуется сто лет. Прошло всего четырнадцать лет, и мир увидел эту невиданную красоту. Ей вовек не померкнуть, никакие годы не властны затмить ее».

Останин кончил читать. Он ничего не спросил, потому что сам был взволнован.

— Можно еще одну запись?

— Читай.

— «...В планшете лейтенанта Маркина лежало завешание. Оно было написано на синем листке обложки школьной тетради, на тыльной стороне которой чернели столбики таблицы умножения.

«Товарищ комиссар Соловьев!

В Тульской области есть деревня Ньюховка (нехорошее название). Я хотел бы, если погибну героически, а иначе свою гибель не представляю, так как буду сражаться до последнего вздоха за уничтожение фашистских гадов, то передайте моим землякам, чтобы эту деревню назвали Николаевка или Маркино. Ведь мы все братья — командиры РККА и ВМФ, и вполне, кажется, этого заслужили. Передайте моей жене — пусть вырастит достойных патриотов нашей Родины. Хочу, чтобы Юрий и Слава были авиаторами. Юрий — летчиком, Слава — штурманом. Летали бы на одном самолете. А дочь Светлана пусть учится на врача. Капитан Н. Маркин».

Останин отложил тетрадь и стал сгребать ладонями сухой сыпучий песок.

— Я хочу рассказать о войне через «частную жизнь» фронтовиков. У каждого из них было что-то свое, личное. История проникла в их души, оставляя зримые следы. Мне надо сохранить в своих рассказах документальный оттиск Времени. Как-то на одной из встреч у нас в редакции Илья Эренбург говорил: «Я бы печатал рассказы бывалых людей как репортаж, без всякой правки. Слишком мы усердствуем редакторским гребешком и ножницами. И получается: стрижено-брито... А люди-то все разные...»

— Столько лет прошло, а ты, Андрей, все свои сокровища выдерживаешь. Почему? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Потому и выдерживаю, что до сих пор не убежден: сокровище ли это?

— Господи, другие такое печатают...

— Слабое утешение, Митя. К счастью, я не тщеславен.

Хромов проснулся, едва темнота стала терять свою плотность. Он повернулся к стене, где висел портрет Глаши, и тихо признался:

— Тяжко мне без тебя...

Слова растаяли в смутной тишине. И тишина эта больно полоснула по сердцу. Хромов беспомощно топтался по сосновым половицам и никак не мог преодолеть горечь безмолвия. Словно ушла Глаша только вчера, и окаянная одинокая жизнь коснулась Хромова впервые.

Он встрепнулся, услышав в коридоре тихие шаги. Значит, Дмитрий Николаевич поднялся — у Останина шаг пружинистый, ходкий. И Хромов заторопился во двор на кухню готовить завтрак.

По утрам он прежде всего ставил самовар, всегда блестящий медальной грудью, — его он чистил зубным порошком.

Солнце погляделось в самоварное зеркальце. День обещал быть ведренным и жарким.

Хромов вышел из погребка с тарелкой творога, посмотрел на реку. Там, не сняв халата, бродил по берегу Дмитрий Николаевич. И, не сдержавшись, Хромов крикнул ему:

— Дмитрий Николаевич! Да скиньте вы халат! И айда на тот берег! Погоняйте кровь как следует. Разве можно так! Я Андрею Василичу пожелаю!

— Вот он я, — отозвался Останин, вышедший на крыльцо. — В чем дело?

— Не был Ярцев таким! — Хромов подбежал к крыльцу. — Неужто нельзя помочь? Что за хворь привязалась?

— Все от усталости... Пройдет.

На велосипеде подъехала к калитке почтальонша Катя — зардевшаяся, с капельками пота на лице. Пе-

редала Хромову письмо для московского профессора. Так она величала Ярцева, хотя прекрасно знала, как его зовут. И тут же, вскочив на седло, умчалась.

Хромов взял конверт.

— Может, хоть это его обрадует?

Пришел Дмитрий Николаевич, взял письмо.

«Здравствуй, Митя! — Строчки были написаны размашисто, торопливо. — Целую вечность не беседовала с тобой. Даже не знаю, смогу ли обо всем написать. Хочу отправить письмо немедленно.

Тебе надо ехать в Берлин. Важное, неотложное дело!

Сегодня утром звонил профессор Вальтер Грюнвальд. Я сказала, что ты в отпуске. Спрашивал, когда вернешься. Тебя приглашают к ним в клинику. Предстоит сложная операция. Так он сказал. Тебя ждут. Операция намечена на двадцать первое августа.

Что мне ответить?

Если сможешь, позвони. Если трудно, пришли телеграмму.

По-моему, Грюнвальд бывал в Москве. И ты встречался с ним. Вспомни, как повторял его фразу: «Я вас лублу, а вы ничего».

Хотела закончить письмо, но уж ладно, открою секрет. Каждые три дня Андрей присылает мне открытку. В ней ровно пять строк. Но информация — емкая. Пишет он мастерски. «Светлое. (Наш. корр.) За истекшие семьдесят два часа вес не изменился. Настроение по шкале Рихтера три балла. Читали Чехова и Останина. Чехов лучше. Состоялся рапирный бой на тему: «Что может человек?» Решено проверить лично. Хромов на высоте. Сенсация: учимся играть на гармонии. Самоучитель не присылай».

В первой открытке Останина был микрорассказ. «Мадам Ярцева, — сообщил врач, — вашему мужу требуется покой и отдых. Вот успокаивающие таблетки. Вы, мадам, их будете принимать четыре раза в день».

Митя, прошу тебя, не проговорись, иначе пропадет мой единственный источник информации. Конечно, если тебе захочется поблагодарить друга, можешь разоблачить меня. Надеюсь, у Андрея хватит доброты, чтобы продолжать начатое. Тем более что мы скоро увидимся. Я так думаю.

Получили письмо от Скворцова. Сейчас он отдыхает на озере Иссык-Куль. Спрашивает: есть ли у нас жела-

ние посмотреть это дивное место? Если хотим, то можно организовать поездку. И еще он признался, что написал занятные воспоминания о людях дивизии, где, между прочим, несколько страниц посвящено Дмитрию Ярцеву.

Совершенно неожиданная встреча произошла у меня с врачом Раисой Григорьевной Покровской. Возможно, ты забыл ее историю. Но она ничего не забыла и благодарна судьбе, которая свела ее с тобой. Припомни — была такая девушка Рая, которая работала в больнице медсестрой. Три года подряд она поступала в медицинский институт и каждый раз оставалась за бортом. Рисковала поступать снова. И опять недобрала одного балла.

Когда приемная комиссия обсуждала ее кандидатуру, ты отдал свой голос в защиту Покровской. Тебя спросили: «Это ваша родственница?» Ты ответил: «Нет. Я ее в глаза не видел. Но от такой родственницы не отказался бы. Ее следует принять за верность профессии и мужество». И комиссия согласилась. Раиса успешно закончила институт и теперь работает в нашей районной поликлинике. А ты про эту историю никогда ни слова.

Кстати, про институты — в историко-архивный огромный наплыв. Четыре человека на место. Марина прошла собеседование. Но поступит ли — неизвестно... Ну, вот как расписалась, пора остановиться.

Митя, родной мой! В последнее время я часто произношу слово «надеюсь». Так вот, я очень надеюсь, что все у тебя будет хорошо. Сердечный привет Андрею и Хромову. Целую. Елена».

Дмитрий Николаевич подошел к Останину, раздраженно произнес:

— Кто бы мог подумать, что ты и здесь исполняешь роль корреспондента.

— Не знаю, Митя, чем вызван твой гнев. Но готов стерпеть. Что случилось?

— Прочти сам.

Останин, с профессиональной быстротой пробежав письмо, воскликнул:

— Ну, женщины! Была тайна, и нет! Ай-яй, Елена Сергеевна, как плохо!

— А быть внештатным надзирателем за мной?

— Грешно. Каюсь... Но это все неважно, Митенька! Тебя ждут в Берлине! Это прекрасно! Ждут профессора Ярцева! Вот это новость, — распалялся Останин. — Такой день забыть нельзя! Я бы сейчас даже выпил! Шампанского!

Дмитрий Николаевич проговорил тихо, словно прислушиваясь к каким-то своим мыслям.

— Мне страшно ехать в Берлин. — Он медленно протянул руку, пальцы заметно дрогнули. — Видишь?

— Ну и что?!

— А вдруг не смогу?

— Сможешь! — взорвался Останин. — Если не сможешь сейчас, то вообще забрось скальпель! Он не понадобится тебе никогда! Ты, Митя, сам отрекаешься от того, что далось тебе таким трудом, дорогой ценой! Ну, я прошу тебя, давай разберемся! Так получается, что эта поездка — еще одно испытание. Да, может быть, самое трудное. Но ты должен его выдержать, должен остаться Ярцевым! Хорошо, что этот день наступил теперь. Дальше было бы хуже.

Дмитрий Николаевич прикусил губу, снова посмотрел на свои руки и с искренней болью сказал:

— Но я же не смогу, Андрей! Если капля страха на мгновение парализует руку, это мгновение станет для меня роковым. Я не имею права рисковать.

— И все-таки, Митя, ты должен поехать! Я понимаю, жизнь экзаменовала тебя достаточно. Но нельзя сейчас отступать! Нельзя! Может, это и есть пик твоего восхождения? Конечно, куда проще отказаться от поездки... Но ты не имеешь права!

— Сейчас я могу принять только одно решение: отказаться от поездки.

— Струсил?

— Это честное решение.

— Но это ответ человека, который сдался без боя! Неужели тихое поражение не доконает тебя? Тебе же не простит этого Сивка-бурка...

— Не могу я, Андрей. Не могу!

— Давай поставим так вопрос: хочешь или не хочешь ехать?

— Хочу.

— Сможешь оперировать или нет?

— Нет!

— Теперь давай сближать полюса. Когда Ярцев хотел, он всегда говорил «да»! И еще, Митенька... Психические состояния весьма изменчивы, ими можно управлять! Это не я, это Ганнушкин говорил!

Подошел Хромов:

— У людей скоро обед, а мы без завтрака топчемся.

— Сейчас, Афанасий Мироныч. Разговор очень важный. Важнейший!

Останин шагнул к Дмитрию Николаевичу, заглянул в глаза и, обняв за плечи, сильно встряхнул.

— Неужели так и будешь на коленях? В мире сейчас август. Птенцы поднимаются на крыло. Может, и тебя этот август окрылит... Отчаяние не вознаграждается, Митя, а обрекает. В этом я узрел пафос письма Елены.

После завтрака Дмитрий Николаевич спустился к речке и кружной дорогой пошел в совхоз, где было отделение связи. Он отправил Елене телеграмму, в которой сообщил, что поехать в Берлин не сможет.

Обратно возвращался совершенно опустошенным. Шел медленно, почему-то озираясь, словно боялся сбиться с пути, заплутать в знакомом леске.

Вдруг лицо его покрылось холодной испариной. Чувство стыда захлестнуло с такой силой, что он застонал.

И тогда, не давая себе возможности передумать, Дмитрий Николаевич повернулся и побежал в отделение связи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Знакомство с личным делом профессора Ярцева, которое внимательно изучил следователь Ледогоров, убедило в полном благополучии служебных характеристик и анкетных данных.

Внимание Вячеслава Александровича привлекла находившаяся в деле короткая рекомендация, подписанная командиром стрелковой дивизии генерал-майором Л. А. Скворцовым. Он писал:

«Не будучи специалистом в медицине, все же считаю своим долгом рекомендовать Дмитрия Николаевича Ярцева на работу в вашу клинику. Знаю его по совместному пребыванию на фронте как храброго фронтового хирурга, который мужественно исполнял свои обязанности с первого до последнего дня войны. В качестве врача дважды участвовал в десантных операциях. Награжден орденами Отечественной войны первой степени и Красной Звезды».

Казалось бы, рекомендация мало что прибавляла к уже известным положительным отзывам о Ярцеве. Они есть в трудовой книжке, характеристиках.

Однако Вячеслава Александровича чем-то насторожил этот документ.

Зачем Ярцеву понадобилась рекомендация фронтового командира?

Стремился попасть в столичную больницу на престижную работу? Видимо, был серьезный конкурс и понадобилась дополнительная поддержка. Просил ли он дать ему рекомендацию? Возможно, просил, а в общем это не имеет существенного значения. Генерал Скворцов мог написать по собственной инициативе. Так... Обратите внимание: «В качестве врача дважды участвовал в десантных операциях». К чему такая подробность? Все имеет определенный смысл. Иначе генерал Скворцов мог написать: «Участвовал в двух десантных операциях». Этого вполне достаточно, чтобы характеризовать его как отважного человека.

Вячеслав Александрович переписал текст рекомендации в свою записную книжку и поехал в прокуратуру. Он вызвал секретаря Люсю и попросил установить адрес генерала Скворцова Л. А.

— Затем узнайте, пожалуйста, в каком военкомате состоит на учете... — Тут он оборвал себя, сообразив, что справку о Ярцеве лучше навести самому, и добавил: — Нет, не надо, пожалуй, все!

А когда Люся вышла, он вынул из сейфа дело Ярцева и, прочитав адрес на его заявлении, позвонил в справочную, где ему сообщили телефон районного военкомата.

Вячеслав Александрович рассудил так: если генерала Скворцова уже нет в живых, тогда следует через военкомат получить подробные данные о прохождении воинской службы и участии Ярцева в Отечественной войне. Скорее всего, решил он, придется запрашивать армейский архив, вернее, самому съездить в Подольск и отыскать личное дело Дмитрия Николаевича. Так или иначе, к этим годам его жизни надо отнестись повнимательней.

Вячеслав Александрович снова вызвал Люсю.

— Наведите справку в Ленинской библиотеке, публиковались ли мемуары комдива Л. А. Скворцова? Если да, запросите эту книгу.

Поиски Скворцова Люся повела сразу в трех направлениях: через Министерство обороны, Военную прокуратуру, Комитет ветеранов войны. Сделала она и чет-

вертый запрос — в адресный стол Москвы. Ей почему-то казалось, что генерал Скворцов живет в столице.

Она составила списки телефонов, по которым следует позвонить в пятницу утром.

Уже к полудню в пятницу Люся поняла, что прежний список с телефонами ей больше не нужен. Теперь появился листок с иногородними номерами, среди которых, возможно, есть и номер генерала Скворцова.

Люся была студенткой-заочницей юридического факультета, мечтала стать следователем и всегда радовалась, если Вячеслав Александрович давал ей задания, связанные с поиском людей или каких-то справочных данных. Она увлеченно выполняла поручение, ощущая свою причастность к важной работе.

В тот день ее звонкий голос слышали в Иркутске и Ялте, Воронеже и Риге. В шестнадцать сорок пять на листке появился принадлежавший Скворцову номер телефона в Дмитрове.

Заказав срочный разговор, Люся открыла атлас и нашла городок Дмитров — в семидесяти километрах от Москвы.

Еще через двадцать две минуты чей-то простуженный баритон сообщил, что Леонид Алексеевич Скворцов уехал в Киргизию и вернется через месяц, не раньше.

Люся не стала говорить, что им интересуется следователь по особо важным делам, — об этом она упоминала в крайних случаях, — а просто сказала: «Его спрашивает секретарь товарища Ледогорова».

Уточнить адрес Скворцова не удалось. Простуженный баритон устало ответил: «Генерал отдыхает где-то на берегу озера...» Потом в трубке послышался сильный кашель, и наконец она уловила: «Там какой-то санаторий...»

Люся сразу вспомнила про Иссyk-Куль и решила вести поиск Скворцова в этом районе. Она позвонила в Министерство здравоохранения, где получила справку о санаториях, расположенных на побережье. Их оказалось четыре. Тогда она связалась с прокуратурой республики. Через полчаса ей сообщили телефоны санаториев.

В двух санаториях Скворцова не оказалось. Третий звонок был в здравницу «Голубой Иссyk-Куль». Сестра-хозяйка подтвердила: генерал Скворцов в девятой комнате.

Люся хотела переговорить с генералом, но это уже выходило за рамки поручения, и она пошла докладывать Ледогорову.

Он разговаривал с кем-то по телефону. Люся подошла к аквариуму. Две красноперые рыбки подплыли к стеклу, поглядели на ее новое платье, красиво облегавшее изящную фигурку, и тут же уплыли — ничего они не понимали в женской красоте.

Вячеслав Александрович положил трубку.

— Можно доложить по поводу Скворцова? — спросила Люся. — Проживает в Дмитрове. В настоящее время находится в санатории «Голубой Иссык-Куль». Вот его телефоны, адрес. — Она положила листочек. — Как мне сообщили, приедет только через месяц.

— Люсенька, из вас получится толковый следователь. Надеюсь, что мы с вами еще раскусим какое-нибудь сложное дело. — Вячеслав Александрович посмотрел на часы. — Пожалуйста, позвоните Скворцову.

Когда раздался звонок междугородной, Ледогоров взял трубку и услышал: «Говорите, Скворцов у телефона».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Вернувшись в Москву, Дмитрий Николаевич позвонил Ледогорову, сообщил, что завтра уезжает в Берлин проводить операцию. В трубке довольно долго держалось молчание.

— Желаю успеха, — наконец ответил Вячеслав Александрович.

— Я хотел поставить вас в известность, — тоже помолчав, произнес Дмитрий Николаевич.

— Спасибо.

— Я вам нужен?

— Нет, Дмитрий Николаевич. Счастливого пути.

В больницу Дмитрий Николаевич пошел пешком — хотелось повидать улицы, по которым он уже стосковался.

Медсестра Лидия Петровна принесла в кабинет набор инструментария, подготовленный по его просьбе, и накрахмаленный халат в целлофановом пакете.

— В Тулу со своим самоваром, — заметила она, улыбнувшись.

— Привычка...

— Вы не очень торопитесь, Дмитрий Николаевич? Мне бы хотелось поговорить.

— Пожалуйста.

Лидия Петровна говорила тихо, по ее напряженному лицу было видно, с каким усилием она сдерживает волнение.

Она рассказала о том, что уже несколько раз к ней подходила доктор Баранова и настойчиво просила в письменной форме сообщить о случае, когда Крапивка опознал в Ярцеве какого-то преступника. Баранова расценила ее отказ как беспринципность и обвинила в нежелании помочь должным образом отреагировать на происшедшее.

— Я хотела пойти к Борису Степановичу, а потом решила: лучше вам расскажу.

И в эту минуту позвонил главврач, попросил Ярцева зайти.

Едва он вошел в кабинет, как Борис Степанович поднялся с кресла, двинулся навстречу, радушным жестом пригласил профессора за круглый столик. Любезность главврача невольно насторожила Дмитрия Николаевича. Столь почтительный прием свершался только при визитах начальства.

Еще удивительней было то, что Борис Степанович сразу же заговорил о заслугах Ярцева. Со стороны могло показаться, что он произносит речь на юбилейном вечере.

Дмитрий Николаевич слушал и ждал, чем завершится этот хвалебный панегирик. Но главврач на жалел эпитетов, рисуя образ крупного клинициста и ученого.

— Я мог бы продолжить, как говорится, список ваших благодеяний, но... Поверьте, я тоже удивлен и встревожен, Дмитрий Николаевич. Да-да, искренне переживаю за вас. За вашу безупречную репутацию. — Главврач выдержал актерскую паузу. — Сложилось все как-то нелепо, обидно!

— О чем вы горюете? — как можно спокойней спросил Дмитрий Николаевич.

— Ну как же? Неужели не ясно?

— Пока нет.

— Честно говоря, мне так не хочется ворошить эту историю. Я о Крапивке.

— Он был слепым, теперь прозрел, — отчетливо сказал Дмитрий Николаевич.

— А вас — скомпрометировал! Оболгал, оклеве-

тал! — Главврач по-птичь, сбоку смотрел на Дмитрия Николаевича. — Вот уж действительно, чужая душа — потемки! Натворил и уехал. Черт знает какая нелепица! Везде слухи, сплетни, смешки! По всем палатам и кабинетам только и слышишь: Крапивка!.. Ярцев!.. Так, мол, и сяк!.. Что прикажете делать?

— Вам виднее.

— Но, Дмитрий Николаевич, не писать же нам повсюду опровержения!.. Я переживаю за вас. Я понимаю, как вам трудно! Скажу откровенно — я бы не смог перенести эти сплетни. При нашей работе, при необходимости сохранять душевный покой и нервы...

— Вас беспокоит мое самочувствие? Так я вас понял?

— Естественно! И вам решать... А я вас пойму и пойду навстречу!

— Навстречу чему, Борис Степанович?

— Любому вашему решению!

— Подать заявление? По собственному желанию? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Вот уже и обиделись!

— Нет.

— А мне показалось — обиделись!

— В какой-то мере даже благодарен.

— Ну, слава богу. Я ведь по-человечески, по-дружески, Дмитрий Николаевич. Хотя по должности и обязан, но не желаю в этих слухах разбираться. Ну их к бесу! Надо сохранить вашу репутацию, вашу работоспособность. Это главное. Да и, в конце концов, свет клином не сошелся на нашей клинике. Пусть будет хуже для нее!

Дмитрий Николаевич улыбнулся.

— Был у человека гепард. Он без промаха брал любую дичь. Случилось, что гепард ослеп. И лишился человек легкой добычи. Тогда друг его посоветовал: привяжи ему на голову кошку и натрави на дичь. Кошка будет смотреть, а гепард ловить.

— Занятно, — тоже улыбнулся главврач. — Только к чему сия притча?

— Вы уж сами разберитесь с доктором Барановой, кто гепард, а кто кошка... Я не подам заявления об уходе.

Раздался приглушенный телефонный звонок.

— Слушаю... Да, да... Здравствуйте, Всеволод Савельевич, — почтительно произнес главврач. — Разу-

меется. Все немедленно передам. — Он положил трубку и, не сумев погасить удивления, застывшего в глазах, сообщил Ярцеву: — В Берлине вас будет встречать Бальтер Грюнвальд. Странно... Узнаю о вашей поездке от начальника управления.

— У вас свои заботы....

Неожиданный звонок озадачил главврача. Он еще не знал, как вести разговор дальше, растерянность мешала ему сосредоточиться, но он явно почувствовал, что допустил какой-то просчет, и теперь изо всех сил старался собраться с духом, чтобы смягчить неловкость своего положения.

— Надо же, в такое время... Когда нарушен ваш покой и нервы... Я понимаю, как вам будет трудно.

Дмитрий Николаевич хотел ответить ему, но сдержался и вышел из комнаты.

Главврач почему-то со злостью посмотрел на телефон.

«Кто мог знать, что все так обернется, — думал он. — Надо было молчать. И как это угораздило меня? А теперь один путь: собирать черепки. Склеивать. — И повторил вслух: — Склеивать».

Потом Дмитрий Николаевич поднялся на четвертый этаж и, узнав у дежурной сестры, где лежит летчик Белокуров, направился к нему. Вдруг вспомнилось то злополучное заседание, когда главврач хотел уволить Ручьеву.

«Не человек, а компьютер, — подумал Дмитрий Николаевич. — Всегда говорит только правильные слова. Невозможно представить, что он разволнуется, совершит какую-нибудь ошибку. Например, пожалеет человека. Грубую ошибку — пожалеет и поможет... Грубейшую — пожалеет и защитит...»

Летчик приподнял голову — правый глаз у него был забинтован.

— Извините, не узнаю.

— Мы с вами еще не познакомились. Моя фамилия — Ярцев.

— Профессор... Дмитрий Николаевич?!

— Лежите. А где же сосед Денис?

— В шахматы играет. У него порядок. Через неделю домой. Счастливый!

— А вы как? — Дмитрий Николаевич нажал кнопку, вызывая сестру.

— Раз вижу сына Никитку — прекрасно. Десятого последняя операция. Жена говорит, в рубашке родился.

Дмитрий Николаевич отошел к противоположной стене и, приложив к ней газету, попросил прочитать заголовки.

— «Мелодии друзей».

— А рядом?

— «Крылья на пьедестале».

— Хорошо. А над фотографией?

— «Встреча в порту».

В палату вошла Ручьева. Остановилась у двери, — вероятно, никак не ожидала увидеть Ярцева.

— Если вы не возражаете, я посмотрю больного, — сказал Дмитрий Николаевич.

— Конечно, конечно!

Ручьева торопливо подошла, стала снимать повязку.

Дмитрий Николаевич вынул из желтого замшевого футляра лупу и начал осматривать глаза.

Ручьева стояла рядом, положив руку на плечо летчика, словно оберегая от боли.

Прощупав висок, надбровную дугу, Дмитрий Николаевич спросил:

— Бывают острые вспышки покалывания?

— Уже нет, — на одном вздохе ответил Белокуров.

— Стало быть, после вмешательства нейрохирургов воспалительный процесс прекратился. Так, Ирина Евгеньевна?

— Да. Сейчас готовимся к последней чистке.

— Ну что ж, жена ваша права — вы в рубашке родились, — сказал он Белокурову. — А когда вновь взлетите, не делайте круг почета над больницей. Договорились? Ирина Евгеньевна у нас человек тихий и скромный...

В его кабинете было душно. Он открыл окно, впустил городской ветерок с запахом бензина и асфальта. Зазвонил телефон.

Дмитрий Николаевич поднял трубку, не подозревая, что услышит голос Вадима Дорошина.

— Здравствуй, — сказал он. — Спасибо. Хорошо. Как твои дела?

Дорошин довольно сбивчиво заговорил, что множество раз названивал Дмитрию Николаевичу и на работу, и домой. Хотел написать, но не знал, где Дмит-

рий Николаевич отдыхает. Накопились всякие делишки, и есть неотложные. Вот, например, как быть с Мариной? Судя по всему, ее не примут в институт, не получила проходного балла. А у него есть возможность подключить одного товарища...

— Не стоит, — прервал его Дмитрий Николаевич. — Если Маринка не поступит, особенной трагедии нет. В следующий раз будет серьезней готовиться.

— Смотри, тебе видней, — ответил Дорошин, чувствуя, что разговор не клеится.

Прозвучали еще какие-то малозначительные фразы, и никто не сказал: «Надо бы повидаться»...

Закончив дела в больнице, Дмитрий Николаевич поехал в магазин «Подарки» купить сувениры для немецких коллег.

Домой он вернулся усталый, бухнулся в привычное свое кресло и только тогда почувствовал, каким напряженным был этот день.

Подошла Елена и, ни о чем не спрашивая, села напротив.

Они молча смотрели друг на друга.

Чутьем, какое бывает у любящих женщин, Елена поняла, что он сейчас переживает.

— Митя, вещи я приготовила, уложила в чемодан. Кажется, ничего не забыла.

Он поднялся и поцеловал ее в глаза.

— Знаешь, Митя, ты едешь в счастливый день.

— Да?

— Ты забыл?.. Завтра годовщина нашей свадьбы.

— Господи! Как же я... Прости, Леночка! Завтра мы отпразднуем! Соберем гостей! Нет, нет, все надо по-другому! Мы будем вдвоем. Пойдем в ресторан, сядем за тот же столик, где я просил твоей руки. Согласна?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Скворцов глянул на удостоверение Ледогорова и произнес, не скрывая иронии:

— Что ж я натворил, если ко мне следователь из Москвы прилетел? — Он с прищуром посмотрел на Вячеслава Александровича. — В мой-то семьдесят вредно волноваться.

— Неужели семьдесят? — вежливо поразился Вячеслав Александрович. — Шестьдесят, больше не дашь.

— Бери. С удовольствием.

— Как отдыхаете?

— Спасибо, отлично. — И, улыбнувшись, вспомнил рекламные строки путеводителя: «Иссык-Куль словно первая любовь. Покинуть можно, но забыть никогда...» Слушаю вас.

— Леонид Алексеевич, вы знакомы с Ярцевым Дмитрием Николаевичем?

— Сразу отвечать или потом на все вопросы?

— На этот вопрос я хотел бы услышать ответ сейчас. Может, вы совсем другой Сковорцов.

— Да нет, тот самый... Извольте. Дмитрия Николаевича знаю хорошо. Офтальмолог. Доктор медицинских наук, профессор. Не ошибся? Вас этот Ярцев интересует?

— Этот.

— Дмитрий Николаевич в Москве? — поинтересовался Сковорцов.

— В отпуске.

— Обычно он осенью уезжал. Любил эту пору. А нынче... Не знаете почему?

Вячеслав Александрович хотел было сказать «нет», но вовремя вспомнил про десятиклассницу Марину.

— Дочь в институт поступает. Вот и нужен родительский глаз.

— Это верно, — мягко согласился Сковорцов. Он подошел к шкафу, достал бутылку минеральной воды, поставил на круглый столик, покрытый клетчатой салфеткой. Затем принес небольшие стаканчики и, прервав паузу, сказал: — Рекомендую, прекрасный напиток.

Вячеслав Александрович пил маленькими глотками и думал, когда же Сковорцов перестанет деликатничать и прямо скажет: «А что, собственно, случилось с уважаемым Ярцевым? Долго мы в жмурки будем играть?»

Но Сковорцов почему-то не торопился задать главный вопрос, терпеливо выжидал, когда же следовательно сам скажет, зачем пожаловал.

— Вы давно знаете профессора Ярцева?

— С сорок первого года.

— Стало быть, с начала войны? — уточнил Вячеслав Александрович.

— Стало быть, с начала войны, — подчеркнуто повторил Сковорцов. — Видимо, это обстоятельство дало вам повод искать меня. Не так ли?

— Вы правы, — кивнул Вячеслав Александрович.

Тем более уместно вспомнить, что после войны вы рекомендовали Дмитрия Николаевича на работу в клинику.

Скворцов понял; следовательно начал допрос.

— Вот это вы писали? — Вынув из портфеля рекомендацию, следовательно передал листок Скворцову.

Генерал мельком пробежал строчки.

— Точно. Мои слова. Нужно подтвердить? Могу еще раз подписать.

— В этом надобности нет. Дмитрий Николаевич теперь крупный специалист.

— Приятно слышать. Значит, я тогда не ошибся... А листок к чему? Наверное, смущает что-то? Ведь так, Вячеслав Александрович?

— «Смущает» — это слишком громко сказано. Просто следователю иногда полезно знать несколько больше, чем сказано в тексте.

— Простите, больше, чем сказано, может иметь другой смысл. А я имел в виду свой, определенный.

— Как появилась рекомендация? Ее просил Дмитрий Николаевич?

— Нет. Он даже не знал про нее. Я сам принес ее главному врачу.

— Вам Ярцев говорил, что ведет переговоры о работе в клинике?

— Разумеется.

— Зачем было скрывать от него? Как это понять, Леонид Алексеевич?

— Ярцев — человек шепетильный. Привык всего добиваться сам. Кажется, про бумажку мы все обговорили?

— Все обговорить, конечно, не удалось, — заметил Вячеслав Александрович.

— Опять ищите иной смысл? Так мы с вами на одном месте топтаться будем. Скучное занятие. Словно новички на стрельбище. Все пуляем мимо мишени. Пожалуй, самое время определить цель. Кто есть кто? И как изволите понимать наш разговор? То ли идет допрос обвиняемого, то ли в свидетели меня зачислили? Проясните обстановочку, Вячеслав Александрович! Опыта в этой области, к счастью, не имею.

У Ледогорова, конечно, была трудная миссия. Он мог бы сразу рассказать о том, что привело его в санаторий «Голубой Иссык-Куль» и нарушить отдых Скворцова. Но процесс следствия до определенной поры не позво-

лял ему раскрыть все происшедшее с Ярцевым. Была у него иная задача. И он стремился обходить острые углы в разговоре с генералом. Однако наступил момент, когда Скворцов потребовал от следователя ясного ответа, по какому поводу он дает показания.

И Вячеслав Александрович, поняв, что все возможности отвлеченных рассуждений исчерпаны, сказал:

— Леонид Алексеевич! Вы не обвиняемый и не свидетель. Как видите, я не веду протокол, не предупреждаю вас об ответственности за ложные показания. Мы просто беседуем. Почему интересуемся Ярцевым?

— Именно это меня волнует! — резко произнес Скворцов.

— Так случилось, что прокуратура вынуждена сейчас вернуться к расследованию одного дела, которое разбиралось тридцать пять лет назад.

— Стало быть, в тридцатом году, — заметил Скворцов.

— В этом давнем, сложном деле упоминается один молодой человек. Есть предположение, что это Ярцев. Тогда ему было восемнадцать лет.

Скворцов тяжело вздохнул, но промолчал.

— Представляете, — продолжал следователь, — как трудно пробиваться сквозь толщу времени, вести следствие, устанавливать истину. Поэтому мы хотим как можно больше узнать о Ярцеве. Ведь следователь обязан выяснять не только уличающие, но и оправдывающие и смягчающие вину обстоятельства. В личном деле профессора я увидел вашу рекомендацию. Поэтому я здесь. Уверен, что вы, Леонид Алексеевич, как раз тот человек, который понимает меру моей ответственности за результат следствия. Можете на мои вопросы не отвечать. Ваша добрая воля...

Скворцов слушал сосредоточенно. Когда Ледогоров умолк, он неожиданно поднялся, вышел на балкон, посмотрел на серебристую гладь озера и тут же отвернулся, будто оно было причиной печали. Но увиделось ему другое озеро, задымленное, грохочущее взрывами... И катер, на котором ушел в десант Ярцев.

Скворцов вернулся в комнату, отхлебнул воды.

— Горькую весть вы обрушили на меня... Не могу я молчать... Наверное, я все-таки счастливый человек, — с тревожной надеждой рассуждал Скворцов. — Благодарю судьбу, что дожил до сегодняшнего дня и могу рассказать следователю по особо важным делам о

Дмитрии Николаевиче Ярцеве. Не верю, понимаете, не верю! Может, там однофамилец? Хорошо, что вы меня нашли. Вы хотите побольше узнать о Ярцеве? Я вам про войну расскажу. Думаю, будет полезно.

В эту теплую ночь, томительно долгую и печальную, впервые все время горел свет в комнате санатория, где жил Скворцов.

Он говорил тихо, иногда умолкал, задумчиво хмурил лоб, вспоминая события давних лет.

— На фронте все на виду: кто смел, а кто оробел. И вот случилось, что я сам попал к Ярцеву под нож. От ран бог миловал, а от аппендицита не уберег. Знаете, было даже неловко признаться, из-за чего в госпиталь попал. Хотя мудрая санитарка Мартыанова считала: раз штатская хворь прицепилась, значит, скоро конец войне. Но до той победной поры еще далеко было... — Скворцов вытер капельки пота со лба и продолжал: — Все обошлось. Вскоре я снова был в строю. Но доктора Ярцева из виду не потерял, то и дело слышал о нем. Его, между прочим, окрестили Сивкой-буркой. Под Луневкой мы отходили, несли потери. Так он впрягся в телегу и вместе с медсестрой вывез четырех раненых. Потом был случай — выговор ему влил. Шофера моего — он на «виллисе» ездил — истребитель атаковал. Ногу прошил. Я звоню в санбат, спрашиваю, где Ярцев? А мне докладывают: «Он с санитарями на передовую уполз, раненых подбирать». Ну, думаю, я тебе покажу! Приказал: «Немедленно прислать на КП». Приходит — едва живой от усталости. Я говорю: «Твое дело — операционный стол, людей штопать! А ты что? Попадешь снайперу на мушку, где я хирурга возьму? Они на вес золота!» Распекаю, а он вздыхает, морщится. Вижу — не согласен. «Ну, скажи, я не прав?» Отвечает: «Нет, все правильно. Только у каждого, кроме обязанностей, есть и свой долг. У кого маленький, у кого побольше, но у каждого свой». Я эти слова запомнил. Потом дважды Дмитрий Николаевич участвовал в десанте. Про первый я узнал с опозданием, про второй — накануне. И приказал — запретить! Передали ему приказ. Думаю, все в порядке. Где там! Ушел с десанниками... Пришлось опять распекать. «Долго ты в герои будешь лезть? Если достоин — Звездочка сама тебя найдет! Ты скажи — кому на тебя жаловаться: отцу, матери, жене? Может, найдется управа на твою голову, ежели комдив для тебя ноль без палочки!» А он гово-

рит: «Никого нет, один я». Не знаю почему, но я тогда вспомнил его слова: «У каждого свой долг», и спросил: «Тебе очень нужно лезть под пули?» Он, не задумываясь, ответил: «Нужно!» Мне показалось, что в его глазах мольба, что ли... Когда он уходил, лицо его просветлело. Таким Ярцев был на фронте.

Скворцов выдохнул, словно поставил точку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

До отправления поезда Москва — Берлин оставалось двадцать две минуты.

Вдоль состава у распахнутых дверей вагонов чинно стояли проводницы в форменных черных костюмах. Они с достоинством ожидали пассажиров.

Дмитрий Николаевич и Елена вошли в купе.

Крахмальной белизной сверкнула салфетка, покрывавшая столик, и сразу чем-то напомнила операционную.

Мысли мгновенно увели его в неведомую немецкую больницу, и он увидел себя там, перед стеклянной дверью, на которой нарисованы три красных круга. Они пламенели, как огонек светофора, запрещающий вход.

— О чем думаешь, Митя? — спросила Елена, заметив его остановившийся взгляд.

— Чушь всякая лезет в голову... Пойдем на воздух.

Они вышли из вагона и стали прохаживаться по платформе, где с каждой минутой становилось все светлее.

— Ты почаще звони! Нет, лучше сообщи телефон в гостинице. Я сама буду вызывать. Ладно, Митя?

— Хорошо. Интересно, кто со мной в купе поедет?

— Какая разница?

— А вдруг — прекрасная дама?

— От души желаю тебе такой спутницы.

— Вот как! Раньше, Леночка, ты все-таки ревновала.

— Значит, поумнела, Митя. К старости поумнела.

Прибежал чуть запоздавший Останин. Он был в приподнятом настроении.

— С удовольствием бы сам прокатился! — сказал он. — Когда попадаю на вокзал в роли провожающего, завидки берут!

— Скоро уgomонишься, бродяга? — Елена по-детски радовалась веселой болтовне.

Останин передал Ярцеву бутылку коньяка, посоветовав опустошить посуду с немецкими коллегами и непременно передать им, что непутевый друг загадал на этот сувенир. Потом с ухмылкой напомнил о покупке ваксы — чтобы солнце играло в его начищенных штиблетах.

— И еще, Митя, — сказал Останин, — тебя станут спрашивать, в чем секрет твоего мастерства. На этот случай предлагаю байку. Был один капитан дальнего плавания. Каждый раз перед выходом в рейс он поднимался на капитанский мостик и заглядывал в какую-то бумажку. Как в молитвенник. Все знали про этот ритуал, но никто не ведал, что написано в бумажке. Капитан умер в одночасье. Решили узнать его секрет, вынули таинственный листок. Там было написано: «Впереди — нос, позади — корма». Вся капитанская премудрость. Воспользуйся.

Ушел поезд. Останин проводил Елену домой.

— Для меня не припас новостей? — спросила она по дороге. — Может, найдется пять строчек?

— Теперь мы уравниались. Ты знаешь все. Пожалуй, даже больше. Ты рядом с ним.

— Как там все будет? — вздохнула Елена.

— По-моему, этот вопрос возник очень давно. Когда Митя приступил к первой операции. Ты слышишь меня, Лена? — Он почувствовал ее тревожную растерянность.

Елена молчала.

— Сколько раз с той поры он мысленно произносил слова: «Жизнь хирурга — непрерывный бой».

— Но... Ты только представь... Если... Ведь это же особый случай!

Останин прервал ее:

— В тот самый момент, когда Митя взял себя в руки и решил ехать в Берлин, случай утратил свою особенность. Он стал для него очередным боем... Почему ты не веришь? Разве профессор Ярцев может провести операцию ниже уровня своего мастерства?

— Только не стервенись, Андрей. Я готова к самому худшему.

— Вот! Вот! — воскликнул Останин. — Уже готовилась к худшему! Если Митя не будет уверен в себе, он не переступит порога операционной!

— Но это будет поражением.

— Не надо, Леночка, до схватки говорить о ее исходе! Неужели профессор Ярцев рискнет жизнью человека?

— Никогда, — почти шепотом произнесла Елена.

— Все! Круг замкнулся. Ответ найден! Один мужественный шаг дороже потока слов. Митя сделал этот шаг. Я говорю с тобой и чувствую, что все мои слова причиняют тебе боль. Но я не могу лгать. Я сам прохожу через горе. И если уж хочешь знать, то ставлю свое «друг» рядом с твоим «жена».

Елена не сразу оценила признание Останина. Что-то смутное пронеслось в ее сознании, кольнуло самолюбие и женскую гордость, но вдруг она с пронзительной ясностью обнаружила величие простого, будничного понятия — друг. Господи, подумала она, а ведь мог Останин дрогнуть перед шквалом... Ведь мог? И она расплакалась от прилива чувств, благодарная Останину, который ничего не совершил, а только остался добрым человеком.

Марина еще не спала. Услышав щелчок замка, вскочила с постели и, накинув халатик, вошла в столовую.

— Проводила папу?

— Все хорошо.

— Почему так поздно?

— Останин уговорил пройтись.

— Хочешь спать?

— Нет.

— И мне не хочется.

Елена Сергеевна рассказала, как балагурил Останин, провожая отца.

А Марина, слушая, улавливала волнение матери и все хотела и не решалась спросить, не скрывает ли та что-нибудь, но промолчала, понимая, что услышит обычное, вроде «все нормально» или «тебе почудилось». И тогда вспомнила разговор с отцом.

— Однажды папа рассказывал, как во время операции ощутил усталость и потерял остроту восприятия. Тогда он отошел от столика и попросил стакан чая. Почти сорок минут он просидел в предоперационной комнате и пил чай. Я запомнила его слова: «В жизни наступает момент, когда следует разобраться, что к чему». Папа этот момент назвал: «Пора стакана чая». — Марина прижалась к плечу матери. — Мне кажется, что у папы сейчас пора стакана чая. Папка стал

совсем другой... И дом наш, где бывало столько людей, опустел. Ну скажи, что это не так, что я ошиблась. Только скажи правду, мама!

Елена Сергеевна знала, что должна будет солгать и что это несправедливо. Дочь имеет право знать правду. Но как расскажешь, если Марина сама оказалась вплетенной в эту историю? Узнай она истину, никогда не сможет простить себе, что горе отца связано с ее поступком...

Надо было наконец ответить дочери. А как?

— Ты ведь знаешь папу... Все переживает в себе. Дело в том, что главврач в последнее время повел себя непорядочно. Папа критиковал методы его руководства. Вступился за хирурга Ручьеву, которую тот хотел снять с работы. В общем, отношения обострились. Освободить профессора Ярцева от работы главврач не может — не в его власти. Тогда он прибег к последнему шагу. Он сказал папе: «Вам лучше добровольно уйти из клиники». Вот до чего дошло.

— Что ответил папа?

— Подробности не знаю. Только догадываюсь, что разговор был крутой. Папа решительно дал понять главврачу, что в его советах не нуждается и оставлять клинику не намерен.

— И я бы так поступила. Папа — достаточно известный хирург, уважаемый человек. Почему он должен терпеть самоуправство? Теперь представляю, как он переживает!

— Страшно другое. Все произошло накануне отъезда в Берлин. Сложная операция... Всякое может случиться...

— Надо бы отложить операцию!

— Нельзя.

— А ведь прав Максим! — вдруг воскликнула Марина. — Как-то мы говорили о жизни, и он сказал: «Самое гнусное преступление — это преступление без параграфа». Понимаешь, мама, оно же неподсудно. Нет статьи! По-моему, поступок главврача именно такой случай... Ну, сказал... Что тут недозволенного? А кто ответит за боль? Чем измерить страдание? Ты знаешь, мама, я пойду к нему и все ему выскажу!

Елена Сергеевна не ожидала такой решительности. Она испуганно посмотрела на дочь и, сдержав улыбку; сказала:

— Не надо. Успокойся. Уверена, что отец не одобрил бы такой поступок.

Марина упорствовала, все более горячась:

— Неужели честь отца могут защищать только чужие люди? А права дочери? Долг дочери? Сколько у нас твердят: отцы и дети! Разве это не самый подходящий случай ответить?

— Понимаю. Все понимаю... Только не надо без отца. Приедет, поговорим. А пока будем ждать, Мариночка. Ждать и надеяться.

Через четыре дня позвонил Дмитрий Николаевич. Сказал, что операция была чертовски трудной и что Грюнвальд — достойный коллега. А в общем, все хорошо, через неделю ждите домой.

Вернувшись в Москву, Дмитрий Николаевич в первый же день пришел в клинику. Был деловит, спокоен, сосредоточен. Сказал Лидии Петровне, что назначает обход. Привычно надел халат, помыл руки.

— Какие новости у нас?

— Особых нет. Писем много, лежат в папке. Вчера Лепешко звонил. Уехал домой.

— Отлично. А Белокуров как? Еще не летает?..

— Ручьева говорила, на будущей неделе выпишет.

— Тоже приятно. Скажите, что я посмотрю его.

Лидия Петровна отважилась, спросила:

— Как прошла операция?

— Знаете, — застеснялся Дмитрий Николаевич, — в моей практике случай редкий. Но совладал! Пришлось поразмышлять. Два стакана чая выхлебал!

— У вас это хорошая примета. Я принесу письма.

Неожиданно появился главврач. И еще от двери сказал:

— Приятно информирован. Все хорошо! Немцы довольны. Иначе и быть не могло. — Он приблизился к столу. — А тут у нас событие важное намечается. Звонили из министерства, просят выступить с докладом. Методологические проблемы современной офтальмологии. И я, знаете ли, рекомендовал в докладчики именно вас...

Дмитрий Николаевич заметил беспокойный, блуждающий взгляд главврача и отвернулся.

— Я подумал, Дмитрий Николаевич, — продолжал тот, — что это всем на пользу.

Дмитрий Николаевич, конечно, мог ответить решительным отказом и на том закончить разговор. Но в нем вызрела потребность сказать ему все, что скопилось в душе. И это не было продиктовано ни мстью, ни причиненной ему болью, а было желанием в свой трудный час не унизить совесть, не разменять ее на некий шанс благополучия.

— Жалко мне вас, Борис Степаныч. Слушаю вас — и не верю. Вы просите поверить в вашу искренность... Трудно. Не могу. Я не стану вас упрекать в двоедушии. Может, память вас подвела. Вспомните, как советовали мне покинуть эти стены. И это я могу простить. Но вы старательно вышибали скальпель из моих рук. Такое не забывается. Это моя жизнь. Вы хотели ее отнять. По какому праву?

— Вы сгущаете краски, — побледнев, ответил главврач. — Был служебный разговор. Может, я и погорячился. Но я пришел к вам. Пришел. Давайте забудем.

— Во имя чего?

Главврач поднялся, похоже, хотел уйти.

— Нет уж, договорим. Давно это было. В районе Владивостока вспыхнула неизвестная болезнь. Диагнозы врачей были разноречивы. Врачи не сдавались, их усилия привели к единому диагнозу: «дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка». Стали искать возбудителя болезни. Возглавил группу специалистов врач Тихоокеанского флота Владимир Знаменский. Наконец удалось выделить от больных микроб псевдотуберкулеза. Возникла проблема: нужны доказательства, что именно этот микроб — причина данной болезни. Единственный способ — провести эксперимент на человеке. А ведь из двенадцати больных погибли одиннадцать. И все-таки Знаменский вводит себе микроб. Он отказывается принимать лекарства, настаивает, чтобы сперва провели лабораторные и клинические исследования.

И подвиг свершился. Эксперимент завершился успешно. А вот финал был неожидан. Нашлись люди, которые сказали про Знаменского: «Очень самолюбив. Так он же на этой болезни диссертацию написал». Разные у нас жизни. Разные истории у меня и у Знаменского. Он совершил подвиг. Но, кажется мне, есть что-то общее у вас и тех, кто поставил свое клеймо на личном деле Знаменского.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Теперь, когда Вячеслав Александрович закончил следствие по делу профессора Ярцева и представил обстоятельное заключение, он признался себе, что предвидел результат, к которому придет. И это совсем не потому, что Вячеслав Александрович принадлежит к приверженцам первой возникшей версии. Наоборот, как бы заманчиво, логично ни было изначально предположение, он старательно разрушал его новой гипотезой, тем самым проверяя прочность добытых доказательств.

В деле Ярцева была очевидна ясность его жизненного пути с момента ухода на фронт в июне сорок первого и по настоящее время.

Но именно эта определенность, исключаящая любое иное толкование, порождала у Вячеслава Александровича особый интерес к тем далеким годам, когда Проклов стал Ярцевым.

Однажды, размышляя о деле Ярцева, он нашел графическое выражение его жизни: пунктир неизвестности переходил в сплошную линию ясных лет.

Он понимал, что увидеть жизнь Дмитрия Николаевича без пунктира будет трудно. Но каждая находка позволит соединить два-три штришка, и тогда прочертится отрезок линии, сближающий разные годы. Какими они были, те, дальние?

Конечно, удачей Вячеслав Александрович считал встречу с генералом Скворцовым. Если бы даже биография Дмитрия Николаевича не содержала ни одного «белого пятна», и тогда без сведений, полученных от командира дивизии, облик профессора Ярцева был бы неполон.

И хотя Вячеслав Александрович отлично знал, что любая неясность толкуется в пользу обвиняемого, он стремился, чтобы добытые факты дали ему право без всяких натяжек укрепить позицию Ярцева, который был откровенен в своем заявлении.

Ледогоров начал с того, что подобрал пяток книг, посвященных строительству Челябинского тракторного завода.

Он не рассчитывал встретить среди передовиков труда имя Митьки Ярцева. Задача была другая. Изучая обстановку, в которой протекала жизнь молодого Ярцева, он имел возможность рассматривать его жизнь в

определенной связи с главным, общим, что сосуществовало рядом.

В книге воспоминаний ветеранов труда Вячеслав Александрович обратил внимание на сноску, которая адресовала читателей к сборнику архивных материалов Челябинской прокуратуры. Здесь были собраны документы, отразившие борьбу с преступными элементами в период строительства завода.

«Неужели здесь я встречаюсь с Ярцевым? — подумал Вячеслав Александрович. — Это уж будет совсем не-кстати». И заказал книгу.

Через три дня Люся, получив ее в Ленинской библиотеке, передала Ледогорову.

А еще через два дня он вписывал в свою общую тетрадь, где был раздел, озаглавленный «И. Проклов», следующие строки:

«Во время вражьей вылазки в пятом бараке был тяжело избит секретарь партиячейки Родион Кравцов. В это время смело проявил себя молодой землекоп Д. Ярцев. Он бросился на помощь Кравцову и оказал сопротивление разнузданным хулиганам».

При всех неожиданностях, которые сопутствуют работе следователя, эта история стала как бы платой за долгие ночи, проведенные за читкой книг.

Невольню вспомнилась первая встреча с Ярцевым. Вячеслав Александрович искренне выражал свое отношение к запоздавшему заявителю. Это был сознательный поступок следователя, который хотел вызвать в душе Ярцева понимание своей личной ответственности. Он требовал от него не признания, оно было сделано, а ждал свершения собственного суда над собой. Только не суда Ярцева над Прокловым, а Ярцева над Ярцевым.

Вячеслав Александрович должен был идти к начальнику отдела. Он еще не знал, успел ли тот прочитать заключение по делу Ярцева.

«Закончилось исследование одной жизни, — подумал Ледогоров. — Началось оно с той страшной ночи и бегства никому не ведомого парня на железнодорожной платформе. А через тридцать пять лет я слышу голос человека, который говорит мне о поездке в Берлин. Туда известный профессор поедет первым классом... Какая же длинная, трудная дорога жизни разделяет железнодорожную платформу, груженную лесом, и вагон международного экспресса!»

Вошла Люся.

— Вас вызывает Шагин.

Вячеслав Александрович взял папку, закрыл сейф, направился к начальнику.

— Прошу разрешения, — как всегда, произнес он.

— Входите. — И без всякого вступления Виктор Павлович спросил: — Вам нравится то, что вы написали?

Вячеслав Александрович не ожидал такого вопроса, скорее был готов к серьезным замечаниям. И потому уклончиво пожал плечами.

— А мне нравится, — сказал Виктор Павлович, почувствовав смущение Ледогорова. — Вы, должно быть, ожидали обычное «согласен» или «не согласен». Ведь так, Вячеслав Александрович?

Ледогоров кивнул.

— Почему мы блюдем наше служебное, функциональное? — продолжал Шагин. — Скажете: строжайшее соблюдение законов, высокая ответственность — это основополагающее. А разве наша документация, ее стиль, язык, палитра психологического анализа не представляют ценности творческой? Во всем этом фокусируется индивидуальность следователя. Ваш документ содержит достоверность, аналитический срез происшедшего, четкую юридическую обоснованность выводов... — Он улыбнулся. — Много неизвестных было в задаче, которую вы решали. Поскольку версии следователя покоятся на интуиции, логике и психологии, могу отметить, что все эти три кита были хорошо задействованы. Ставлю вам пятерку.

— Вы так все разобрали, будто я диссертацию защищал, — сказал Вячеслав Александрович.

— Есть житейский закон, по которому все мы, как правило, опаздываем к возможной удаче. Как вам удалось обойти этот закон?

— Теперь вы ведете следствие по поводу моего следствия...

— Что привело вас к Сковрцову?

— Просчет... Оплотность. Первый раз я прочитал рекомендацию Сковрцова, не придавал ей значения. Во второй раз она у меня вызвала подозрение.

— Почему?

— Помните слова Анатоля Франса: «Наиболее правдоподобно выглядит документ, который подделан...» Подействовала реакция на допущенную мною ошибку.

— А я думал, начнете хвалиться, — усмехнулся Виктор Павлович.

— По-моему, лучше сделать разумный вывод. Честно говоря, встреча с генералом Скворцовым поначалу не сулила никаких открытий. Его жесткие, порой колючие ответы на мои вопросы лишь подтверждали известные данные. Но когда он стал рассказывать о душевном состоянии Ярцева, о его бесстрашной одержимости на поле боя, то я понял — это расплата за Проклова.

— Как появился сборник документов прокуратуры Челябинска?

— Меня больше всего интересовали первые годы его новой жизни. Все началось с Челябинска. И надо было самому окунуться в ту эпоху, дабы понять процесс становления, и упаси бог мерить все только сегодняшними мерками. Я как-то даже прикинул, что это дело на четыре года старше меня самого.

— Любопытно, — заметил Виктор Павлович. — Оказалось, что вы добыли неопровержимые свидетельства.

Шагин разборчивым почерком подписал заключение и сказал:

— Будем докладывать Генеральному...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Не прошло и недели после возвращения из Берлина, как Дмитрий Николаевич сам оказался пациентом больницы. И на долгие дни. Неподвижность, унижительное бессилие. Страх. Боль. Ему все это представлялось нереальным, фантастичным — с такой ошеломительной быстротой его жизнь совершила еще один поворот. Непредсказуемый поворот.

Что вызвало его? Стычка с главврачом? Нет. Как ни странно, Дмитрий Николаевич через день-другой уже перестал думать о ней. И произошло это само собою, как бы даже вопреки его всегдашней трезвости и рассудительности.

В те дни он ощущал какую-то давно забытую беспричинную радость, родственную той, какую ощущает ребенок, с улыбкой просыпающийся по утрам. Все было удовольствием — завтракать в милой его сердцу кухне, прихлебывать чай из большой желтой кружки, поглядывать на Елену и понимать, что она тоже чувствует этот покой, эту необъяснимую радость, а потом

идти пешком к себе в клинику и представлять череду дневных дел, ожидающих его. И знать, верить, что они будут успешны.

Да, иной раз он пытался отрезвить себя. Мысленно повторял, что ничего еще не кончилось — ни расследование его дела в прокуратуре, которое может тянуться и тянуться, а потом прийти к отнюдь не благополучному финалу; ни конфликт с главврачом, если и затихший, то лишь на время, потому что Борис Степанович не так прост, чтобы после первой же стычки сложить оружие, нет, он еще попытается воевать и будет изворотлив, хитер и упорен; ни даже сама операция, проведенная в Берлине, потому что и после удачных, кажущихся безукоризненными операций случаются осложнения... Дмитрий Николаевич твердил себе это, но беспричинная радость все равно не гасла, все равно грела. И дела подвигались успешно.

Может быть, опять был прав Останин, любивший повторять — без лукавого мудрствования, — что жизнь состоит из черных и белых полос, и вот черная кончилась, наступила светлая, и надо попросту радоваться этой передышке, как выпавшим подряд теплым и солнечным дням.

Он позвонил Останину:

— Что за своей ваксой не приходишь?

— Неужто привез?

— Одну ее и купил.

— Спасибо, Митя! Век не забуду! Сию минуту бы прибежал, да вот снова улетаю. На остров Сахалин! Вернусь — обмоем подарок!

Дружище Останин любил еще повторять, что унылые будни человек обязан превращать хотя бы в маленькие, но праздники. Сам-то он мог и умел это делать.

С чего же тогда, с чего все ухнуло под откос? Или продолжало накапливаться напряжение, а он не замечал: переполнялась чаша, а он не видел и не предчувствовал той роковой, той последней капли?

Она могла быть крохотной, даже не зафиксированной сознанием. Да, конечно. Могло быть и так. Но это значит, что он уже был обречен, давно обречен. Кто застрахован от еще одной мелкой неприятности или обиды?

В пятницу он возвращался из клиники, — все в том же состоянии приподнятости, веселого и чуть пьянящего

возбуждения, несмотря на то, что позади был долгий рабочий день и в теле ощущалась усталость. У подъезда приткнулся громоздкий фургон, и несколько человек, встрепанных и раскрасневшихся, запикивали в коробку лифта перевернутые стулья, детскую кровать, связки книг и узлы с бельем. Переселялось какое-то семейство.

Чтобы не ждать лифта, Дмитрий Николаевич стал подниматься пешком. Легко, быстро дошагал до третьего этажа, и вдруг кольнуло сердце. Не очень сильно — короткая и тотчас отпустившая боль.

Если бы ему знать, что это сигнал опасности! Если бы знать! А впрочем, что изменилось бы, что он сумел бы сделать? Перепугавшись, лечь в постель, принять профилактические меры, наглотаться лекарств? И помогло бы? Вряд ли, если чаша была уже полна.

Он постоял в пролете между этажами, потирая ладонью грудь. Боль исчезла. У него уже бывало так, вероятно, как у большинства людей, проживших отнюдь не растительно-безоблачную жизнь (да еще и курящих!), и он безотчетно подумал, что это просто от усталости, от городской августовской жары и духоты. Пройдет. Уже прошло.

И он так же легко и быстро пошел вверх, до своего пятого этажа.

Можно было открыть дверь своим ключом, но он нарочно громко и требовательно позвонил — все от того же радостного возбуждения, от нетерпеливого желания увидеть домашних, которые заражались теперь его состоянием и радовались его радостью.

Дверь распахнула Марина.

— А у нас гости! — сообщила она с порога, улыбаясь Дмитрию Николаевичу.

— Отлично! — сказал он. — Кто таков?

Марина стремительно, как и все, что она делала, обернулась:

— Максим! Где ты?

«Ах, вот кто явился! Тот самый! Давно бы пора!» С откровенным любопытством Дмитрий Николаевич уставился на высокого угловатого парня, появившегося в передней.

— Премного наслышан, — с преувеличенной почтительностью поклонился Дмитрий Николаевич.

— Я тоже, — сказал Максим.

— Весьма приятно. Наконец-то взаимно убедимся,

насколько слухи о нас соответствуют действительности.

Он говорил это, а внутри озорно ликовал: «Ну, держись, Максим! Я тебе устрою смотрины! Я проверю, на что ты способен!»

— Да проходите же! — смеялась Марина. — Прямо к столу! Мама уже чай приготовила, у нас торт! Любимый трюфельный торт, Максим?

— Я все торты люблю, — ответил Максим.

Он, казалось, ничуть не смущается. Ни скованности, ни юношеской неловкости, будто уже бывал в их квартире. «А может, действительно уже не раз побывал?» — усмехнулся про себя Дмитрий Николаевич.

— Закурим? Прошу! — Он раскрыл перед Максимом коробку «Казбека».

— Не курю.

— Вот как? Похвально. И не пытались начать?

— Нет.

— С юных лет бережете здоровье?

— Просто у нас в общежитии почти все курят, — сказал Максим. — В комнате и так хоть топор вешай. И потом, знаете, меньше привычек — больше свободы.

Вмешалась Марина:

— Папа, учти, он всегда говорит правду! Даже страшно бывает!

— За него страшно? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Конечно! Как ляпнет что-нибудь!

— Ну, врать и притворяться еще опасней, — сказал Максим.

— Абсолютно согласен! — с живейшим сочувствием поддержал Дмитрий Николаевич, аппетитно закуривая и выпуская колечки дыма. — Очевидная истина! Жаль, не все ее разделяют! Максим... как вас по батюшке?

— Просто Максим.

— Отлично. Если позволите — просто Максим. Кстати, ваше имя как переводится? У древних «максима сентенция» — это «высший принцип», я не ошибся? Благое дело, благое — высшие принципы. Меньше вранья — больше свободы! Меньше денег — еще больше свободы! Вы, насколько мне известно, будущий художник? У нас в зале ученого совета висит картина Рембрандта «Урок анатомии». Копия, разумеется, копия! Всегда на нее смотрю. Было время, ее сняли, так, на всякий случай, потом опять повесили... Прекрасное полотно! А это верно, что когда Рембрандт испытывал нужду, то

пользовался дрянными дешевыми красками? И теперь многие его шедевры потемнели, пожухли?

— Верно.

— Ай-яй. А вы как? Одной стипендией обходитесь?

— Он ходит вагоны разгружать, — сказала Марина. — И в строительных отрядах работал.

— Похвально!

— И «хвостов» у него никогда нет. Можешь себе представить?

— Отменно, отменно! Слова, стало быть, не расходятся с делами! До диплома сколько осталось?

— Год, — сказал Максим.

— Ну, это мгновение! Уже обдумали, что представите на выпуске?

— Да.

— Что-нибудь масштабное? Современное? Отражающее эпоху?

Дмитрий Николаевич понимал, что игра идет не на равных, что не надо загонять этого симпатичного парня в угол. Но уж такое было сегодня настроение; вдобавок, может быть, примешивалось к нему ревнивое отцовское чувство, и Дмитрий Николаевич продолжал мысленно приговаривать: «Держись, жених, устроим тебе смотрины!»

Непрерывной трелью залился междугородный телефонный звонок.

Дмитрий Николаевич снял трубку и, пока разговаривал, не сводил глаз со стола, за которым уже сидели Елена, Маринка и Максим-правдолюбец. Не испытывая смущения, правдолюбец поедал трюфельный торт. В распахнутых глазах Маринки — влюбленность, счастье. И отсвет этого счастья — в глазах Елены. Слишком яркий отсвет для того, чтобы реально воспринимать достоинства и недостатки бедного жениха...

— Кто звонил? — спросила Елена. — Профессор Грюнвальд?

— Он называет меня «Митрий», — сказал Дмитрий Николаевич. — Трогательно? Кстати, еще на моей памяти бытовало выражение: «Выпить пол-Митрия»...

— Как состояние больного?

— Состояние больного? — переспросил он так, будто речь шла о несущественной мелочи и будто Грюнвальд звонил отнюдь не по этому поводу. — Вполне нормальное. Скоро выпишут.

Он заметил, как быстро переглянулись Елена с Ма-

ринкой. Разумеется, они тоже беспокоились, не произойдет ли осложнения после операции, они знали, что риск остается. Звонок коллеги Грюнвальда означал для них многое. А в том состоянии, в котором находился последние дни Дмитрий Николаевич, известие из Берлина было закономерным, естественным. Черная полоса кончилась, идет светлая. Так и должно быть.

Телефон в тот день почти не умолкал. Тут же позвонила корреспондентка из «Вечерней Москвы». Голосок у нее был по-детски тонкий, но требовательный.

— Интервью не будет, — ответил Дмитрий Николаевич. — Ну и что? Какая разница, где проведена операция, в Москве или Берлине?

Корреспондентка наседала, сплошной щебет слышался в трубке.

— Нет, — сказал Дмитрий Николаевич. — Все обычно. Человек не видел, теперь прозрел. Не было, не было интересных подробностей! А если вам надо про подвиг, напишите — подвиг совершили люди, сделавшие для нас уникальные медицинские инструменты. Да, да. Именно. Толковые врачи были во все времена, а вот таких инструментов, такой аппаратуры никогда не было!

И опять, разговаривая, он не спускал взгляда с Максима, непринужденно сидевшего за столом. Ничего держится жених. Без притворства, без фальши. Серо-зеленые глаза невозмутимо-спокойны. Ласковы. Дмитрий Николаевич мог бы поклясться, что уже встречал точно такое выражение глаз. Не просто спокойствие в них, а как бы спокойствие воды, спокойствие неба. Некое спокойствие матушки-природы... Держись, жених!

— Ну, — сказал он, вернувшись к столу и с наслаждением отхлебывая из своей желтой удобной кружки, — так что будет за дипломная картина?

Маринка живо обернулась к Максиму:

— Можно показать?

Метнулась в переднюю, принесла подрамник, завернутый в бумагу. С хрустом, торопясь, стала снимать обертку.

— Вот! Но это только эскиз.

На холсте в дерзкой и необычной манере был написан портрет девушки. Портрет Маринки. Смеющейся, счастливой Маринки.

— Нравится?

— Очень, — после паузы ответила Елена Сергеевна. — Ты здесь какая-то... и похожая, и непохожая...

Во всяком случае, такой я тебя не видела. Хотя, как говорится, свою дочь знаю...

— Это и будет дипломом? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Это один из эскизов, — сказал Максим. — Но вообще будет вот этот портрет. Примерно такой же.

— Твердо решили?

— Да.

— Тематически не очень выигрышно.

— Почему?

— Ну, не знаю. Может, надеть на нее строительную каску? Куртку студенческого отряда? И соответствующую подпись придумать?

— Зачем? — спросил Максим, не отводя своих ласковых серо-зеленых глаз.

И Дмитрий Николаевич вспомнил, у кого он видел такой взгляд. Волки. Волки, с которыми он столкнулся мальчишкой в те давние годы... Нет, не может быть. Что за нелепая ассоциация? И все-таки это было, было, он не ошибается. Вот так же смотрел волк: прямо, открыто, и ничего не читалось в его мерцавшем взгляде, кроме ласкового спокойствия.

— Думаю, вы все понимаете, — сказал он Максиму. — К диплому предъявляют... гм... особые требования. Великие живописцы тоже не выбирали сюжеты. Писали на заданную тему, не так ли? И неизвестно, потеряло от этого искусство или выиграло?

— Я считаю — потеряло, — сказал Максим.

— По-моему, — осторожно вставила Елена Сергеевна, — у Марины вообще никогда не было такой кофточки...

— Максим ее выдумал! — засмеялась Марина. — А мне теперь хочется именно такую!

«Волк, — сказал себе Дмитрий Николаевич. — Волк и Красная Шапочка».

Едва глянув на портрет, он понял, что бесполезно устраивать проверки и смотрины. Максим устоит. Не Маринка была изображена на портрете, а та, кого любит Максим. Выражаясь возвышенно, любовь водила его кистью. И это ощущалось с такой пронзительной силой, было таким откровением, что не могло не ударить по сердцу.

Господи, сама-то Маринка осознает это? Чувствует ли, что это не шуточки, что это серьезно?

Любящий Волк и Красная Шапочка. Какая чепуха!

Кто сказал, что человеческий взгляд непременно должен быть замутнен чем-то и лишь в природе — подлинная чистота и искренность? И разве вся наша жизнь — с ее трудами, мучениями, высокими подвигами и жаждой правды — в конечном итоге не направлена к тому, чтобы на земле становилось все больше и больше людей, у которых глаза ясны и чисты, как небо, как вода родника?

И после минутной горечи, после холодка, внезапно опавшего на душу, Дмитрий Николаевич снова ощутил и уверенность, и радостный подъем. Да, это потеря — расстаться с Маринкой. Но не только потеря. Его дочь — звено в той цепочке поколений, что протянется в будущее. Нечего бояться конца, если твоя жизнь продлится в детях и внуках. Ты бессмертен.

— Максим, — сказал он, — мне бы хотелось, чтобы этот портрет остался у нас в доме.

Потом, когда Максим уже ушел, Дмитрий Николаевич взял дочку за руку, притянул к себе:

— Он мне понравился.

— Спасибо, папа. Мне он тоже нравится.

— Постарайся не обманывать его.

— В каком смысле, папа? — Лицо ее вытянулось от удивления. — Ведь у нас... ну, в общем... ничего серьезного! Ты решил, что я жениха привела?

— Постарайся его не обманывать, — настойчиво повторил Дмитрий Николаевич, вглядываясь в ее смеющиеся глаза, вдруг ставшие совершенно такими же, как на портрете.

А вскоре раздался последний за этот день — и самый неожиданный — телефонный звонок.

— Да, — односложно отвечал Дмитрий Николаевич. — Да, конечно. Спасибо. Всего доброго.

Совершенно непонятно, каким образом передалось Елене Сергеевне его волнение, потому что внешне он остался спокоен. А Елена Сергеевна приподнялась со стула, шагнула вперед, вздрагивали ее руки, перебиравшие пуговицы на блузке:

— Кто... звонил?

— Ледогоров, — ответил Дмитрий Николаевич.

— Что? Что?! Не молчи, Митя!..

— Дело прекращено.

Она не поверила. Заставила дословно повторить раз-

говор со следователем. И опять не поверила и бросилась к Дмитрию Николаевичу и заплакала, обняв его и прижавшись к его плечу.

Нет, неверно полагать, будто он обрадовался меньше Елены Сергеевны; на какое-то мгновение ему даже почудилось, что он теряет сознание. Но это длилось действительно какой-то ничтожный миг. А в следующий миг возникла мысль: «Я знал, я знал!.. Вот все и кончилось, все позади...»

Было ли у него чувство, что свалился камень с плеч, непосильная, давящая ноша свалилась? Позднее он пытался размышлять об этом и ответил себе: не знаю. Он столько ждал этого события, а оно произошло вовсе не так, как ему представлялось, очень просто, словно бы мимоходом.

Следующий день был выходным. Однако с утра Дмитрий Николаевич засел за чтение диссертации, присланной на отзыв. Диссертацию сопровождало длинное письмо одного министерского деятеля — реверансы и просьба поддержать важный научный труд.

Дмитрий Николаевич, прочтя десятка два страниц, решил было плюнуть и отправить диссертацию обратно автору. Работа была компилятивная, удручала ordinарностью мыслей. А еще через десяток страниц, наткнувшись на явный плагиат, Дмитрий Николаевич обозлился, скрупулезно дочитал труд до конца, написал ядовитый отзыв и еще более ядовитую записку министерскому деятелю. Запечатывая, все ж таки усомнился — не слишком ли резко? А затем вспомнил вчерашний день, вспомнил глаза Максима и только хмыкнул удовлетворенно. Нет уж, черт побери, назовем вещи своими именами. Кража есть кража, бездарность есть бездарность. И надо говорить это прямо, открыто, везде и всегда.

— Лена! — закричал он жене. — Махнем куда-нибудь за город? Ты взгляни — погода-то какая!

— Погода чудесная! Я с удовольствием, Митя!

— Готовься!

Гараж находился в двух кварталах от дома; Дмитрий Николаевич быстро шел по улице. Он прекрасно себя чувствовал. Обостренно воспринимал все вокруг — как бы усталую красоту начавших желтеть деревьев, музыку из раскрытого окна, просвеченную солнцем дымку над крышами. Он подумал, сколько вот таких дней, бесценных и неповторимо прекрасных, он попросту не

заметил, пропустил мимо сознания. А ведь они такой же подарок человеку, как любовь, как наслаждение от работы. Отчего же мы не ценим богатства, отпущенного нам отнюдь не без меры? Минует этот день, и много ли еще останется?

«Москвич» стоял в гараже запыленный, сиротливый. Дмитрий Николаевич с удовольствием протер стекла, с удовольствием забрался на сиденье. Прикосновение к гладким обводам руля отозвалось в нем какой-то детской наивной радостью.

Он заправил машину на пустующей бензоколонке, повернул к дому. У ветрового стекла покачивался сувенир — безделушка, подаренная Мариной, — пара крохотных лапоточков. «Символ дороги», — объяснила тогда Марина. Он возразил, усмехнувшись: «Символ дороги — колесо». — «Папка, человек может не ездить, но ходить-то всегда будет!..»

Подъезжая к перекрестку, Дмитрий Николаевич включил «мигалку», начал притормаживать. И тут боль — такая, что он вмиг задохнулся, — резанула его по груди. Бесчувственной рукой он еще успел выдернуть ключ зажигания. Больше он ничего не видел, не слышал — ни того, как машина, слепо вильнув, врезалась крылом в столб светофора, ни того, как скрежетало железо и звенели осколки стекла, ни того, как со всех сторон бежали люди.

В себя он пришел только в больнице. Ему показалось — через несколько минут, а на самом деле лишь на вторые сутки. Лежать было неловко. Где-то внутри, под лопаткой, нестерпимо пекло, будто сунули туда раскаленный камень. Он попытался изменить положение, повернуться на бок, и опять полоснула, заставила задохнуться та же самая боль.

Диагноз: обширный инфаркт миокарда. Когда профессор Стрельцов — давнишний знакомый Ярцева — сообщил это Дмитрию Николаевичу, тот уже знал. Сам догадался.

Дмитрий Николаевич Ярцев был опытейшим врачом; много лет он проводил операции, много лет успокаивал своих больных, внушая надежду на исцеление: «Нас трое — пациент, доктор и болезнь. Если пациент начнет помогать доктору, вдвоем мы легче справимся с болезнью». Эти внушения он повторял бесчисленное множество раз и верил, что они предельно понятны и убе-

дительно. Но ему еще не доводилось оказываться в другой роли. В роли пациента, охваченного отчаянием и страхом.

Теперь это случилось.

Теперь он сам — помимо воли, помимо рассудка — испытывал адский трепет. Он стыдился врачей, санитаров, медсестер, но ничего не мог поделать с собою. Он ощущал только опасность. Одну опасность. Боязно поднимать занемевшую руку, поправить под головой подушку, нечаянно повернуться в полубредовом сне. Каждую секунду может произойти непоправимое...

«Ты же не струсил на фронте, — говорил он сам себе, — ты не однажды рисковал жизнью! Вспомни! Почему же тогда страх тебя не останавливал? Было легче — умереть молодым? Что с тобой? Где твое мужество, где твоя гордость? Где, наконец, твой рассудок — ты же добиваешь себя, губишь себя этой истерикой!» Он уговаривал себя, но страх и отчаяние существовали как бы отдельно от него, не подчиняясь контролю.

— Как вы там, сосед? — раздался голос со второй койки. — Не спите?

— Нет.

— Боль донимает?

— Очень.

— У меня тоже так было. А теперь вроде полегче. Только в груди как-то... щекотно... Не знаете — вредный симптом или наоборот?

— Не знаю. Не специалист.

— Познакомимся для порядка? Костюк, Роман Павлович.

— Ярцев.

— Медсестра про вас говорила. Дескать, вы сами — профессор. Ну а я сказал — вам, дескать, легче.

— Отчего мне легче?

— Да ведь нас обучать приходится. Чтоб мы, значит, не поддавались болезни. А вас-то чего агитировать, вы сами знаете... Первые сутки очень вы мутный были. Ну а сегодня гляжу — ничего, порядок. Быстро на поправку пойдете!

Роман Костюк оказался весьма охочим до разговоров. Впрочем, это бывает почти со всеми больными после кризиса — даже молчаливый превращается в болтуна.

— Ведь как непутево у меня вышло-то! — с усмешкой выкладывал Костюк. — На свадьбу в Москву прика-

тил! К племяннице! И не подумайте, чтоб перебрал шибко, можно сказать — вовсе ничего не успел! Гости кричат «горько!», я за рюмочкой, за первой рюмочкой потянулся. Хрясь! — меня и подкосило. Прямо карикатура!

— Значит, раньше что-то было, — сказал Дмитрий Николаевич.

— А что было?

— Нервное перенапряжение. Стресс.

Костюк с минуту помолчал, взясь на своей койке.

— Да это ежу понятно, — проговорил он добродушно. — Все мы, профессор, под напряжением. Вы мне другое растолкуйте. Я вот, значит, по профессии — водолаз. Служу на Мурмане, в аварийно-спасательном отряде. И если откровенно — всю жизнь со смертью в кошки-мышки играю.

— Вот оно и сказалось.

— Я не о том! Душа в пятки не уходила, профессор. А уж что только не видел, в какие переплеты не попал! Рассказать — что твой детектив! Но все-таки держался без паники. Мужик ведь, не салажонок... Теперь вопрос возникает: почему же здесь-то, на больничной койке, я дрожи стал продавать? Первые дни так паниковал — вспомнить совестно!

«Зачем он спрашивает? — подумал Дмитрий Николаевич. — Неужели заметил мое состояние и пытается успокоить таким вот нелепым доводом? Хочет уверить, что я не исключение? Но какое мне дело и до него, и до всех других?»

— Я что предполагаю? — сказал Костюк. — Паника на койке оттого, что только об себе волнуемся. Допустим, пожар на корабле, я должен женщин, детишек спасать. И я об себе не думаю, некогда. В огонь лезу и куда хочешь. А тут, на койке, от меня ничего не зависит, лежу да только к себе прислушиваюсь — вот кольнуло, вот заныло, ой, не отдать бы концы... Человеку нельзя так. Это все равно что в скафандр залезть и от всех отключиться, даже шланг с воздухом перекрыть.

— И какой же вы нашли выход? — спросил Дмитрий Николаевич.

— А стал перебирать, чего от меня в жизни зависит. Получается — много. Кто-то без меня вовсе захиреет.

«Несколько дней назад, — подумал Дмитрий Николаевич, — я смотрел на Маринку и Максима и верил, что я бессмертен. Видел цепочку поколений, уходящую

в будущее. Но даже это не спасает теперь. И что может спасти, если каждая клеточка во мне содрогается от кошмара? Все страхи, которые я когда-то испытал, — ничто перед этим первобытным ужасом, растаптывающим сознание, и все средства спасения, в которые я верил, ничего не значат. Человек, какой бы волей он ни обладал, не способен справиться с безумием, а то, что происходит со мной, — тоже безумие».

Во время следующего обхода Дмитрий Николаевич, страдая от стыда и унижения, попросил профессора Стрельцова дать ему какие-нибудь успокаивающие препараты.

— Вы их получаете, дорогой мой! — недовольно обрывал его Стрельцов. — В полном объеме! Давайте-ка мобилизуетесь, ничего страшного, сами знаете — надо помогать врачам!

Потянулись дни-близнецы. Изученный до последнего пятнышка потолок над головой — вместо неба. Монотонные вехи бытия: раздача градусников, завтрак, обход, уборка палаты. Дни посещений, когда на пороге появляются нарочито бодрые, произносящие фальшивые слова Елена Сергеевна и Маринка. Ночная тишина с провалами в одуряющий короткий сон. И уже привычный, рефлексивный, но от этого не менее давящий испуг.

— Наступила пора нам садиться на кровать, — сказал однажды Стрельцов. — Вертикальное положение, знаете ли, свойственно гомо сапиенсу.

Садиться? Это немыслимо! Дмитрий Николаевич от робкого движения покрывается холодным потом, у него цепенеют руки, обрывается дыхание!

И была не радость преодоления себя, когда он, подерживаемый медсестрой, впервые приподнялся и сел, а был тот же самый тупик, стылая оторопь, темень в глазах. В нем безмолвный крик бушевал: «Не надо! Не надо!..»

А впереди предстояло не только учиться сидеть, но и вставать в полный рост, и делать первые шаги, и спускаться по лестнице, которая — он потом это узнал — может казаться бездонной пропастью, бездной.

Когда пришла в очередной раз Елена Сергеевна, он не узнал ее. Будто лишь сейчас заметил, как осунулось, обострилось ее лицо, как резко пропечатались морщины, как выцвели глаза. Повернулась к свету — волосы на виске блеснули тусклой сединой.

— Ты устала, Леночка, — проговорил он и накрыл своей ладонью ее ладонь.

— Пустяки, Митенька. Я сильная. Ты вообще о нас не беспокойся. У нас все хорошо. Только скорей выздоравливай.

А его обожгла мысль — тоже как будто изначальная: «Господи, как же они останутся без меня?»

Елена Сергеевна что-то говорила, а он ощущал, как его глаза заволакивают слезы. Все расплылось. Он сжал руку Елены Сергеевны.

— Что с тобой, Митя?!

— Я хочу тебя поцеловать, — сказал он.

Говорливый сосед, Роман Павлович Костюк, недоуменно вертел головой после каждого дневного обхода:

— Ну? Опять про выписку ни гугу! Карикатура получается! А я на две недели раньше вашего сюда причалил!

Выдался грозовой день — с духотой, сумраком от клубившихся туч, с плеском и перезвоном ливней за окном. Костюк присмирел, отчего-то лежал молча, только задранный заострившийся нос торчал над подушкой.

— Дмитрий Николаевич... — тихо позвал он.

— Да?

— Как жена-то вас любит... А моя вот ушла. И дочку к себе забрала. Извини, дескать, Роман, вся любовь кончилась. Нынче ведь наоборот — не мужики на развод подают, а женский пол. Вот и моя такую инициативу проявила. Конечно, у меня дружки, кореша. И сам еще поджениться могу. Но обидно.

— Я вас понимаю.

— Нет, не поймете. Как так: я люблю, а у ней любовь взяла и кончилась? Ежели была, ее хранить полагается. Так или не так?

Ночью, впервые за несколько минувших суток, Дмитрий Николаевич крепко уснул. Как провалился.

Его не разбудили медсестры и врачи, входившие в палату, суетившиеся у соседней кровати, не разбудил скрип железной каталки, на которой Романа Павловича Костюка увезли в отделение реанимации.

Проснувшись, Дмитрий Николаевич случайно обернулся и увидел у противоположной стены заново перестеленную койку — желтый прямоугольник одеяла и немятую белизну подушки. Это было как внезапный удар.

Стрельцов, появившийся на обходе, тоже глянул на пустую койку. Поморщился.

— Ничего мы не могли, коллега. У него позади и кессонная болезнь, и травма позвоночника, и масса других хвороб. Вы-то знаете, что иногда все мыслимое и немислимое сделано, а результат — нуль. Что же касается вас, считайте — вам повезло. Задерживать не собираюсь. Звоните Елене Сергеевне, пускай забирает. Что не радуетесь?

— Как-то... неожиданно...

— Сказать по секрету? В своем деле вы... ну, одним словом — Ярцев! Легенда! А вот больной из вас никудышный. Я ведь, холера ясная, все вижу и понимаю. Бросьте-ка самоедство, отправляйтесь куда-нибудь на зеленый кислород! Бабье лето на дворе, благодать. А через месяц и за работу свою приметесь. Сколько людей-то вас дожидается!

Ехать в какой-либо санаторий Дмитрий Николаевич отказался. Коротко объяснил Елене Сергеевне, что чем меньше будет народу вокруг, тем лучше.

Елена Сергеевна подчинилась, сняла домик в дачном подмосковном поселке.

Летний сезон кончился, большинство домов уже пустовало. Лишь по выходным дням кое-кто из соседей приезжал да тянулись к близкому лесу вереницы грибников с корзинами.

Вскоре обжились, попривыкли. Хорошо тут было — чистейший воздух, покой, осенняя красота берез и рябин. По утрам на открытую форточку садились синицы, заглядывали в комнату, никого не боясь, прямо как в сказке.

И единственное, что тревожило Елену Сергеевну, было странное поведение мужа. Нет, он не жаловался на боли, на слабость, на недомогание; у него исчезли страх и нервозность, которые так были заметны в больнице. Но сейчас ему все сделалось безразличным.

Он двигался как-то механически, равнодушно ел, что давали, равнодушно смотрел вокруг себя.

— Митя, поставить тебе раскладушку вот здесь? Под рябиной? Смотри, как ягоды на солнце светятся!

Дмитрий Николаевич молча кивал, соглашаясь. И недвижно, безучастно лежал, пока кто-нибудь не приходил за ним.

Поначалу Елене Сергеевне казалось, что он постоян-

но погружен в свои мысли и от этого все безразличие к окружающему.

— О чем задумался, Митенька?

— Я не задумался.

— А что же?

— Ничего.

И вправду, когда она заглядывала ему в глаза, в них была пустота. Будто их изнутри, как стекла в окне, замазали известкой.

— Митенька, я иду на рынок. Тебе купить что-нибудь?

— Нет.

— Ты скажи, чего тебе хочется, Митя!

Молчание.

Елена Сергеевна возвращалась с рынка; на полдороге хлынул проливной дождь. Был он уже по-осеннему холодный, и она вся продрогла, пока добежала до дому.

Дмитрий Николаевич лежал под рябиной на раскладушке. В том же положении, в каком его оставили. Дождевые струи хлестали по его лицу; потемнели насквозь промокшие плед и пижама.

Елена Сергеевна бросилась к нему, она решила, что он без сознания, что он мертв.

Он поморгал, медленно провел рукой по лбу. Ни чего не выражающие глаза уставились на Елену Сергеевну.

— Что ты делаешь? Ты с ума сошел?!

Он механически поднялся, механически пошел по дорожке к крыльцу. Сквозь мокрую пижаму проступали костлявые плечи. Тонкая шея безвольно опущена, голова качается при каждом шаге.

Елена Сергеевна заставила его раздеться, растерла полотенцем, уложила под два одеяла, напоила чаем с малиной.

— Завтра же мы уедем в город! Ты слышишь?

— Зачем? — равнодушно спросил он.

— Ты болен!

— Я здоров.

— Но так нельзя, так не может продолжаться!

Он отвернулся к бревенчатой стене и затих. Не шевелился, будто уснул, но Елена Сергеевна знала, что он не спит.

— Митенька, милый!

— Оставь меня в покое, — произнес он бесцветным голосом.

Елена Сергеевна не знала, что предпринять. Она вызвала Марину, чтоб та дежурила возле отца, а сама уехала в город. Металась от одного врача к другому, подняла на ноги всех знакомых. Чуть ли не ежедневно возила к Дмитрию Николаевичу и рядовых специалистов, и светил.

Дмитрий Николаевич не противился. Позволял себя осматривать, прослушивать. Ему было все равно. А врачи подтверждали, что да, имеется у Ярцева небольшое угнетенное состояние, подавленность психики, но это естественно, это закономерная реакция после перенесенного инфаркта. Постепенно все пройдет, выровняется. Врачи выписывали лекарства, каждый — свое. И не могла Елена Сергеевна рассказать им все, что произошло с Дмитрием Николаевичем, — все, начиная с Девятого мая, праздника Победы, встречи с Крапивкой и кончая последним звонком из прокуратуры, хотя сама отчетливо понимала, что не легкое недомогание у Дмитрия Николаевича, а нечто более скорбное. Даже знакомые врачи не знали Ярцева так, как знала она, и врачи не видели, насколько он изменился, не чувствовали, что теперь это другой человек.

Елене Сергеевне уже стало мерещиться, что муж снова что-то скрывает от нее. Может быть, следовательно прокуратуры Ледогоров сообщил совсем другое? И дело Ярцева не прекращено? Пожалуй, это вполне вероятно. Закончено только лишь следствие, теперь дело передают в суд, и Дмитрий Николаевич решил скрыть эту новость. Он мучается один, оберегая семью. Можно представить, что у него на душе, какое отчаяние, какая безысходность. И если однажды не выдержит, сорвется, то...

Не помня себя, Елена Сергеевна поехала в прокуратуру. Слава богу, Ледогоров был на месте, она попросила, чтоб он немедленно ее принял.

— Вы, наверное, за документом? — приглашая Елену Сергеевну, спросил Ледогоров.

Елена Сергеевна не поняла, о каком документе идет речь, но сейчас это было неважно, все несущественное она пропускала мимо ушей.

— Скажите мне правду! Правду! Дело не прекращено?

— Разве Дмитрий Николаевич вам не сказал?

— Вы скажите! Вы!

Ледогоров смотрел на нее с недоумением.

— Дело прекращено. И постановление готово. Пожалуйста, можно его получить. Дмитрий Николаевич собирался зайти сам.

Елена Сергеевна опустила в кресло. Тупо смотрела, как скользят рыбки в аквариуме. «Прекращено! — стучало у нее в голове. — Тогда... тогда что же еще случилось?! Господи, тогда что же еще?!»

— У Дмитрия Николаевича неприятности? — донесся как будто издалека голос Ледогорова.

— Я пойду, — сказала она. — Спасибо. Извините.

— Одну минуточку, Елена Сергеевна. — Ледогоров наклонился к ней. — Понимаю, для вас я чужой человек. Но судьба вашего мужа мне небезразлична. Я соприкоснулся с ней, и она меня тронула, взволновала. Опять-таки понимаю: это странно слышать здесь, в служебном кабинете, от официального лица, работника прокуратуры. И все же — поверьте. Дело прекращено, я больше не следователь. Расскажите, что с Дмитрием Николаевичем?

— Не знаю, — сказала Елена Сергеевна. — Боюсь, вы не поймете и ничем не поможете.

Ледогоров словно бы угадал ее невысказанные мысли.

— Елена Сергеевна, мне пришлось изучать биографию вашего мужа. Я старался узнать как можно больше. Не пропускал ни одной мелочи или подробности. Конечно, вы знаете Дмитрия Николаевича гораздо лучше, но ведь и я, смею надеяться, теперь кое-что понял и кое в чем разобрался... Оттого и беспокоюсь за него. Поверьте, мне известны факты, которые даже вы не знаете.

Елена Сергеевна резко выпрямилась. Ну вот, ее подозрения оправдываются. Ярцев опять что-то скрывает. Как стыдно, как унижительно узнавать правду не от мужа, а от следователя прокуратуры!

— Не стоит обижаться на Дмитрия Николаевича, — опять, словно бы прочитав ее мысли, сказал Ледогоров. — Он поступил так не от малодушия, не из стремления скрыть истину. Не так все просто... Когда я впервые беседовал с ним, то задал вопрос: почему Дмитрий Николаевич подал заявление только после встречи с Крапивкой? Это же не формальность, не придирка, это важный аргумент обвинения. Мне казалось, что Дмитрий Николаевич что-то скрывает. Он действительно скрывал. Ведь он тридцать пять лет ничего не знал о суде и при-

говоре... Впервые официальную информацию об этом он получил, прочитав газету, которую обнаружил в архиве.

— Я не знала... Я на самом деле об этом не знала!

— Вот видите. Дмитрий Николаевич мог в своем заявлении категорически отвергать участие в убийстве родителей Крапивки, признав соучастие в краже. Он этого не сделал.

— Но почему? Почему?

— Откровенно говоря, я тоже не сразу понял. Дмитрий Николаевич как будто не хотел снять с себя тяжкое обвинение... Я раздумывал — по какой причине? Может быть, оттого, что по складу характера он не из тех, кто выпрашивает поблажку.

— Да, да. Наверное, так и было.

— Генерал Скворцов привел убедительные факты. Оказывается, Дмитрий Николаевич Ярцев участвовал во многих боях вопреки распоряжениям командира. Он всегда стремился на самый опасный участок. Ради чего? Вероятно, он выбрал единственную возможность реабилитации. Он сам для себя был и обвинителем и судьей. Да, судьей!

— Вам кажется... — с трудом проговорила Елена Сергеевна, — что он и теперь... вот так же?

— Расскажите, что с ним происходит.

И Елена Сергеевна, теперь уже с каким-то облегчением, торопясь и сбиваясь, выложила следователю всю цепочку последних событий — возвращение Ярцева из Берлина, конфликт с главврачом, явное улучшение самочувствия Дмитрия Николаевича, а потом — инфаркт, больница и опять угнетенное состояние, гораздо более мучительное, нежели раньше.

— Вы думаете, — спросила она в конце, — что он... все равно себя обвиняет? Несмотря на прекращение дела? Но ведь это безумие. Нельзя казнить себя всю жизнь!

Круглое, с мальчишеским румянцем лицо следователя было нахмуренным и, как почудилось Елене Сергеевне, даже чуть виноватым.

— Я могу высказать только догадку, — произнес он. — Нравственно цельный человек всегда будет судить себя строже, чем его осудили бы другие. И это не значит — казнить себя. Это значит — подниматься к вершине, к идеалу, не довольствуясь средним уровнем. А Дмитрию Николаевичу подниматься было вдвойне труднее. Ему надо было изживать в себе Ваньку Проклова. Я сначала не догадывался, отчего он так

старается их разделить, обособить — Проклова и Ярцева. Мне казалось, в этом есть что-то болезненное, знаете, вроде раздвоения личности, что ли. Ведь рассуждая формально, так сказать, на обычном среднем уровне, дело вашего мужа простое и загадок не содержит. Человек в ранней молодости оступился, а затем всей жизнью эту вину искупил. Мало ли таких примеров? Но Дмитрий-то Николаевич не на среднем уровне рассуждал. Началось со случайной, необдуманной смены фамилии, а привело к тому, что понадобилось совершенно себя переделать. Чтоб ни крохи от Ваньки Проклова не осталось! Вряд ли он тогда сознавал, какая это непосильная задача... Мы прощаем себе какие-то грехи и слабости, а он не мог прощать. Как простишь, если страх, ложь, обман — это признаки, это черты Ваньки Проклова! Все низменное — Проклов! Любая ошибка — Проклов! Мы любим говорить, что боремся со своими недостатками, но сплошь и рядом это самообольщение. А Ярцев действительно боролся, воевал. И не мог иначе, потому что он ненавидел в себе Проклова. Найдутся люди, которые могут истолковать жизненный путь Ярцева как подвижничество, продиктованное давним случаем. И даже поставят знак равенства между подвижничеством и искуплением вины. Нет, все не так. Ведь не благополучия и покоя искал Ярцев, а самоочищения! Вы сейчас сказали, что после инфаркта, в больнице, Дмитрий Николаевич выглядел непривычно испуганным?

— Да, да, — еле слышно подтвердила Елена Сергеевна.

— Но представьте на минуту, что это естественное, вполне объяснимое состояние Дмитрий Николаевич истолкует по-своему. Решит, что это опять прокловский постыдный страх за свою шкуру? Нет, я не утверждаю наверняка, я только предполагаю... Но может так быть?

— Значит, выход один: убедить Дмитрия Николаевича, что давным-давно Проклова нет, что он умер!

— А он умер? — спросил Ледогоров.

— То есть как?! — растерялась Елена Сергеевна. — Но вы... вы же сами... Иначе вы не прекратили бы дело!

— Я выскажу один парадокс, Елена Сергеевна. Заранее прошу — не обижайтесь. Может быть, я не прав. Но мне кажется, что, если бы Проклов окончательно сгинул, умер, Дмитрий Николаевич перестал бы на не-



го оглядываться. Понимаете? Я не хочу спорить, возможно ли это в принципе. И нужно ли это. Я пытаюсь почувствовать то, что чувствует и бессознательно ощущает Дмитрий Николаевич.

Тихо в кабинете. Беззвучно скользят за аквариумным стеклом рыбки, прозрачно вспыхивая на свету.

— Но это же... тупик... — проговорила Елена Сергеевна. — Это заколдованный круг какой-то... И мы бессильны вмешаться, бессильны помочь?

Ледогоров открыл ящик письменного стола, покопался в нем, вытащил небольшую фотографию.

— Передайте мужу. Это из следственных материалов.

— Кто это? Что за женщина? — Елена Сергеевна, прищурясь, разглядывала не очень четкое изображение.

— Это мать Дмитрия Николаевича. Такого снимка у него нет.

Елена Сергеевна смешалась, положила фотографию на край стола, снова взяла.

— Но ведь... я не знаю, Вячеслав Александрович... Это лишний раз напомнит ему о детстве...

— И значит — о Проклове?

— Конечно! Зачем?

— Отдайте ему, — сказал Ледогоров. — Он не вычеркнет из памяти ни свое детство, ни мать с отцом. Ни себя.

Закинув руки за голову, Дмитрий Николаевич лежал в саду на продавленной раскладушке. Сегодня его не беспокоили. Елена Сергеевна была в Москве, а к Маринке прикатил соскучившийся Максим. У них, слава богу, нашлись свои дела и свои секреты.

В полуоблетевших рябинах тенькали щекастые синицы, у них тоже были свои дела. И никто не мешал Дмитрию Николаевичу просто лежать, бездумно смотреть в небо, провожать взглядом облака, похожие на мыльную пену.

Краешком сознания Дмитрий Николаевич понимал, что заставляет волноваться и Елену Сергеевну, и Марину, и всех близких. Но жалости и сострадания у него не было. Внутри все будто перегорело, сделалось мертвым, бесчувственным. И он не хотел знать, отчего это.

Он устал. Устал от всего — от работы, от мыслей, от переживаний. Старики говорят о себе: устал жить. Вот и Дмитрий Николаевич устал жить.

В конце концов, жизнь измеряется не числом прожитых лет. У него было достаточно и хорошего, и дурного, потерь и приобретений. Всего было под завязку. Пожалуй, на несколько жизней хватит. И, стало быть, финал закономерен.

Ему странно было вспоминать, что еще недавно, несколько дней назад, он цепенел от ужаса перед смертью. Во всем окружающем мире непрестанно, безостановочно идет умирание. Сколько сейчас, в эту минуту, умирает людей? Тысячи, сотни тысяч. Это неизбежно. Совершается вечный круговорот. И когда иссякли у тебя силы и желания, притупились чувства, переход к смерти совершается просто и естественно.

С крылечка донеслись голоса, Маринка и Максим о чем-то болтали, пересмеивались. Дмитрий Николаевич случайно обернулся и увидел, что они целуются. На мгновение ему стало обидно и даже померещилось, что опять кольнуло сердце. Но тотчас все прошло. Незаметно для себя Дмитрий Николаевич уснул.

Ему приснилось, что он привел Маринку в зоопарк. Дочке было годика четыре, ее крохотная ладошка была влажная и горячая. Дмитрию Николаевичу хотелось взять Маринку и посадить на плечо. Он любил носить ее, маленькую, на плече. Но Маринка вырвала горячую ладошку из его руки и побежала вперед. По сторонам были железные клетки, и во всех клетках почему-то сидели собаки. Дочка открывала дверцы, с радостным визгом собаки выскакивали на волю. Рыжие, лохматые, большие и маленькие, прыгали собаки вокруг Маринки, и Дмитрий Николаевич боялся, что они собьют ее с ног. Тогда он сам решил открыть дверцы, чтоб поскорей освободить всех. Дмитрий Николаевич спешил, метался от одной клетки к другой, но они все были пусты...

Он открыл глаза оттого, что на край раскладушки присела Елена Сергеевна. Вернулась из города. Одна? Или кого-то опять привезла?

Дмитрий Николаевич вновь прикрыл глаза. Просыпаться не хотелось, разговаривать не хотелось.

— Как ты себя чувствуешь, Митя? Ты обедал?

Не поднимать веки, не отвечать, и Елена уйдет. А он досмотрит этот смешной сон с зоопарком и дворнягами. Теперь ощущения во сне более живые и яркие, чем наяву.

— Останин прислал телеграмму. Слышишь, Митя? На днях приедет.

Влажная ладошка Маринки в его руке. И желание обнять маленькую дочку; она еще боится сидеть на плече. Ей высоко, ей страшно и весело...

— Хромов звонил. Передал привет, приглашает в гости.

Кто это — Хромов? Не хочется, лень вспоминать. Какие-то гудки на реке. Темная елка у дома. Под старой елкой словно бы шелестит бесконечный дождь — это осыпается желтая отмершая хвоя. Падают граненые иголки, а одна вдруг закачается, повиснув на невидимой паутинке.

— И еще, Митя... Вот, просили тебе передать, посмотри. Ну, взгляни!

Какая-то блеклая серенькая фотокарточка в руках жены. Дмитрий Николаевич взял ее, повернулся на бок и еще крепче сомкнул веки. Потом он посмотрит. Не сейчас.

Подождав немного, Елена Сергеевна поднялась и ушла. Где-то над головой тенькали синицы. Вечерело, свежело. Лучик солнца, найдя просвет в переплетении веток, упал на лицо Дмитрия Николаевича. Под сомкнутыми веками — розовый свет, и он не исчезает, если даже сильно зажмуриться.

Фотография матери. Нет, не может быть. Показалось. Ведь не сохранились фотографии, все исчезло. Давно пепел развеялся.

Дмитрий Николаевич рывком приподнялся. Положил фотокарточку на вздрогнувшую ладонь.

Будто сквозь дымку времени, с блеклой фотографии смотрела на него мать. Родное лицо, которое он никогда не забывал, помнил до последней морщинки.

«Идем, идем, уже недалеко, Ванечка!..»

Белая дорога через клеверное поле. Босые ноги. Фонтанчиками пробивается горячая пыль между пальцами. Шмели гудят, звенит, стрекочет все поле. Его взмокшая ладошка в руке матери.

«Идем, идем, Ванечка!..»

* * *

До первой операции, которую проведет после своей болезни профессор Дмитрий Николаевич Ярцев, осталось двадцать семь дней.

СПРОСИ СЕБЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ранним утром сквозь завесу низкого тяжелого тумана по тугой и строптивой северной реке маленький катер пробивался к Волге.

Свет зари еще не возник над миром. Роса лежала на мягких холодных травах.

На носу катера, подняв воротник пиджака, стоял Алексей Щербак и злился оттого, что может не успеть к началу суда.

С низовья примчался ветер и дерзко, с вызовом стал развеивать мглу. На реке заволновались белые гребешки, они о чем-то шептались друг с другом, а Щербак перебирал в памяти кварталы знакомого города и никак не мог вспомнить, где расположена улица, которая нужна ему теперь. Он подошел к мотористу и сказал:

— Ты уж поближе к суду подгребай. Адресок мне неизвестный.

— Лучше бы его и не знать. А дом этот недалеко от набережной. Так что пришвартуемся почти под окнами. Видный дом, старинный.

...Когда Алексей Щербак занял место на скамье подсудимых, он почувствовал на себе скрытые взгляды публики. Не всем, правда, было интересно присутствовать на этом процессе, но в соседнем переполненном зале слушалось дело об убийстве инкассатора, и многие любители судебных историй, чтобы не слоняться в коридорах, собрались тут.

Судья Мария Градова объявила, что сегодня слушается дело бывшего начальника Сосновской запани Щербака и бывшего технорука Каныгина, обвиняемых в халатности и непринятии мер, которые могли предотвратить аварию, принесшую ущерб почти в миллион рублей.

Секретарь суда, худая девушка с короткой прической, доложила о явке участников процесса, а Градова провела подготовительную часть заседания, предшествующую началу судебного следствия, и попросила всех свидетелей удалиться в специальную комнату.

— Подсудимый Щербак!

Алексей смотрел на судью и с неожиданным липким страхом ждал других ее слов — он никогда не думал, что будет с робостью смотреть на судившую его женщину.

Градова заметила состояние Щербака и не стала торопить его, терпеливо дожидаясь, когда он успокоится. Алексей прижал ладони к гладкой перекладине барьера.

— Ваши фамилия, имя и отчество? — спросила Градова.

— Щербак Алексей Фомич.

— Когда и где родились?

— В деревне Старосеево Костромской области в декабре девятнадцатого года.

— Место жительства?

— Поселок Сосновка.

— Занятие?

— Был начальником Сосновской запани.

— Образование?

— Летное училище. Лесотехнический техникум.

— Семейное положение?

— Женат.

— Копию обвинительного заключения получили?

— Четыре дня назад.

— Садитесь.

Алексей опустил на стул и поежился от неприятного холодка: к спине прилипла рубаша.

— Подсудимый Каныгин!

Невысокий, коренастый, он медленно поднялся и, сцепив пальцы жилистых рук, застыл на месте.

Судья Градова задавала Каныгину те же вопросы. Он отвечал тихо, часто откашливаясь, отчего слова вылетали отрывисто и были не всегда понятны. Федор Степанович, верно, и сам чувствовал это, пытаясь иной раз повторить ответ, но сбивался и умолкал, не сводя глаз с судьи.

Затем Градова начала читать обвинительное заключение.

Алексей слушал рассеяннo — он знал каждый его

пункт, да и копия заключения лежала перед ним. Щербак на минуту забылся и вдруг чутко услышал, как слабо поскрипывают вокруг него стволы старых сосен от ветра, и увидел над собой хмурое, дождливое небо.

Градова, закончив чтение, спросила подсудимых, понятно ли им обвинение, и, получив утвердительный ответ, сказала:

— Подсудимый Щербак, вы признаете себя виновным?

СТРАНИЦЫ, КОТОРЫХ НЕТ В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

На исходе того дня, когда Снегирев заканчивал следствие, он спросил Щербака:

— Вы признаете себя виновным?

Алексей знал, что рано или поздно придет час, когда Снегирев прямо спросит его об этом, и ему казалось, что он готов к ответу давно, с самого начала следствия. Но, услышав вопрос, почувствовал неровный стук сердца.

— Признаете себя виновным? — повторил Снегирев.

Щербак молчал. Виновен ли он в том, что стихия оказалась сильнее его?

Снегирев в эту минуту курил и думал совсем о другом: Соня, его девятнадцатилетняя дочь, недавно уехала в Ленинград учиться и накануне его отъезда в Сосновку прислала письмо, в котором сообщала, что выходит замуж. Что произошло с ней, если, едва прожив два месяца в чужом городе, она совершает такой опрометчивый шаг? Снегирев понимал, что многое может стать непоправимым, если он немедленно не поедет к дочери.

Сидя в маленьком рабочем кабинете Щербака, следователь тихо постукивал худыми пальцами по стеклу, под которым лежал график хода лесосплава.

— Я вас спрашиваю, Алексей Фомич, — напомнил о себе Снегирев, в который раз разглядывая настенные часы с выщербленной инкрустацией — наследство былой конторы лесопромышленного купца Саввы Кузюрина.

Часы гулко пробили семь раз.

Алексей прислушался. Знакомый бой вдруг стал чужим, угрожающим, будто отсчитывал срок заключения.

— Не знаю, — ответил он.

Снегирев усмехнулся:

— Так кто же тогда знает?

— Возможно, вы установите...

— Право, вы чудак, Алексей Фомич, — беззлобно сказал Снегирев и, не найдя в карманах папирос, прикурил окурочек, лежавший в пепельнице. — Обвинение предъявлено вам, и вы должны ответить мне. Таков порядок, если хотите.

— Не знаю, — повторил Алексей.

— Опять двадцать пять, — Снегирев начал быстро перелистывать материалы следствия. — Тогда давайте вернемся к фактам... Пятьсот тысяч кубометров леса вынесло в Волгу?

— Было, — тяжело согласился Щербак.

— Из-за этого три дня речной флот стоял?

— Стоял.

— Запани разрушена?

— Да, — тихо сказал Алексей.

— Столовая и общежитие сгорели?

Трусость была неведома Алексею, но в ту минуту страх начал закрадываться в его душу, и он, пожав плечами, не протестуя, глухо ответил:

— Да. Только почему, никак не могу понять.

— И мне пока неясно. Но известно одно: в результате аварии причинен убыток. Почти в миллион рублей. Вы с этим согласны?

Алексей встал с табуретки и подошел к окну, за которым был виден небольшой поселок, где он долго жил и узнал сплавную науку.

— Так смешно же отрицать свою вину, — слышал он утомленный голос следователя.

Снегирев неожиданно представил Щербака в роли капитана, чей корабль врезался в риф и ушел на дно, и очевидно, по вине самого капитана. Но за ошибки надо платить. Щербак, видимо, не понимал этого, что больше всего раздражало Снегирева.

— Вы были начальником запани, и вы за нее отвечаете, — сказал он.

* * *

Солнце светило в окно, слепило глаза Алексею. Он прикрывал их ладонью, и со стороны казалось, что ему стыдно смотреть на людей.

— Подсудимый Щербак! Вы признаете себя виновным? — спросила Градова.

— Да, — шумно выдохнул Алексей и только потом торопливо поднялся со стула. — Признаю.

— А на предварительном следствии что вы ответили?

— Я тогда сказал, что не знаю.

— Почему?

— Не успел еще во всем разобраться. Тогда на меня навалилось все сразу.

— А теперь?

— Остыл. Разобрался, что к чему.

— Во всем?

— Не могу утверждать. В причинах аварии разобрался. А вот как возникли пожары?.. — Алексей пожал плечами, задумался.

— Пожар — следствие аварии, — спокойно заметила Градова. — А вас обвиняют по статье...

— Я понимаю формулу обвинения. Отвечаю: виновен. Я думаю не о судебных статьях. Я был начальником запани. Мне ее доверили. И я должен отвечать за катастрофу. Поэтому признаю: виновен. Такова моя статья.

Алексею показалось, что судья довольна его ответом, потому что тут же прекратила задавать вопросы.

И, уже опустившись на стул, он подумал, что, видимо, зря отказался от защитника — сразу возникли сложности судебного процесса, в юридических тонкостях которого он плохо разбирался.

Каныгин сосредоточенно ждал, когда судья вызовет его. Он нередко слышал житейскую мудрость: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся», но всегда воспринимал ее как присловье, не имевшее к нему никакого отношения.

— Подсудимый Каныгин! — сказала Градова. — Признаете себя виновным?

Каныгин медленно встал, неторопливо одернул пиджак и ответил:

— Не признаю. — И, усомнившись вдруг, что ему не поверят, откашлялся и добавил: — Я всегда говорил, что не виновен.

— Садитесь, — сказала Градова и снова вызвала Щербака. — Сколько лет вы работаете на запани?

— Около двадцати.

— Вы говорили, что окончили летное училище. Какую получили специальность?

— Летал.

— В гражданской авиации?
— Нет. Я был военным летчиком.
— С какого года?
— С тридцать девятого.
— На фронте были?
— Воевал, — просто ответил Щербак.
— С какого времени?
— С первого дня войны.
— Имеете правительственные награды?
— Да.
— За что награждены?
— За выполнение боевых заданий командования.
— Какие имеете награды?
— Разные, — с раздражением ответил Щербак, не от злости, а от грустного сознания, что он вынужден безропотно отвечать на бесконечные вопросы.

— Уточните, пожалуйста.
— Два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны и Красной Звезды. Медали «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа» и «Партизану Отечественной войны».

— Значит, в партизанском отряде воевали?
— Не довелось.
— Вот как? — удивилась Градова, подумав о горестном времени, о войне, где она была солдатом. — Как же вас наградили партизанской медалью?

— За помощь партизанам.
— В чем она выразилась?
— Летал в партизанский отряд.
— Какой?
— Разве теперь вспомнишь...
— И района не помните?

Щербак молчал, поглаживая перекладину барьера теплыми ладонями. Потом встревоженная память подсказала ему:

— Кремневка. Да, по карте это был квадрат Кремневки. Садился по сигналу костров...

— Когда это было?
— Столько лет прошло...
— Постарайтесь вспомнить, пожалуйста.

Кремневка была памятна судьбе, забыть о ней она не могла никогда.

Интерес Градовой к его полету в партизанский отряд озадачил Алексея. Он не мог понять, чем, собственно, вызвано такое внимание к событию давних лет, не

имеющему никакой связи с нынешним судебным следствием.

— В сорок третьем году. Холодно уже было. Выходит, осенью. Вывозил раненых.

— Куда вы их доставили?

— В Тамань.

— В Тамань? — повторила Градова. — Хорошо помните?

— Там был аэродром. Но мне кажется, это к делу не относится.

Градова подняла на него настороженный взгляд.

— Суду важно все, что связано с вашей биографией.

На столе перед ней лежали три пухлые папки, где по служебной необходимости были собраны все материалы, касающиеся аварии на запани. А за ними стояли люди, обвиняемые по определенной статье Уголовного кодекса и, как показало предварительное следствие, виновные в аварии, крупнейшей за последние сорок лет в их крае. Однако совершенно неожиданно рядом с официальными, строго пронумерованными страницами судебного дела возникли события, неразрывно связанные с жизнью самой судьи.

Память

Партизанский отряд, где Мария Градова была радисткой, едва отбил упорную атаку врага. Похоронив убитых, отряд в сумерках поздней крымской осени перенес тяжелораненых к своему аэродрому. Мария в полузабытии лежала на окровавленной плащ-палатке.

Перед рассветом густо затуманило, но все же самолет к ним пробился. И Мария, скованная болью, услышала, как командир отряда упрашивал летчика:

— Возьми нашу радистку. Добром прошу тебя, Леший!.. Не выдержит долго она.

А летчик закричал ему:

— Сказал — и баста! Живых надо вывозить, а не покойников! И так перегрузил. Как бы с этими не гробануться...

Загремев винтом, машина разорвала туман и скрылась. И тогда у Марии промелькнула мысль, что она уже умирает, раз летчик отказался спасти ее на своем самолете.

От горя и чужой жестокости она хотела заплакать, но потеряла сознание...

Очнулась Мария в полдень.

Не открывая тяжелых век, она вслушивалась в хриплый грохот бомбовых ударов, гул валившихся деревьев и свист осколков мин, рвущихся где-то поблизости. Яркие круги плыли перед глазами, в ушах шумело. Неожиданно взметнулся новый белый взрыв, после которого стало так тихо и просторно, что захотелось, чтобы кто-нибудь поиграл на гармошке. Мария насторожилась, желая услышать шаги гармониста, но не дождалась.

Медленно возник свет сквозь дрожащие ресницы, освещая размытые очертания незнакомых предметов.

Казалось, ее недоверчивый взгляд заново рисовал потерянный мир, неясные формы и скупые краски которого она воспринимала, наслаждаясь забытыми звуками: скрипом кровати с никелированной спинкой и белыми подушками, шелестом мохнатого одеяла с затейливым рисунком.

Еще больше ее поразило акварсельное небо. Как давно она не видела неба сквозь оконную раму!

И, только пережив возвращение к жизни, Мария поняла, что лежит в больничной палате.

От шеи до поясницы ее стягивал тугой панцирь белых бинтов.

Резкий запах йода заполнял комнату. На тумбочке теснились пузырьки с лекарствами. А в углу, резко выделяясь на фоне светлых стен, стояли костыли.

И сразу же страшное предчувствие завладело Марией. Ощувив на лбу холодный пот, она безмолвно протянула руки под одеяло, испуганно ощупала свои ноги, пошевелила пальцами. И улыбнулась от сознания, что ей не выпал жребий стать калеккой.

Так начался ее второй день. Первого Мария не помнила — он растворился в белом взрыве.

В палату вошла медсестра и, остановившись у двери, пропустила молодого доктора. Он быстро подошел к Марии, сел на стул и посмотрел на часы.

— Проснулись? Вот и прекрасно. Как мы себя чувствуем, малышка?

Вчера он оперировал почти бездыханное тело ее, мало веря в удачу. Сегодня ночью в таком же состоянии привезли генерала-танкиста. Хоть доктор был молод, но руки у него были золотые. Назначая экстренную операцию, он надеялся на благополучный исход. Но генерал умер у него на столе.

— Как вас зовут?

Мария скорее догадалась, о чем спрашивал доктор, нежели услышала его вопрос. И молча показала рукой на ухо.

— Плохо слышите?

Она кивнула.

Доктор посмотрел на медсестру. Та быстро смочила ватку нашатырным спиртом и поднесла к носу Марии.

Она задохнулась от неприятного запаха и зажмурилась.

— Будьте смелее! — громко сказал доктор. — Как вас зовут?

— Мария.

— Красивое имя. — Доктор вглядывался в глаза больной, которая еще вчера была обреченной, а сегодня смотрела на него потеплевшим взглядом. — Первый кризис позади, — добавил он. — Теперь все зависит от вас, Мария. Спротивляйтесь, черт возьми! Слышите?

Она молча согласилась, довольная вниманием доктора.

— Между прочим, я еще никогда не оперировал партизан. Вы первая. — Он поправил подушку и повернулся к медсестре: — перевязки каждый день. Проследите за питанием... Очень ослаб организм... Я буду вас часто навещать, Мария. — И, погладив ее руку, доктор первый раз улыбнулся.

Самочувствие Градовой улучшалось медленно. Высокая температура упорно держалась. Боль, растекавшаяся по телу, не хотела оставлять Марию.

Как-то вечером пришел доктор.

— А почему мы хмурые? И ужин стынет? — спросил он и шумно передвинул стул.

— Больно... Очень больно...

— Серьезная причина. Вам сколько лет?

— Двадцать.

Доктор прошелся по палате, вызвал медсестру и, показав на костыли, сказал:

— Унесите! — Закрыв за ней дверь, он подошел к постели. — Мария, ваш бой продолжается. И этот бой вы должны выиграть. Страшен не сам бой, а раздумье, колебание — продолжать его или отступить. Сегодня вы отступили, и это меня огорчает.

Он еще долго говорил с ней, и Мария поняла, что

доктор ею недоволен. Она облизнула сухие губы и тихо спросила:

— Наверное, я пролежу здесь очень долго?

— Сделаем шестьдесят перевязок, и тогда гуд бай, — он улыбнулся. — Но помните: жизнь — сама цель.

Мария мало верила утешительным словам доктора. Ей казалось, что невыносимая боль никогда не покинет ее и всю жизнь она будет мучиться, прикованная к постели.

Размышляя об этом, Мария молча плакала, глядя красными глазами в окно на небо, чтобы отвлечься от своей беды.

Она готова была даже смириться с тяжелым недугом, но ловила себя на мысли, что дело-то не в ней самой, а в горе, которое разобьет сердце ее матери. И Мария снова услышала, как летчик Леший кричал: «Живых надо вывозить, а не покойников!»

И тогда вся боль лютой ненавистью обратилась против этого жестокого человека. Именно в эту минуту в сознании Марии возник реальный срок выздоровления. Доктор, требуя от нее ежеминутной борьбы с тяжелой болезнью, ясно обозначил путь к этому желанному времени: шестьдесят перевязок.

Каждый раз, когда в палату, наполненную утренним светом и свежим воздухом, торопившимся с моря, входила санитарка, толкая перед собой каталку, Мария запоминала, какая это по счету перевязка. А однажды, когда Марию привезли в палату, она скрутила марлю в жгутик и затянула семь узелков: осталось пятьдесят три перевязки. Родился ее собственный нехитрый календарь, порушивший в прах все сомнения и давший Марии силу для жизни, в которой ей предстояло биться со злом летчика Лешего и наперекор ему сражаться за добро для людей.

На четырнадцатый день Мария выпустила жгутик из рук, и он упал на пол. Она попробовала достать его — не получилось. Пришлось, позабыв про боль, передвинуться к краю кровати — и это не помогло. Но чем больше росло упрямое, дерзкое желание поднять жгутик, тем безрассудней становились ее решения.

Еще несколько минут назад Мария не решалась лишний раз приподнять руку, а теперь, ощутив прилив сил, повернулась на бок и, упираясь руками в кровать, опустила на прохладный пол обессиленные ноги. Боль в спине стала невыносимой, но Мария терпела, не

желая сдаваться. Она уцепилась за тумбочку и сделала первый крохотный шаг.

Мария увидела за окном потемневшее небо с бурыми облаками. Они низко повисли над землей — близился дождь.

«Спротивляйтесь, черт возьми!» — вспомнила она слова доктора, и эти слова вызвали в ее душе волнение, которое бывает у людей, в первый раз открывающих тайны жизни.

Теперь ей оставалось нагнуться. Мария оробела от этой мысли, но тут же с неведомой отвагой оторвала руку от тумбочки и, неуклюже нагнувшись, ухватила жгутик.

Он уже не был белым. В одно мгновение он виделся ей дрожащим кругом, то черным, то оранжевым... Наверное, прошла вечность, покуда Мария смогла подняться. Рука задела стакан с водой, стоявший на тумбочке. Он упал и разбился, оплеснув ее ноги.

И сразу, дрожа от свирепой силы, загрохотали разрывы, заметались люди, застрочил пулемет. Мария увидела, как она, согнувшись, сидит в своем шалаше, тревожно вращает ручку передатчика и все повторяет свои позывные: «Там чудеса, там леший бродит». И вдруг — гулкий белый взрыв, эхо которого протяжно понеслось над морем.

Мария качнулась, испуганно вскрикнула и, потеряв сознание, упала на пол...

На следующий день она с тревогой ожидала, что доктор обнаружит разошедшиеся швы, но он, улыбнувшись, сказал:

— Вчера, как ни странно, вы вырвали веревку у палача.

К вечеру, как всегда, пришла медсестра с градусником. Мария заметила, что один глаз у нее был светлее, а другой темнее, что придавало лицу кроткое выражение, словно у большой обиженной девочки. Медсестра протянула Градовой плитку шоколада и села на краешек кровати.

Мария решила, что это подарок доктора за ее бесстрашие.

— Тут тобой один лейтенант интересовался, когда ты грохнулась, — сказала медсестра. — Симпатичный. Он и шоколад оставил.

Мария не поверила и спросила:

— Откуда он меня знает?

— Пришел вчера в приемный покой. «Я летчик, — говорит, — Степан Смолин. Хочу знать, как тут моя пассажирка, радистка партизанская. Фамилии не знаю. Думал, пока долечу до аэродрома, она у меня в самолете концы отдаст. Плоха была». — И, вздохнув, добавила: — Ты-то его помнишь?

Мария не сводила глаз с медсестры, но, как ей ни хотелось, не могла вспомнить летчика Смолина.

Медсестра сообщила, что на всякий случай записала адрес летчика, и посоветовала Марии написать ему.

Через несколько дней Мария отправила короткое письмо Степану Смолину. Но ответа не получила.

* * *

В судебный зал заглядывало заходящее солнце, золотило желтые стены.

Неожиданно тишину разорвал гул пролетевшего самолета. Градова прислушалась к удалявшемуся тревожному звуку и сразу почувствовала, как в ней с прежней силой просыпается позабытый гнев. Она гнала его прочь, чтобы не поддаться ему или, хуже того, найти успокоение в ненависти, охватившей ее.

«Зря расстраиваюсь и терзаю себя напрасно, — думала Градова. — Может быть, это совсем другой летчик — разве он один к нам прилетал?»

Но в глубине души она чувствовала, что расчетливо хитрит с совестью и что ей очень хотелось бы, чтобы подсудимый Щербак оказался именно тем человеком, который в грозный час бросил ее на произвол судьбы.

Градова объявила перерыв, чем несколько озадачила народных заседателей.

Едва только вышли из зала суда, как Каныгин, изменившись в лице, стал укорять Щербака. Он говорил громко, захлебываясь от волнения:

— Что ж ты из себя добрячка строишь? Подумать только — взял да и признался. А им, — он резко кивнул в сторону судебного зала, — больше от тебя ничего и не надо. Теперь ты у них на крючке.

— Федор, люди кругом, — сказал Щербак.

— Я свою правду на шепоток не променяю, — распалялся Каныгин. — Как тебя угораздило такой грех на душу взять? Зачем? Кому от этого польза?

— Мне, Федор. Пойми. Я кто был? Начальник запани или отставной козы барабанщик?

— Ты меня словами не глуши. Зачем чужую вину на себя взвалил? Чтоб чужая подлость верх взяла? Только не думай, что я страхом прибит. Потому, мол, и бегу в кусты. Совесть не пятак, в карман не положишь. — Каныгин глубоко перевел дыхание и вдруг тихо, словно до этой минуты не он бушевал, а кто-то другой, сказал: — Обидно, Алеша. Был ты для меня человеком, а теперь как тебя назвать?

Неожиданно подошел адвокат Каныгина и, многозначительно разведя руками, сказал Щербаку:

— Неосмотрительно поступили, Алексей Фомич. Здесь суд, а не собрание. И статья у вас скользкая. Удивляюсь вашей позиции. Вы сами себе копаете яму.

Алексей потер переносицу.

— Каждый отвечает за себя.

— Сия премудрость мне известна. Только зря торопитесь. Обвинительное заключение еще не приговор. Его доказать надо, — наставительно заметил адвокат.

— Знаю, знаю, — ответил Алексей. — За свои ошибки надо уметь отвечать. Другого выбора нет.

Адвокат по-своему оценил слова Щербака и удивленно пожал плечами.

— Вы признали себя виновным. А Каныгин отрицает свою вину. Тогда будьте последовательны. Не подводите Каныгина. Отвечайте в полную меру и подтвердите невиновность технорука. Это же соответствует истине. И тогда ваша позиция станет не только благородной, но и прочной. — Сняв очки, добавил: — Попытайтесь взглянуть на вещи здраво. — И ушел.

Алексей проводил его долгим непонимающим взглядом.

— Цепкий у тебя защитник, — сказал он.

Каныгин стоял растерянный.

— Въедливая баба наш судья. На мой характер лучше бы мужик судил.

— Считаю, что нам не повезло, — согласился Алексей.

— Что она в нашем деле понимает? Поворочала бы бревна багром денек-другой — узнала бы, почем фунт лиха. Ну кража, убийство — тут ясно. Всякие улики имеются, отпечаточки пальцев есть... Да ты меня не слушаешь, Алексей.

— Слушаю, Федор, слушаю.

— Зря ты защитника не взял. Неужто денег пожалел?

— Да нет. Не пожалел.

— С защитником спокойнее. Чего сам упусти — он доглядит.

— Мне в жизни за всем самому пришлось доглядывать, Федор. И в бою у меня свое место было... И здесь у меня стульчик свой за барьером. Двух правд не бывает.

Каныгин почесал затылок, сказал:

— Тебе видней, конечно. Только у злой Натальи все каналы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Большие окна гостиницы смотрели на Волгу.

С седьмого этажа, где жили Щербак и Каныгин, река открывалась плоской ширью.

Алексей помешивал ложечкой чай и смотрел в синюю даль.

— Красиво... — не поворачивая головы, сказал он.

— Оно, понятно, красиво, когда спокойно и тихо, — отозвался Каныгин, отставляя тарелку с едой. — А я сегодня опять не спал. — Он достал папиросу, смял опустевшую пачку.

— Я слышал, как ты кряхтел да ворочался... Кому от этого польза, Федор? Может, бессонница даст суду право скостить с тебя годок-другой? — невесело пошутил Щербак. — Ты у защитника спроси.

— Был сплавщиком, стану лесорубом. Опять свежий воздух.

— Убедительно рассуждаешь.

— Стараюсь, Фомич. А вот ты...

— Что я?

— Ты помолчи, стерпи старого дурака. Если правду сказать, лучше бы меня одного судили. Я и лесорубом могу. Было время — двухпудовой гирей крестился, да и сейчас еще есть силенка.

— Я тоже не жалуюсь.

— И свое я уже протопал, — продолжал Каныгин. — И человек я неприметный. Подумаешь, технорук запани! Маленькому человеку и цена невелика.

Алексей отпил несколько глотков и опять стал помешивать чай, а потом вдруг сердито стукнул ложечкой по стакану.

— Может, и те двадцать миллионов, которые легли на дорогах войны, маленькие? Кто же тогда вели-

каны, черт возьми, если не каждый из нас, кого смерть не раз целовать примерялась?

— Боюсь, что не осилить тебе суда, Илья Муромец. — Каныгин покачал головой. — Повалят. Возьми защитника.

— Опять за свое?

— Фомич, возьми. Не убудет тебя.

Алексей резко повернулся к Федору. Но, заглянув в мутные от бессонной ночи глаза друга, только и сказал:

— Чудак ты, право, Федор Степанович.

— Я пойду, пожалуй, — пробурчал Каныгин. — Папирос купить надо.

Алексей отвернулся и опять принялся смотреть в окно, за которым шумела речная жизнь: плыли белые теплоходы, торопились катера, послушные баржи шли за буксирами. Однако неизбежно и постоянно мысли его возвращались к аварии, к пожарам, возникшим в разных местах поселка. И за все ему надлежало держать суровый ответ.

Каныгин сиротливо стоял в коридоре суда и слушал защитника, который доверительно сообщил, что сегодня заседание начнется с допроса Щербака и показания его во многом определяют ход судебного разбирательства.

— Вы беседовали с ним об адвокате? У меня нашелся дельный коллега.

— Ему защитник не нужен. Он сам умный человек.

— Это плохо, — без причины обидевшись, сказал защитник. — Поговорим о наших делах. Очень важно, Федор Степанович, чтобы вы, рассказывая об аварии, раскрыли не только технологические обстоятельства, но и убедительно нарисовали картину стихийного бедствия.

— Стихия и есть стихия. Как ее ни рисуй.

— Ошибаетесь. Одно дело — просто сказать: стихийное бедствие. Это не впечатляет. Это пассивное выражение случившегося. А когда вы говорите: наводнение, ураган, смерч, буря...

— Не было у нас урагана. И бури не было, — перебил его Каныгин.

— Знаю. Согласен. Но когда на вашу запань обрушился двухметровый вал воды, примчавшийся изда-

лека, когда грянул непрошенный дождь, то для вас это ураган, и буря, и смерч. А еще вспомните про то, что двенадцать километров реки забиты десятками тысяч бревен и все они неукротимо рвутся к запани, подгоняемые утроенной скоростью течения. Разве это не ураган? И запань, которая была преградой для всего этого скопища бревен, становится бессильной, она не может удержать их бешеный натиск. Когда судьи представят именно такую картину навалившейся на вас беды, они лучше поймут, какой поединок навязала вам взбунтовавшаяся стихия. Вы поняли меня?

— Чего ж тут не понять? Сорок лет рядом с этим страхом живу.

— Вот, вот! — воскликнул адвокат. — Пусть и суд поймет, что ваша запань — не бетонная плотина Днепрогэса.

По коридору шел Щербак и вытирал потный лоб.

Адвокат, увидев его, торопливо направился в зал.

— Где ты пропадал? — спросил Каныгин. — Тебя первым будут допрашивать. Ты соберись. Вон как взмок.

— Пошли, Федор. Соберусь.

Алексей подошел к барьеру, поднял перекладину и занял свое место. Не глядя на людей, уселся и Каныгин.

— Суд идет! Прошу встать! — огласил зал звонкий голос секретаря.

Память

В станицу Казачью воздушный полк, где служили капитан Щербак и лейтенант Смолин, перебазировался неделю назад. Поспешно отступив, немцы не успели поджечь поселок у моря, сбегавший узкими земляными улочками к заливу. По пыльным обочинам дорог лежали оглохшие, наспех спиленные телеграфные столбы, короткие пеньки которых сиротливо выглядывали из рыжей травы, пропадая в полях.

Впереди был Керченский пролив, за ним укрепился враг, и поэтому на боевых картах появилась новая цель.

Полевой аэродром начинался от околицы станицы. В запущенных виноградниках, что раскинулись вдоль летного поля, лениво бегали зайцы. Они быстро освоились с шумом аэродромной жизни. Охотничьи страсти



летчиков давно были приглушены главным боевым делом, да и души людей, стосковавшихся по живому миру природы, не давали волю рукам, порой тянувшимся к пистолетам.

Полк разместился в доме отдыха с простреленной вывеской «Тамань». От этого слова веяло романтикой юности и доброй памятью о Печорине.

Через несколько дней в комнату Щербака явился дежурный солдат и, чуть заикаясь, нараспев доложил, что капитана вызывают в штаб. Спустя два часа Алексей был там. Штаб размещался в пустом курортном городке, где ветер носил по улицам запахи рыбы и водорослей. Море с ревом набегало на пустой берег, над которым висел тревожный крик альбатросов.

Начальник штаба полковник Ветров, нескладно скроенный, но крепко сшитый, оглядел вошедшего капитана и, не скрывая своего разочарования, сказал:

— Думал, у вас косая сажень в плечах. — Он подошел к окну, за которым штормило осеннее море. — Слушайте меня внимательно, капитан. Наш разговор совершенно секретный.

Алексей молча вытянулся. Не глядя на летчика, полковник Ветров расхаживал по комнате и рассказывал, что в ближайшие дни будет проведена серьезная операция и Щербаку предстоит принять в ней участие. Полковник говорил медленно, порой задумываясь, возможно, в эти минуты проверял верность своих мыслей.

— Вас хорошо аттестовал командир полка. — Он в упор взглянул на капитана и продолжал: — Правда, при этом он заметил, что в полку есть летчики не хуже вас и даже лучше. Но одна черта, отличная от других, в данном случае представляет существенный интерес. — Полковник ушел к окну и оттуда глухо сказал: — Вы гордый человек. Это не упрек. Гордый человек всегда хочет быть сильным, и, как правило, это ему удается. Вам придется действовать автономно, принимать решения в непривычных для вас условиях. Там вы будете командир и летчик, солдат и офицер.

Скоро Алексей узнал, что ему надлежит отправиться в стрелковую дивизию, которая совершит десантный рывок. Ему было приказано пойти с группой первого броска и затем руководить воздушным боем в секторе десанта, наводя наших летчиков на цель и поддерживая связь со штабом.

— Задачу понял, — тихо сказал Щербак.

— Курить хотите, капитан? — спросил полковник и протянул коробку папирос.

Алексей молча закурил.

— Вы можете подумать.

Щербак ничего не сказал в ответ.

— Как вас зовут?

— Алексей.

Полковник Ветров покачал головой, и снова его шаги нарушили тишину, в которой неясно дрожала свеча, и тень полковника то появлялась на стене, вырастая, то пропадала.

— В самый ад пойдешь, Алексей, — сказал Ветров, словно сам был виноват в этом.

— Ясно.

— Там всякое может случиться. Кого хочешь взять с собой?

— Лейтенанта Смолина. Он знает толк в связи.

— Распожусь. В добрый час, капитан! — Начальник штаба протянул ему руку.

К утру летчики были готовы к выполнению задания и проверили радиоаппаратуру.

Холодный порывистый ветер протяжно гудел в приморских высотах и сломя голову носился по серым волнам. Они злились, шумели и с тяжелым стоном выбрасывались на берег.

Назначенная операция уже дважды откладывалась.

Командующий каждые три часа получал неутешительную сводку погоды, но все же подтверждал готовность номер один. Генерала часто видели на причале, он подолгу всматривался в сумрачное небо.

В десантном городке было темно и зябко. Ревущее море нагоняло тоску. Комендант городка, трое суток не смыкавший глаз, встретил летчиков и сказал им:

— Все землянки забиты. Двигайте к седьмому причалу. Там найдете палатку.

Найдя ее и отвернув полог промокшего брезента, Алексей и Степан Смолин не смогли ни на шаг продвинуться дальше — везде люди, снаряды, оружие.

— Комендант говорил, что у вас свободны две койки с пуховыми перинами, — пошутил Щербак, приглядываясь к людям.

— Перинки-то есть, а вот коечки уплыли, — хохотнул кто-то.

Мичман, лежавший у самого входа, сказал:

— Ребятки, уплотнись на две живые души.

И тут же десантники завозились, задвигались, перекладывая оружие и беззлобно ругаясь.

Мичман облокотился на патронный ящик, посмотрел на летчиков, оценивая взглядом их черные регланы, и спросил Смолина:

— Слышали уже?

— С утра мы много кое-чего слышали.

— Тут один чудака говорил, будто сегодня в дело пойдем.

— Каждый чудака сам себе командующий.

— Тоже верно.

— Да ты сам рассуди, мичман, по-трезвому. Кому охота десять ден в жмурки играть? — подал голос кто-то из молодых.

— Муторно, конечно, — согласился мичман. — Только морской десант — штука деликатная, братцы. Особая. Вот бери пехоту, например. Царица полей! Орлы, когда в атаку идут, ничего не скажешь. Но ведь — по справедливости скажу — вы все за ручки держитесь. От Баренцева до Черного моря. Фланг к флангу, впритык. А в морском десанте мы сами по себе. Одни. Это понимать надо, братцы.

— А чего тут понимать? — опять брякнул кто-то из молодых.

— Ты вот первый раз в десанте?

— Ну?

— Одно запомни: когда к месту придем и будет команда «Вперед!», бросайся в море, рвись к берегу, и упаси тебя бог оглянуться назад. Корабли уйдут, а ты вперед! Понял?

...Только через шесть дней море стало терять силы. Огромные гребни пропали. Командующий ушел с причала. В первый раз за все эти дни генерал шагал резво, не оглядываясь, и скоро с берегового командного пункта последовал его приказ:

— Начали!

Быстро опустели землянки и палатки десантного городка. Люди шли к причалам, чтобы без суеты и лишнего шума заполнить катера, баркасы, самоходки и мотоботы. Летчики шагали вместе с другими, поднимаясь на катер по шаткому трапу. Посадка закончилась, и эскадра десанта, осторожно маневрируя, отвалила от причалов.

Шербак и Смолин были в нижнем кубрике, до отка-

за набитом людьми, лица которых нельзя было разглядеть, — они были похожи друг на друга как близнецы. Когда проснулся слабый рассвет, по отдельным фразам, долетавшим с палубы катера, Алексей понял, что уже хорошо виден берег, и решил, что наши скоро начнут артиллерийскую подготовку.

Так и случилось: катера сбавили ход, и в это время мощный огневой удар разорвал светлеющее небо, окрасив его рыжим пламенем. Враг, притаившись, молчал. Катера пошли быстрее. Когда первые из них приблизились к берегу, немцы включили прожекторы, ослепляя десант.

Но корабли упрямо двигались под огнем вперед. Послышался гул самолетов, и Алексей догадался, что это Илы пошли на боевую штурмовку. Щербаку и Смолину удалось выйти на палубу. Трудно было сразу разобраться в чудовищной схватке огня. Они напрягали зрение, чтобы не упустить из виду первые три катера, подошедшие близко к берегу. Прошло несколько минут, и десантники стали прыгать в море.

Взлетела красная ракета. Наши зацепились за берег, и только смерть могла вырвать его у них. Теперь бой шел на земле и на море. Немцы сжимали десантников с флангов, берег огрызался сокрушительным огнем. Где-то начали гореть катера, шли с пробойнами, теряли управление и иногда натыкались друг на друга.

Море швыряло катер Алексея. Многих тошнило, какой-то юнец плакал. Свежий ветер подхватывал каскады брызг, легко срывавшихся с гребня волны, и резко бросал в лица людей.

Степан Смолин выпросил у боцмана два спасательных круга и накрепко привязал к ним железный ящик с радиоаппаратурой. Когда катер обошел стороной горящий мотобот и сбавил ход, летчики подхватили ящик и осторожно опустили на воду. Смолин поднял автомат и «солдатиком» сиганул в море, следом прыгнул Щербак.

Уже потом, когда они вышли на берег, Алексей почувствовал, как стынут промокшие ноги, как стала неприятно покалывать тело замерзающая одежда; но хуже всего было то, что Щербак не знал, куда им идти. Десантники метр за метром расширяли захваченный плацдарм, и теперь уже бои шли на флангах — это было видно по ракетам и огневым вспышкам, а пулеметный клекот с обеих сторон усиливался.

— Будем углубляться, — решил Алексей.

— Начнет светать, сами увидим, кто где, — согласился Смолин.

— Разберемся.

— А может, я разведку проведу? Нам же командный пункт нужен.

— Соображаешь. Только вывески на нем нет. Здесь все художники другим делом заняты.

Уже рассвело, когда они нашли командный пункт. Тропинка к нему петляла среди зарослей кустарника, сбегала в овраг, потом тянулась по ложине и неожиданно круто огибала высотку, на западном склоне которой сливалась с траншеей, где и был вход в землянку.

Пригнувшись перед низкой притолокой, Щербак шагнул в узкий проход, где желтел огонек лампы.

— Есть кто? — спросил он.

— А кто нужен?

Алексей разглядел в полумраке подполковника с белой лохматой головой и доложил:

— Летчик. Капитан Щербак. Имею специальное задание.

— Шустрый вы народ, летчики. — Подполковник надел очки и стал читать предписание, врученное ему Щербаком.

— Как тут у вас? — спросил Алексей.

— Обживаемся.

— Где нам расположиться посоветуете?

— Для вашей радиостанции места хватит. Найдите, что считаете нужным для себя. Людей дать не могу. И еще замечу — воды здесь нет.

Скоро летчики увидели на краю оврага хибарку, возле которой на покосившемся заборе висела рваная рыбацкая сеть. Там, где кончался забор, с жалобой на свою несчастную долю стонала и хлопала простреленная дверь, ведущая в погребок. В сырой хибарке стоял тяжелый, густой запах вяленой рыбы. Здесь и установили рацию. Степан Смолин вышел на связь со штабом, но сильные помехи мешали работать — врывалась то музыка, то отрывистая немецкая речь, и Смолин вращал черную ручку настройки, пытаясь наладить связь.

— Как слышите меня?

— Погано.

— Устроились на новой квартире. Не забывайте нас.

— С новосельем.

— Когда ожидать гостей?

— Дожидались вашего приветa. Теперь встречайте.

А в небе уже появились немецкие самолеты и стали прицельно бить по квадрату командного пункта. Алексей взял микрофон и отполз от погребка на несколько метров; отсюда открывался неплохой обзор, но здесь было довольно опасно. Тогда Щербак выкатил старую рассохшуюся бочку, умело замаскировал ее сетью и поверх набросал веток кустарника. Под ногами заметил осколок зеркала, поднял и взглянул в него — небритый, перепачканный, помятый, как дьявол. Невесело усмехнулся и полез в свое убежище. Из погребка высунул давно не стриженную голову Смолин и сказал:

— Леший, а ты смахиваешь на черепаху. Такие на Галапагосских островах живут.

— У них панцирь покрепче.

— Гляди, «конопатые» отбомбились. Завтракать пошли домой.

И тут до них докатился натужный, урчащий рокот. Это на правом фланге пошли в атаку немецкие танки, чтобы раздавить, уничтожить поредевшие ряды наших десантников, которые чудом остались живы и теперь ожидали пополнения. Прикрывая десантников, ударила артиллерия, и тут же со стороны моря появились знакомые Илы.

— Включайся, Лунатик! — приказал Алексей и крикнул в микрофон: — Танки в квадрате семь! Слышите? Я — Резеда. Идете верным курсом. Под вами облако. Проваливайтесь и штурмуйте весь седьмой квадрат. Давите танки!

— Просят уточнить цель! — долетел до Алексея крик Смолина. — Цель просят!

— Я — Резеда. Повторяю: квадрат семь. Ваш квадрат семь! Слушайте: танки в седьмом квадрате.

Пилоты слушали его голос, выстраивая свои машины, и, обретая уверенность, успешно атаковали танки.

— Первый сеанс провели удачно. — Лунатик вылез из погребка. — Что скажешь?

— Неплохо поработали ребята.

— Им бы еще десяток машин, тогда совсем полный привет.

— Не помешало бы.

Смолин достал фляжку.

— По пять капель можно...

Ночью Алексей пришел на командный пункт.

— Поклон авиации, — сказал подполковник. — Хорошо наводил штурмовиков, капитан. Нюх у тебя как у черта.

— Какова сводочка? Что ожидаете?

— Обстановка меняется, как в арабских сказках. По нашим данным, противник будет прорываться на правом фланге.

...К утру притихший ветер перестал студить лицо и руки. Временами появлялось солнце, по которому истосковались земля и море. Ад начался гораздо позднее, днем. Комбинированный удар с воздуха и мощный танковый натиск должны были парализовать подход новых десантных частей. Блокировать десантников, смять и раздавить нашу оборону — таков был замысел врага.

Юркие «мессершмитты» шли ровными звеньями, подолгу болтались в светлом небе и, опустив носы машин, мощным огнем пулеметов обстреливали плацдарм. Уходили одни, на смену им приходили другие самолеты. Потом с правого фланга двинулись танки. Шум, лязг, громовой грохот, оружейные залпы — все слилось в смертельную канонаду.

Внезапно и лихо спикировав, немецкий истребитель длинными очередями обстрелял высоту, где находились летчики. Рыбацкая сторожка загорелась. И в это время по далекому звуку Алексей понял, что летят Илы.

Вглядываясь в небо и не думая об опасности, он заговорил в микрофон:

— Я — Резеда! Танки в пятом квадрате. Слушайте меня: пятый квадрат. Пятый! Заходите только с моря, здесь нет зениток. Танки идут по окраине поселка. Там наших нет, можно порезвиться. Девятый, над тобой истребитель!

Еще один «мессершмитт» вынырнул из-за низкого облака и стал преследовать штурмовик. Щербак продолжал кричать изо всех сил:

— Девятый! Сдурел, что ли? На хвосте истребитель!

Штурмовик резко развернулся и скоро на бреющем полете огнем эрэсов атаковал танки — молодой был пилот, отчаянный. Но враг оказался хитрым асом, который знал больше, — на максимальной скорости нырнул вниз и тут же стал набирать высоту. Выгодная по-

зияция позволила ему ударить гибельным огнем в хвост штурмовика. «Девятый», охваченный пламенем, упал.

Алексей закрыл глаза, мысленно повторяя полет «девятого», и понял, что у молодого летчика не хватило опыта.

Ах, «девятый», «девятый»! Ему бы только отдать руль высоты, крутануть половинку фигуры, и тогда бы все было иначе. Ах, «девятый»!

С ночью пришла передышка, но никто не знал, сколько она продлится.

Светало, когда до Алексея долетел призывный крик: — Тревога! Офицеры, на командный пункт!

Толкнув Лунатика, Щербак вскочил и выбежал из землянки. Следом гулко топал сапогами лейтенант Смолин. Бой закипал опять на правом фланге. С каждым мгновением нарастал оглушительный грохот — немцам все же удалось прорваться. Два танка с автоматчиками на броне ворвались в отвоеванную зону и шли напролом.

Алексей, выскочив из ложбины, увидел бежавшего с автоматом подполковника. За ним спешили офицеры. Они были без шинелей, на их кителях и гимнастерках тускло блестели ордена и медали, заслуженные страшной военной работой.

— Вперед! — закричал подполковник, прижимая к груди перебитую руку.

Алексей бежал, пытаясь на ходу застегнуть реглан, но пуговицы непослушно выскальзывали из рук, и тогда он сбросил его и рванулся следом за подполковником. А вокруг — комья земли, взрывы и свист осколков.

— Не отставать! За мной! — надрывно кричал подполковник.

Алексей слышал хриплое дыхание офицеров, догнавших его. Он полоснул из автомата по немцу, почти не видя его, а только поняв, что тот поднял гранату, и фриц под огненной струей дернулся, поник и повалился. А летчик уже бежал дальше, туда, где виднелась белая лохматая голова подполковника. Из оврага поднялась цепочка немцев, и Алексей, шумно размахнувшись, бросил последние две гранаты в их сторону. У кромки оврага два немца качнулись, опрокинулись назад, а третий тихо опустился на колени, согнулся и жалко зацарапал ногтями чужую землю.

Алексея догнал Смолин, обвешанный гранатами,

мокрым от пота, с сияющими глазами, и, передавая товарищу связку, воскликнул:

— Мы сейчас их пошарашим, Леша!

С разбега перемахнув через широкий ров, Алексей оказался впереди седого подполковника и тут же вздрогнул, услышав близкий лязг гусеницы. Яркое пламя разорвало едкую пелену дыма. Алексей, прижимаясь к земле, ждал приближения танка. Когда стальная громада перевалилась через пригорок, он изловчился и метнул «букет» — тяжелую связку гранат. Ахнула взрывом земля, и Алексей бросился вперед. Следом за летчиком устремились другие.

— Слушайте все! — вдруг крикнул раненый подполковник, остановившись у поверженного танка. — Видите впереди капитана? Если до Большой земли не дойду, приказываю передать командиру... Кто живой дойдет... Прошу наградить героя! Летчик он... Щербак...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Подсудимый Щербак! Расскажите суду, как произошла авария на запани?

Алексей потер переносицу и, вспомнив почему-то, что полет птицы начинается с того, что она набирает воздух в грудную клетку, тоже глубоко вздохнул. Воздух был теплый и горьковатый.

— Скажу откровенно: тяжело сознавать, что ты подсудимый. Я отказался от защитника. Возможно, поступил опрометчиво. Может, потом пожалею об этом. Но сейчас я глубоко убежден, что прав.

Щербак повел речь о том, что сплав — дело древнее. Но и в наши дни на сплаве столько неожиданностей, что тревога подкрадывается к людям с того дня, как первые бревна сброшены в реку. Сплавщики используют силу природы. Они всегда готовы подписать с ней договор дружбы, но природа и стихия больно строги. Сговориться с ними — дело трудное. Запань — это гигантский завод, который раскинулся на сотни километров, но этот завод без стен и крыш. Завод под небом. Река — наш конвейер. Она диктует режимные условия сплава. А они неустойчивы. За многие годы мы научились разгадывать повадку реки, норы ветра и капризы отмелей. И все-таки не зря народ сказывает: «Живет и такой год, что за день семь погод». Таким

коварным годом для нас оказался нынешний. Теперь попробуйте подчинить конвейер этим семи погодам...

Градова смотрела на Щербака беспокойным, но внимательным взглядом. Факты и обстоятельства, изложенные Алексеем, во многом опровергали ту кажущуюся ясность событий, которые обозначались в обвинительном заключении, где доказывалась виновность подсудимого.

— Подсудимый Щербак! При подготовке к сплаву вы учитывали долгосрочный прогноз погоды? — спросила она.

— Обязательно. Предсказывали сухую устойчивую погоду.

— А что было на самом деле?

— В первое время прогноз оправдался. А вот начиная с десятого июня пошли дожди.

— Вы можете уточнить уровень воды в районе запани начиная с десятого июня?

— Могу. Девятого — триста шестьдесят сантиметров, одиннадцатого в двадцать часов — четыреста, двенадцатого — четыреста десять, вечером — четыреста тридцать, тринадцатого — шестьсот двадцать, а четырнадцатого — в момент аварии — шестьсот пятьдесят.

— При каком горизонте вы открыли запань?

— Горизонт был триста сорок сантиметров.

— Эти условия обеспечивали нормальный ход сплава?

— Безусловно.

— Вы вылетели в Осокино одиннадцатого июня в девять утра. К этому времени горизонт был... — Градова заглянула в листок, — триста семьдесят сантиметров.

СТРАНИЦЫ, КОТОРЫХ НЕТ В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

Когда Алексей позвонил на аэродром и заказал спецрейс в район Осокина, в нем с неожиданной ясной силой пробудилось чувство боязни свидания со своим прошлым.

Если бы не крайняя нужда совершить облет реки и добраться до соседней Осокинской запани, он бы и не затевал этого полета, который неминуемо разбередит старые раны. Алексей чувствовал, что, едва только ступит на аэродром, а тем более когда взлетит, он не сможет заглушить горькие воспоминания.

Сплав начался двадцатого мая.

Сплавщики, стоя на шаткой тверди бревен, выдерживали лесину за лесиной и пускали их в ворота запани, за которыми кончалась свобода бревен.

Река трудилась, покорившись жесткой воле людей, но сами сплавщики хорошо знали: не угляди кто-нибудь за взбунтовавшимся бревном, кишашая лесом река рванется на запань со злобой и отчаянием.

Дело двигалось нормально. Но вдруг в последние дни неожиданно резко замедлилось поступление леса в запань. Алексей собрал мастеров и десятников. Одни считали, что образовавшийся где-то затор мешает речному конвейеру работать в полную силу. Другие утверждали, что Осокинская запань, поставляющая лес Сосновке, тормозит его выпуск. И тогда Щербак принял решение: облететь весь район и самому установить причину.

У самолета его ожидал белобрысый пилот. Он критическим взглядом окинул пассажира и серьезно сказал:

— В копеечку обойдется рейс вашему колхозу. Наверное, председатель?

— Нет. Какие еще будут вопросы?

— Не укачает?

— Не думаю, — ответил Алексей без обиды.

— Мое дело доставить, — пожал плечами пилот, — залезайте в машину, пристегнитесь.

— Понятно, — сказал Алексей. — Теперь послушай меня.

Летчик насторожился.

Алексей вынул карту и, объяснив задачу полета, попросил:

— Как можно ближе прижимайся к воде. Чтобы пыж хорошо разглядеть. — Он уловил, что летчик не понял его, и добавил: — Бревна подвергаются уплотняющему действию потока. Поэтому и возникают многорядные нагромождения леса. В три, а то и в шесть накатов. Это и есть пыж. Договорились?

— Нарисую, — деловито ответил летчик и поднялся в кабину.

Плавно взлетев, самолет сделал круг над полевым аэродромом и лег на курс. Через несколько минут под крылом машины возникло широкое русло реки, забитое бревнами.

Самолет стал «утюжить» реку.

Впереди водяные просветы становились все больше, поблескивали синевой. Изредка плыли одиночные лесины. Вскоре опять показался плавучий лесной островок. А еще дальше пошла чистая вода.

Самолет покружил над рекой и взял курс на Осокино. До запани оставалось пятьдесят километров.

Приметливый глаз сплавщика сразу обнаружил, что вода резко спала, а через несколько километров появились облысевшие отмели, на которых лежали почерневшие обсохшие бревна.

«Ну вот и причина, — подумал Алексей. — Наверно, и в верховьях так».

Когда долетели до запани, самолет, покачав крыльями, пошел на посадку. Выбрав место, он стал снижаться, но неожиданно летчик повел машину на левый берег. Уже потом, когда сели на луг, разогнав цветных бабочек шумом мотора, Алексей спросил летчика:

— Почему в первый раз не сел?

— Кочек много. Заболоченное место.

— Я не заметил.

— А это дело не пассажирское.

— В общем, ты прав, — грустно согласился Щербак.

— Надолго задержимся?

— Ужинать дома будем.

— А обедать?

— Накормят. Здесь люди добрые.

Алексей шагал к запани и думал, как здесь можно поднять горизонт воды. Он раскрыл дверь конторы и увидел: его коллега и старый приятель, начальник Осокинской запани Семен Ершов чинил прохудившийся сапог. Работал он с усердием, хмуря большой, широкий лоб.

— Давненько ты у нас не гостевал, Фомич. Здравствуй, — приветливо сказал Ершов.

— Здорово, — Алексей протянул руку и почувствовал силу сухой и крепкой руки Ершова.

— Сейчас кончу, — сказал Семен Макарович и ловко заработал сапожной иглой, будто весь свой век только этим и занимался.

Алексей знал Ершова давно, водил с ним дружбу, но в глубине души отчего-то жалел его.

Семен Макарович, которого мальчишки дразнили Сократом, жил здесь, пожалуй, со дня своего рождения. И было время, когда его запань славилась делом,

а ее хозяин упорством и щедростью. Но время шло. Жена его умерла, а сын уехал на Чукотку. Второй раз Ершов не женился, жил в доме один. Руки у него были золотые, путевые, а душа сгорбилась, не успев состариться. Когда-то он боролся за Осокино, но запань была небольшая, неприметная, и за отсутствием перспективы никто Ершову не помог, не поддержал.

Похоронив жену, Семен Макарович никаких отношений с людьми, кроме служебных, не имел — смирился, зажил тихо, словно утомился от работы к сорока восьми годам и не видел в ней никакой прелести: один голый долг.

— Как живешь-можешь? — спросил Щербак.

— Паршиво.

— Вижу. На мели сидишь?

— А ты, может, мне водицы привез? А, Фомич? Ведра два? — Ершов вздохнул. — Так-то вот.

И Щербак услышал в его голосе скрытую радость избавления от ответственности. Он помолчал немного и сказал:

— Я еще продержусь. А потом? Рядом с тобой сяду. Ты же на мой план петлю вешаешь.

Зазвонил телефон.

— Ну? — сказал Ершов в трубку и шумно задышал. — Все в порядке? Давно бы... Я вам покажу магарыч, сукины дети! — сердито добавил он и бросил трубку. — Два дня связи не было.

— Так что же делать будем? — спросил Алексей.

— Сколько лет тебя знаю, Фомич! И все ты такой задиристый, цепкий. Из такой породы хорошо багры делать. Раз ты о своем плане печешься, то давай так порешим: увольняй меня к чертовой бабушке. И бери мою запань под свою власть. Только как же ты реку уволишь? Наша река тощая, не чета вашей.

Слушая Ершова, Алексей все прикидывал, как бы повысить уровень речушки.

— Природа, Фомич, — философски заметил Ершов. — И весь тут сказ. С нее взятки гладки.

— Ты так думаешь? — спросил Алексей. — А все ли в твоей сказочке правильно? Ты забыл мне про Иванушку рассказать. Между прочим, зря. Сказочку эту тоже Ершов сочинил.

— Как же, — беззлобно согласился Семен Макарович. — Знаю, был такой писатель. С детства помню. — И неожиданно угрюмо добавил: — Устал я, Алексей.

Помолчали. На дворе от жары и скуки злилась собака. Облака плыли легкие, кудрявые, напоминая прически городских девчонок.

— Случись у меня такая беда, — убежденно заговорил Щербак, — поставил бы земляную перемычку — и всем заботам конец.

— Чудак ты, право. Только об этом и думаю.

— Ну и что?

— Неужто лопатой насыпь ставить? Сам знаешь, какая у меня техника.

— У тебя два колхоза под боком.

— Точно, — мрачно согласился Ершов.

— Мог бы и на поклон сходить — помогли бы.

— Ездил, Фомич, ездил. Отказали. Каждый трактор у них на учете. Не до моей беды председателям.

Алексей молча покачал головой.

Ершов понял его иначе и грустно сказал:

— Так что придется ждать.

Алексей облизнул сухие губы, откашлялся:

— Пойду похарчусь. И летчик мой обедом интересовался, — и вдруг умолк. Озаренный догадкой, пересел к телефону и позвонил в воинскую часть, стоявшую возле березовой рощи. Щербак видел их лагерь с самолета, когда летел в Осокино.

Он сумел уговорить командира части помочь Осокинской запани поставить земляную перемычку. Положив трубку, сказал:

— Сегодня у тебя солдаты гостить будут. И технику прихватят. Так что созывай свой народ.

Семен Макарович долго молчал, оскорбленный находчивостью Щербака. Он слушал звуки, долетающие со двора, скрип двери от легкого ветра, лай собаки, утомленный крик птиц и всей своей рано пришедшей старостью понял, что с запанью ему пришло время расстаться — он здесь не начальник, а лишний человек.

Приподнявшись, крикнул в окно сторожу:

— В рельс вдарь. Погромче! — Потом снова, не глядя приятелю в глаза, повторил: — Устал я, Алексей.

— Я где-то хорошие слова слышал, — задумчиво сказал Щербак. — «Бензин кончился, на самолюбии долечу».

— Чкалов, — определил Ершов.

— Точно. Соображаешь?

Слабая улыбка появилась на лице начальника Осокинской запани.

— Ладно. Поеду я к своим хлопотам. Кончим страду, приезжай ко мне. Потолкуем за жизнь. По рукам?

— Может, и соберусь...

Алексей долго смотрел в карие глаза старого приятеля и сказал просто, с добрым сочувствием:

— Свои должны встречаться чаще.

Стоя у дверей конторы и провожая взглядом уходящего Алексея, Ершов подумал, что Щербак живет на земле в охотку, с удовольствием и в этом его главная сила.

* * *

Градова, сощурившись, смотрела на Щербака, который неторопливо и обстоятельно рассказывал про поездку в Осокино, слушала его с особым вниманием, потому что боялась что-либо пропустить из его показаний.

— Когда вы вернулись в Сосновку? — спросила Градова.

— Поздно вечером.

— Какая погода была на трассе полета?

— Сухая. В Сосновке, — добавил Щербак, — узнал, что в Загорье идет ливень. Это триста километров от нашей запани.

— Какой был горизонт в Загорье?

— Одиннадцатого июня пятьсот шестьдесят, а двенадцатого — уже шестьсот сорок сантиметров.

— Это считается резким повышением?

— Посудите сами: за сутки вода прибыла почти на метр.

— Когда в Загорье начался спад горизонта?

— Через день. Тринадцатого.

— Из материалов следствия, — сказала Градова, — видно, что с начала подъема воды и вплоть до аварии не были закрыты ворота запани, предназначенные для выпуска древесины. Почему это не было сделано?

— Факты, о которых вы говорите, нуждаются в серьезном уточнении, — ответил Щербак. — Горизонты порядка трехсот пятидесяти — трехсот шестидесяти сантиметров нормальные для выпуска леса. Были случаи, когда сплав продолжался даже при более высоких уровнях.

— А вы не усмотрели угрожаемого положения в неустойчивости режима?

— Усмотрели, — тут же согласился Щербак. — Одиннадцатого июня к двум часам дня горизонт поднялся до четырех метров, и технорук запани Каныгин дал указание мастерам сплава закрыть ворота запани.

Каныгин быстро закивал головой, подтверждая слова Щербака.

— В какое время он дал указание? — спросила Градова.

— Через тридцать минут, как получили сводку, — не выдержал и громко с места ответил Каныгин.

СТРАНИЦЫ, КОТОРЫХ НЕТ В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

Когда Алексей вернулся в Сосновку, он, не заходя домой, направился на запань. И сразу, окинув ее тревожным взглядом, понял, что в те часы, когда он уходил от беды своего соседа Ершова, к нему примчалась высокая вода.

Перед запанью в два-три наката громоздились бревна, образовав у ее ворот затор.

— Не сладкие у нас пироги, — помрачнел Алексей. Каныгин молчал.

Обычно технорук реагировал на замечания быстро и точно. Все, что касалось его дел, было ему ведомо, а теперь он почему-то медлил и даже отвернулся от Щербака, словно провинился и не знал, как начать разговор. Постояв в раздумье некоторое время, Федор Степанович сказал:

— Хорошо, что ты приехал.

— Дома оно всегда лучше. Только нескладно получилось. Поехал за шерстью, а вернулся сам стриженный. Когда поднялась вода?

— В полдень.

— Почему не закрыл ворота?

— Ты меня для дела на запани оставил, — Каныгин враз оживился, голос его стал твердым, звучным. Огромные практические знания, добытые опытом и ошибками, подсказывали ему верность решения, принятого им. — Не мог я приказать такое. Разве что со страху увел бы людей домой. А план пусть горит? Так следует понять? Будто ты меня первый день знаешь. Не в таких передрыгах бывал... Ведь никто не знал, что к нам рванется большая вода.

— Меня-то зачем в слабонервные зачислил?

— Ты вот что, Алексей, не давай волю обиде. Пойми мою позицию. Я ее любому инспектору докажу.

— Погоди, до инспектора еще не дошло. И мне про сплав не рассказывай, как дикарю про автомобиль. При создавшемся положении лучше было бы ворота закрыть.

— Сейчас легко говорить. А семь часов назад, скажи я тебе такое, ты бы меня матерком. И был бы прав. — И, уловив в задумчивых глазах Алексея тревогу, добавил: — Я еще живой. С меня и спрос будет. Тебя здесь не было. Вот какой факт.

* * *

— Так почему же, подсудимый Щербак, все-таки не были закрыты ворота? — спросила Градова.

— В создавшихся условиях этого нельзя было сделать. Перед запанью лежала сплошная масса древесины. Длина пыжа составляла двенадцать километров, и расчистка могла привести к серьезным последствиям — в такое время пыж трогать опасно.

— И что же вы предприняли? — насторожилась Градова.

— Мастера сплава пытались расчистить ворота. Но затор устойчиво сопротивлялся.

— А была возможность закрыть ворота хотя бы при некоторой расчистке затора?

— Нет.

— Почему?

— Как бы вам поточнее объяснить... Представьте себе обыкновенный забор и ворота. Так вот, запань — преграда для бревен — чем-то напоминает это привычное сооружение. Только забор запани состоит из бревенчатых плиток, ширина каждой — шесть с половиной метров. И лежат они на плаву, удерживаемые стальными тросами. А ворота образуются, когда вынимают плиты для пропуска древесины. Тогда у нас ворота были распахнуты почти на двадцать метров. Были сняты три плитки. Чтобы поставить хотя бы одну из них, нужно иметь свободное место. И, как видите, не маленькое.

Градова перелистала страницы своих записей и спросила:

— Вы говорили, что повышение горизонта воды,

происшедшее в районе запани, не создавало угрожаемого положения?

— Да.

— Теперь вы утверждаете, что обстановка была сложной и фактически предаварийной. Что в действительности является истиной?

— Наше положение вначале — это трудности неугрожаемого порядка, и они могли быть устранены. От заторов никто не застрахован, но с ними можно бороться. Однако водяной вал, неожиданно пришедший с верховьев реки, и дожди, хлынувшие в нашем районе, резко увеличили силу стихии.

— И что же случилось?

— Нетрудно догадаться, — Алексей заволновался оттого, что его не хотят понять. — Лес обрушился на запань, плитки оказались в полузатопленном положении. Груда бревен навалилась на провисшие тросы в воротах запани. Нажим пыжа усилился. Именно тогда и появилось предаварийное состояние.

«Его голыми руками не возьмешь, — подумала Градова. — С ним будет очень трудно. Мужик умный и верткий».

— Вы вернулись из Осокина одиннадцатого вечером, — сказала она. — Какие вы приняли меры, чтобы предотвратить аварию?

— Ночью мы провели дополнительное укрепление запани. Завершили работу утром двенадцатого.

— Что было сделано?

— На обоих берегах были врыты мертвяки — бревна диаметром в полметра. К ним прочно прилаживались стальные тросы, которые другим концом крепились к бревнам пыжа. У нас такое устройство называется засорами.

— Какое влияние это оказало на сохранность запани?

— Засоры укротили натиск пыжа.

— Чем это можно доказать?

— После аварии в районе засор удержалось свыше десяти тысяч кубометров леса.

— Этих креплений при аварийном состоянии запани было достаточно?

— Нет. Три выноса, поданных на низкий левый берег, были разрушены при первой подвижке пыжа. Мертвяки залило водой. Земля размокла.

И Градова, угадав мысль Щербака, закончила:

— Их сорвало силой натяжения?

«Соображает, — подумал про судью Алексей. — Ей палец в рот не клади. Видно, что к суду готовится основательно».

— Да, — согласился он.

— Так почему же вы вели работы на затопляемом месте?

— При высоких горизонтах воды правый берег тоже затопливается на значительном расстоянии. Чтобы соорудить мертвяки на незатопляемом месте, нужны длинные тросы. Их у нас не было.

— Из акта, составленного после аварии, видно, что лес частично ушел по низкому берегу и снес на своем пути семь колхозных домов, расположенных недалеко от вашей запани. Было ли предусмотрено проектом сооружения запани укрепление этого берега?

— Нет.

Градова внимательно наблюдала за поведением подсудимого. Ей казалось, что даже в самых простых ответах, в которых прозвучит неправда, волнение выдаст Щербака.

— Когда вода начала затоплять низкий берег, у вас не возникло решения укрепить его?

— Для этого следовало строить опоры из кусков свай. Это нам было не под силу.

— А соорудить донные опоры в русле реки? — спросила Градова, радуясь тому, что прочитанные книги пошли ей впрок.

— Русло реки было забито древесиной. Впрочем, строить свайные опоры мы тоже не могли.

— Почему?

— Мы не располагали необходимым временем.

— Это единственная причина?

— Нет. Главная причина в том, что у нас не было копра для забивки свай.

— Допустим, — сказала Градова. — Гидрологические условия быстро менялись, происходил резкий подъем воды. Можно ли в такой обстановке проводить капитальные работы по укреплению запани?

— Нельзя.

— Какие еще были приняты меры по предотвращению аварии?

— В полукилометре выше запани была установлена глухая перетяга.

— Поясните суду, что это за сооружение.

— Стальной трос большого диаметра специальным способом крепится к бревнам, находящимся в реке. Концы троса выносятся на берег и крепятся к мертвякам.

— И что произошло?

— Сильное течение вызвало подвижку пыжа, и ниже перетяги образовалось льяло — пустое пространство. Бревна оторвались от троса, и все давление тысяч лесин обрушилось на трос. Он лопнул.

— Что было дальше?

Алексей, утомленный от потока вопросов судьи, сказал:

— Пыж, не имея сопротивления впереди, ускорил движение. Получился динамический удар. От этого удара правая часть запани была окончательно затоплена. Лес устремился поверх запани. Другая часть древесины ушла через затопленный левый берег, сметая все на своем пути.

* * *

Недели за две до начала сплава Щербаку позвонил управляющий трестом Назаров.

— Что у тебя? — спросил он.

— Порядок. Пока порядок.

Григорий Иванович Назаров подышал в трубку и сказал:

— Ты, Алексей Фомич, вот что — живо приезжай. Есть разговор.

Щербак приехал в трест в полдень. Дверь в кабинет Назарова была открыта. Увидев Щербака, управляющий позвал его к себе и сказал секретарше:

— Клавдия, мы с Алексеем Фомичом потолкуем часок.

Назаров закрыл дверь, снял пиджак и вытер платком вспотевшее лицо. Потом придвинул два кресла к открытому окну и спросил:

— Кого предлагаешь назначить начальником твоей запани?

— Как-то не задумывался.

— И зря. Не вечно тебе на запани верховодить.

— Тебе виднее.

— Выходит, мне положено думать, а ты вольный казак?

Оба умолкли и, глядя в окно, ожидали, когда пройдет товарный поезд, — рядом был железнодорожный

переезд. Мелькали колеса состава, и в воздухе майского дня висел грохот.

— Свято место пусто не бывает, — с усмешкой ответил Алексей. — Найдутся люди.

— Вот я и спрашиваю — кто?

— Но я хотел бы сначала узнать, за что меня снимают? Если, конечно, не секрет.

— Никаких секретов.

— Уже легче.

— И все-таки я прошу тебя ответить на мой вопрос.

— Можно Каныгина. Мудрый старик.

— Опытный мужик.

— Меня учил уму-разуму, — улыбнулся Алексей.

— И меня тоже в былые времена, — сказал Назаров. — Только характер мягкий, не волевой. Не потянет. Так что подумай к другому разу. — Назаров налил в стакан минеральной воды. — Сейчас разговор о тебе. Есть мнение назначить тебя заместителем управляющего трестом.

— Этого делать не следует.

— Почему?

— Не кабинетный я человек, Григорий Иванович. Не смогу.

— Сможешь либо нет — тут послушай меня, — сказал управляющий, чувствуя, как в груди защемило. — Или ты только Назарова в начальниках числишь?

Последние годы Григорий Иванович часто хворал. И он с грустью размышлял в одиночестве о том, что ему вот-вот стукнет шестьдесят и его ожидает на свидание седая бабка с косой. Жалко. Ох как жалко...

— Честно скажу: не хочу забираться высоко, — сказал Щербак.

Назаров посмотрел на огромное полуденное солнце, сощурился и спросил:

— Страшно?

— Не мое это дело, Григорий Иванович.

— А чье же? Иль хочешь, чтоб поглупее человек тобой руководил?

— Я сплавщик!

— Именно. Из нашего племени.

— Зачем же в кабинет усаживаешь?

Снова загудел, загрохотал проходящий поезд.

— Там, в Сосновке, выйдешь на берег, волна рядом плещет — хоть маленькая, а стихия...

— А здесь? — с терпеливой строгостью спросил управляющий.

— Здесь я с тоски помру. Не кабинетный я человек. И не надо меня неволить.

— Так. Выходит, я кабинетный? — угрюмо спросил разволновавшийся Назаров и, отвернувшись от Алексея, долго сидел не шевелясь, беззвучно, точно сыч. Потом добавил: — Ты нужен мне здесь. Очень нужен.

— А на запани я уже не нужен?

— Ясное дело, у себя ты хозяин! Первый парень на деревне! И все-таки я тебя прошу, Алексей, ради меня принять это предложение, — сказал Назаров. — Мне тяжело здесь одному.

— Но ты знаешь мой характер. Не сахар...

— Ты понял меня? — спросил, перебивая его, Григорий Иванович.

Алексей подумал: нужен ли он действительно управляющему или Назаров хочет назначить его на высокую должность из дружеских побуждений, из личных симпатий? «Если за дела мои, то славно», — и посмотрел на управляющего, улыбнувшись.

— Понял? — удовлетворенно повторил Назаров.

— Кажется.

— И слава богу. Когда сможешь принять дела?

— Мне надо подумать, пораскинуть... С Ольгой посоветоваться. А лучше всего, Григорий Иванович, поступить так — проведу я этот сплав и тогда за новые дела возьмусь.

* * *

— Так... — громко сказала Градова, продолжая допрос. — А если бы не была установлена перетяга, то запань могла бы выдержать напор стихии?

— Я могу только предположить, — негромко ответил Щербак, с отчуждением глядя на судью.

— Что именно?

— Что запань сдержала бы напор стихии.

— Вы в этом уверены?

— Я не хочу заниматься гаданием на кофейной гуще... Перетяга была установлена с моего ведома.

— И согласия? — спросила Градова.

— Именно. Стало быть, я как начальник запани несу полную ответственность за все последствия.

— И все-таки я хочу знать, какие выводы вы сделали, анализируя причины аварии.

— Их три. Мне не следовало прекращать работы по устройству запани-временки в заостровье. Я не должен был соглашаться на установку перетяги. И самое важное. Не будь этих двух губительных решений, принятых мною, осталась бы главная причина аварии — резкий подъем воды на реке, — с надеждой, что ему поверят, ответил Алексей.

Он думал в эти минуты о том, что человеку мало строить и трудиться ради добра на земле — за него нужно бороться яростно, не жалея своей жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Федор Степанович хорошо знал, что его ожидает впереди, если суд признает его виновным. Каныгину было не по себе: стыд преследовал его, и было нестерпимо больно сидеть за оградой, прижатой к стене судебного зала, отзываясь на суровое слово «подсудимый».

По ночам, лежа с открытыми глазами, Каныгин думал, смогут ли пятьдесят восемь лет его жизни, брошенные на чашу весов суда, перевесить нераспутанный клубок беды, обозначенный страшным словом — авария.

Ответа Федор Степанович не находил.

Иногда в коротких и тревожных снах ему виделась картина, будто писаная: шагал он среди высокой травы, искусно сшибал ее косою, и ветер задирал подол его белой рубахи. И вдруг — звонкий голос дочери:

— Папаня!

— Чего? — испуганно отвечал Федор Степанович и сразу просыпался. Томимый неизбывным горем, он опять мучился до рассвета, не надеясь на чье-либо участие.

Всю жизнь Каныгин жил просто, много работал: смолоду сплавщиком, потом бригадиром, мастером сплава, а заканчивал свою карьеру техноруком запани. Федор Степанович слыл на запани человеком, который не ест дармовой хлеб и не отворачивает спины от тяжелой ноши.

Рабочий люд его ценил, стучался в дверь запросто. «Федор Степанович, пусти в город, — бывало, канючил молодой сплавщик в самую жаркую пору, когда река стонала от обилия леса и каждый человек был на счету. — Сил нет, усохну от работы». — «Устал или по-

гулять хочешь? — хмуро спрашивал Каныгин. — Только не ври мне, едрена палка». Парень испуганно признавался: «Погулять хочу». — «Катись! — разрешал Каныгин. — Полтора дня даю». Но кто после таких слов поедет в город? Хитрый мужик Каныгин.

Больше всего Каныгин сердился на следователя Снегирева, который предъявил ему обвинение в халатности. Это обидное слово раздражало Каныгина неожиданной разгадкой истинного, сокровенного смысла, к которому старый сплавщик в поисках ответа пришел своим умом. По его понятию выходило, что он всю жизнь проработал в халате, а не в бахилах и ватнике, с мокрой спиной и багром в кряжистых руках.

Каныгина подмывало кивком головы пригласить судью Градову в сторонку и высказать ей все начистоту, чтобы судебные власти в лице этой дамы с намятыми ногтями сообразили на всякий случай, с кем имеют дело.

Память

В тот день он стоял у ворот запани и, выдергивая багром бревна, пускал их в открытые ворота. Вокруг него на сплаве трудились одни женщины и юнцы — у мужиков была иная работа, фронтовая. Возможно, кто-то из них сейчас бежал в атаку или дремал после тяжелого боя, а Федор Степанович, оставив дома больную жену Антонину, четвертые сутки не уходил с запани. Зима в тот год была капризная. Снега выпало мало. Значит, и паводок будет маловодным. Да и ночные заморозки задержали снеготаяние. Река вскрылась поздно. Так что времени на сплав природа отпустила в обрез, поэтому каждый час был дорог и невосполним.

Федор Степанович знал, что должен выиграть эту атаку. И дивился одному: откуда только брались силы у молчаливых женщин, что стояли рядом с ним, еще мало обученные, не привыкшие к зыбкой тверди скользких бревен, влекомых потоком норовистой реки?

Он то и дело посматривал на свою женскую роту, и взгляд его останавливался то на одной, то на другой солдатке, чьи сердца уже были обожжены болью и холодом, — не каждой из них суждено дожидаться любимых.

— Папаня! — услышал он голос своей дочери, две-

надцатилетней Катюши. Она помахала ему рукой, в которой держала пестрый узелок с обедом.

И вдруг раздался пронзительный вой. Все вокруг засвистело, застонало. Каныгин понял: бомбежка. В небе шли самолеты врага.

— В укрытье! — скомандовал он и, перескакивая с бревна на бревно, бросился к берегу.

Федор Степанович подбежал к дочери, подхватил ее на руки. Желтые цветочки ее ситцевой блузки померкли в расплывшемся ярком кровавом пятне. Катюша посмотрела на отца страшным невидящим взором и, сию минуту что-то сказать, разомкнула враз посиневшие губы, но тут же откинула взлохмаченную каштановую головку.

— Люди! — обезумев, крикнул Каныгин. — Что же делать? Люди! Она умерла...

С кладбища Федор Степанович вернулся один. Когда на могильный холмик была брошена последняя горсть земли, Антонина не выдержала горя, сердце ее остановилось.

В доме Каныгина стало пусто и одиноко. И с тех пор всю жизнь он маялся на свете бобылем: однолюб был Федор Степанович.

* * *

В суд Каныгин явился рано.

В длинном коридоре было пустынно, только уборщица подметала пол.

— Чего дома не сидится? — спросила она.

— Нынче мой дом здесь, — ответил Каныгин и вздохнул.

— А почему без милиции гуляешь?

Федор Степанович не ответил.

— За пьянку небось взяли? — допытывалась уборщица.

— Хуже.

— Хуже не бывает. Иди в сторонку... — Она умолкла, сочла, что высказала главное.

Каныгин ушел к окну и смотрел на город, шумно и говорливо начавший еще один трудовой день.

Бывали у него минуты, когда, забыв про свои печали, он сам с пристрастием допрашивал себя: «Может быть, не по праву занимаю я место технорука?» Люди рядом подобрались грамотные, ладные. Видно, время пришло потесниться ему, раз годами состарился.

Но ведь, почитай, сорок лет, как он побратался со сплавом, до сих пор глаз его зорок, рука верна, все седые тайны и законы сплава ему ведомы. А все равно ничего не попишешь — уходи в общем порядке на пенсию.

От таких раздумий становилось жутко.

В зале суда публики было мало. Верно, погожий день уходящей теплой поры потянул людей на реку.

Судья Градова постучала карандашом по столу и обратилась к Каныгину:

— Расскажите суду, что вам известно об обстоятельствах дела.

Каныгин встал, но ничего не мог сказать — со стороны это выглядело нелепо и смешно. Все нужные слова, приготовленные адвокатом и выученные старым сплавщиком, пропали, скрылись, будто их и не было вовсе.

— Оробел вот, — с сожалением сказал Каныгин. А робеть-то не надо.

Чуть позже, когда первое волнение улеглось, он не торопливо заговорил о трудных днях, вызвавших аварию в Сосновке. Рассказывал технорук скупое, но из картины, рисуемой им, было видно, что все его распоряжения и поступки были продиктованы многолетним опытом и желанием победить стихию.

— Перетяга стала одной из главных причин аварии, — так он закончил свой рассказ и опустил на стул. И торопливо добавил, не поднимаясь с места: — Не могу признать себя виновным.

Градова начала допрос.

— Раньше ваша запань работала при высоких горизонтах воды?

— Было такое. Помню — в сорок восьмом году. Еще в пятьдесят втором. Да что там! Совсем недавно было — в шестьдесят четвертом.

— Какой был уровень?

— Четыреста двадцать.

Градова задумалась. Разные типы людей прошли перед ней за долгие годы работы в суде, и она никогда не доверяла эмоциям и сердечным привязанностям во время процессов, потому что была уверена — все это из области психологии и лирики, а не права. Показания Каныгина ее озадачили.

— Инструкция запрещает работать при таких гори-

зонтах, — вспомнила Градова прочитанные материалы. — Чем вы объясните вашу практику?

— У нас такой закон: сплав ведут на устоявшихся горизонтах, — убежденный в своей правоте, сказал технорук. — Стало быть, если, к примеру, четыре метра — стабильный уровень, можно действовать.

— Во все годы, о которых вы говорили, сплав проходил успешно?

— Ясное дело.

Градова замолчала, собираясь с мыслями, а технорук, поняв ее молчание как предложение высказаться, заговорил:

— Вы сами посудите. Водомерный пост дает отметину четыре метра. Что делать? По домам расходиться? Зиму, весну трудились, вели заготовку леса, ждали сплавной поры, а глянули в бумажку — и домой. Так нельзя. — И, помолчав, добавил: — Так никак нельзя. Вот мы и работали. — И громко повторил: — Работали.

— Из ваших показаний видно, что вы возражали против установки перетяги. Я вас правильно поняла?

— Только так.

— Почему вы возражали?

Каныгин вдруг занемел от страха. Он ясно помнил, что уже говорил об этом. Почему же судья снова возвращается к этому вопросу? «Не иначе как хочет подловить», — решил Каныгин и посмотрел на адвоката. Но тот был занят своими делами.

Градова чутьем угадала, что подсудимый перепугался, и повела его к ответу с другой стороны.

— Вообще-то можно устанавливать перетягу?

— Были случаи, когда она спасала положение, — сразу отозвался технорук.

— Поточнее можно? — попросила Градова.

— Как вам сказать... Одному больному банки помогают. Другому — горчичники. А иной четвертинку с перцем пропустит, и простуды как не было. Так и здесь.

— Что здесь?

— Была бы наша речка метров на сто поуже, может, и обошлось. Но при таком размахе — гиблое дело.

— Кто предложил поставить перетягу?

— Главный инженер треста Бурцев.

Градова кивнула головой и спросила:

— Почему главный инженер настаивал на своем предложении?

— Про это надо его спросить.

— Вы считаете, что предложение главного инженера технически необоснованное?

— Да.

— Вы пытались доказать его неправоту?

— На своем настаивал, но убедить не смог.

— Почему не смогли?

— Было приказано ставить перетягу. Понимаете? Приказано было. И весь сказ!

— Следовательно, главный инженер воспользовался властью?

— Конечно.

— А почему вы как технорук не отказались выполнить этот приказ? Вы ведь понимали, что приказ неверный?

Каныгин помолчал, поставленный в тупик острым вопросом судьи, и неожиданно для самого себя признался:

— Испугался.

— Главного инженера? — уточнила Градова.

— Да нет, — вздохнул Федор Степанович. — Как вам объяснить... Мне ведь лет сколько? Я подумал: вдруг обманываюсь на старости лет? Ежели не прав?

— Сейчас вы утверждаете, что перетяга вызвала аварию.

Каныгин кивнул.

— А в трудный час не проявили должной настойчивости. Почему?

— Не слышали вы присказку: вешней воды и царь не уймет?

— Это к делу не относится.

— Ладно. Я сорок лет в Сосновке управлялся со сплавом, — обиженно сказал Каныгин. — А услышав приказ — задумался. Неужто Бурцеву нашей запани не жалко?

— И покачнулись в его сторону? — негромко спросила судьья.

— Не я покачнулся. Бурцев меня подтолкнул. А теперь вот я здесь сижу.

— У вас какое образование?

— Лесотехнический техникум кончил.

— И больше не учились?

Каныгин долго молчал, а потом вспомнил:

— На курсах техноруков учился.

Он отчетливо понял, что вопрос судьи подтвердил его горькие раздумья.

СТРАНИЦЫ, КОТОРЫХ НЕТ В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

В Сосновку Бурцев приехал в полдень.

Могучие бревна, остановленные затором, столпились у открытых ворот. Сосновые лесины, создав замысловатую баррикаду, навалились всей тяжестью на провисшие лежни, затапливая тело запани. Минувшей ночью ее оснастили еще шестью стальными тросами-засорами, концы которых укрепили в береговых опорах. И все равно ясно было слышно, как запань глухо стонала от сильного натиска.

Щербак и Каныгин сидели на крылечке. Главному инженеру показалось, что происходящее на реке особенно не угнетает этих людей.

Приезд Бурцева никого не удивил — беда уже стучалась в дверь.

— Вы как добрые хозяева, — сказал Бурцев. — У порога встречаете... Здравствуйте... Телеграмму получили?

— Нет, — ответил Щербак.

— Теперь уже все равно. Сам вижу, что творится. Худо дело.

Юрий Павлович знал, что, получив солидный портфель главного инженера треста, принял на себя большую ответственность. Но будучи деятельным человеком, не пугался этого. Рассудил, что время даст возможность познать неизвестный для него круг технических проблем. Приехал он в трест зимой, когда отшумела сплавная страда, а о будущем сплаве думал с надеждой, что все у него образуется. Но время поторопилось устроить Бурцеву экзамен.

В минуты, когда страх подкрадывался к нему, он усилием воли глушил свое волнение и всячески отгонял думы о том, что опрометчиво принял должность, на которую не имел еще достаточных прав. Он находил утешение в простенькой, расхожей мысли — не боги горшки обжигают — и стал с видимой безупречностью утверждаться в новой роли.

Обо всем этом ему с тоской думалось всю дорогу, пока он ехал в Сосновку. Сейчас, когда он сидел в конторе Щербака и слушал рассказ о случившейся беде,

эти мысли беспокоили снова. Временами Бурцев бросал беглый взгляд на график горизонта воды, где острые пики взметнулись над ровной синей чертой нормального режима. Бурцев с досадой отводил взгляд от графика, заставлял себя слушать Щербака и вникать в суть разыгравшейся драмы.

Щербак обстоятельно рассказал о последних днях сплава. Говорил он спокойно, за его словами Бурцев угадывал бродившую в нем злость и ясно чувствовал, что капризы норовистой реки и характер хлынувших ливней Щербак хорошо знал и трезво оценивал. Потом, развернув на столе схему запани, он рассказал о возможных мерах, которые могут предотвратить угрозу аварии.

Бурцев ни разу не перебил Щербака, мысленно подвергал анализу и сомнению каждое его предложение. Ему становилось страшно, едва только он представлял, что случится, если они проиграют схватку с природой.

Потом говорил Каныгин. Хрипловатый голос выдавал волнение технорука.

— Что предлагаете, Федор Степанович? — спросил Бурцев.

— Раз в Загорье ливень — нам в заостровье запань-временку надо ставить. Тогда перехитрим! — ответил Каныгин.

— А что мастера думают? — Главный инженер поднял глаза на Щербака.

— Многие поддерживают это предложение, другие толкуют, что ливень скоро утихнет и запань устоит, — ответил Алексей. — Мое мнение — срочно ставить в заостровье запань-временку. Другого выхода нет.

— Слушал я вас и думал: все вроде правильно говорите, а беда-то за окном. Кто виноват? — И Бурцев выразительно подчеркнул: — Кто? — Загибая длинные пальцы на левой руке, стал перечислять: — К началу подъема воды ворота запани не закрыли. Раз. Алексей Фомич покинул запань и улетел в Осокино. Два. Вы не сообщили в трест об угрожающем положении. Три. Да это же прямая безответственность! Я понимаю, — помолчав, добавил Бурцев, — признать себя виноватым трудно. Но надо.

— Юрий Павлович, я в Осокино не к теще на блины ездил. В трест сегодня утром телеграмму отправили. Без паники, а в порядке информации. Думали, что и ваш приезд — ответ на нашу телеграмму. Теперь, поче-

му не закрыли ворота запани? Когда их закрывать? Вчера было триста семьдесят, а одиннадцатого июня, когда обнаружили приток воды, закрыть не удалось. Виноватых ищите? Дело ваше. Через неделю тоже не поздно будет. Если есть у вас что по делу — говорите, будем обсуждать.

Бурцев слушал, склонив голову. Слова Щербака задела его, но не время было сейчас выяснять отношения.

— Вы, Алексей Фомич, верите в свою непогрешимость. Убежденность — хорошее качество, но ваши доказательства внушают серьезные опасения.

— В чем именно?

— Вы и технорук предлагаете в заостровье поставить запань-временку. А где расчеты? Где план необходимых работ? Все поспешно и мало обоснованно.

— Юрий Палыч, — вмешался Каныгин, — вы ставили запань-временку? Бывало такое или нет?

— Не приходилось...

— А мне приходилось. — И, протянув свои натруженные руки, Федор Степанович заключил: — Им ничего не страшно!

— Будет, Федор, — попытался успокоить его Алексей. — А вы, Юрий Павлович, не торопитесь с выводами. Расчеты можете проверить. Мы уже в заостровье технику направили. Что вы предлагаете?

— Надо подумать. — Бурцев посмотрел на чертеж и расчеты, переданные Щербаком, и добавил: — Надо серьезно подумать.

— Ладно, думайте. А мы пойдем, нас люди ждут.

Когда Бурцев остался один, он понял, что приезд его в Сосновку стал ненужным и бессмысленным. Из-за того, что он не смог взять инициативу в свои руки. И неуверенность, охватившая его, вдруг выплеснулась наружу, привела в замешательство. «Сегодня не только они, но и я сдаю экзамен, — подумал Юрий Павлович. — И мой экзамен куда посложней, чем у них. А зачет нам поставит стихия».

Бурцев постоял у окна, вглядываясь в мятежную реку, потом решил пойти к запани. Он очень хотел предотвратить беду.

В высоких бахилах, тяжело переставляя ноги, по берегу шел Щербак. Бахилы матово поблескивали от воды. Только что мастера снова пытались закрыть ворота. Но и на этот раз не смогли преодолеть натиск бревен и напор поднявшейся реки.

Увидев Бурцева, Щербак сказал:

— В Загорье горизонт уже шестьсот сорок сантиметров. И ливень хлещет, — Алексей протянул сводку.

Бурцев задумчиво прочитал ее.

— Сын у меня сегодня родился, — словно про себя, сказал он неожиданно. — Из родильного дома зашел в трест, а оттуда — прямо к вам. — В голосе Юрия Павловича радость была смешана с горечью, и весть о рождении сына прозвучала словно оправдание. — Пойдемте в контору, помозгуем, — предложил Бурцев.

Войдя в кабинет Щербака, он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула и, вспомнив про сводку, сказал:

— Водяной вал скоро домчится сюда...

В это время скрипнула дверь, вошел Каныгин:

— Что делать-то будем?

— Садитесь. Вместе и решим, — Бурцев настороженно посмотрел на технорука и, стараясь сдерживать волнение, сказал: — Есть три предложения. Разберем их по порядку. Так вот — надо еще поставить по две три засоры на каждом берегу. Это не кардинальное решение, но хуже от этого не будет. Согласны?

— Тут спору нет, — одобрительно сказал Щербак. — Для этого и трос найдется.

— Теперь по поводу запани-временки. Соорудить дополнительную преграду в заостровье — придумка заманчивая. Но для этого потребуется минимум три дня. Есть у вас гарантия, что стихия подарит нам семьдесят два часа? Нет! Нынешний горизонт — плохой предвестник. Теперь другое. Для сооружения временки нужен трос.

— Есть тысяча метров. И диаметр подходящий, — сердито пояснил Каныгин.

— Ну хорошо. А где взять время? — с печальным хладнокровием спросил Бурцев.

За окном сначала глуховато, потом все звонче и раскатистей заухал, заволновался гром.

— Сами видите, что времени нет, — продолжал Бурцев. — Есть одно решение, которое может уберечь запань от беды. Надо ставить перетягу.

— Перетягу, значит? — уточнил Каныгин.

— Для этого потребуется один трос. Он у нас есть. Перетягу поставим в пятистах метрах от запани.

— Что это даст? — спросил Алексей.

— Она примет на себя первый натиск бревен и ослабит их давление на запань. Соорудить ее можно часов

за пять-шесть. В этом я вижу наше единственное спасение, — заключил Бурцев.

— Что вам сказать? — неодобрительно начал Каныгин. — На словах вроде все складно получается. И трос есть, и времени хватает. А вот пользы не будет. В этом я уверен.

— Почему?

— Не выдержит!

— Ты поясни, Федор, — попросил Алексей.

— Река широкая. Двести семьдесят метров. Горизонт высокий. А трос один. Откуда ему взять силы, чтоб пыж удержать? — Каныгин удивленно пожал плечами и закурил. — Пока мы тут разговариваем, вода из Загорья мчится к нам.

Гром продолжал грохотать за окном. Доносились чьи-то тревожные крики; испуганно фыркая, проскакала лошадь.

— Два года назад на Каме была такая же история, — горячо заговорил Бурцев. — Ну может, чуть слабее, чем сейчас. Но выстояла перетяга. Выстояла!

— А ежели пыж оторвется и всей своей мощью нажмет на запань? — спросил Каныгин. — Костей не соберем.

— Эдак мы сами обрушим динамический удар на запань, — с тревогой предупредил Щербак.

— Почему вы решили, что произойдет удар? — спросил Бурцев. — Тогда обошлось. Надо рисковать!

— Риск предполагает ответственность, — резко сказал Алексей.

Под гулкие раскаты грома хлынул дождь.

— Я понимаю вашу осторожность. Но не могу ее объяснить.

— Вы, Юрий Павлович, отвечаете морально, а мы с ним — головой, — Алексей кивнул в сторону Каныгина.

Дождь с шумом забарабанил по пустым фанерным ящикам, стоявшим у конторы, словно лишний раз хотел напомнить о надвигавшейся беде.

— Будем ставить перетягу, — решительно сказал Бурцев.

— Сходи, Федор, проверь, какой сейчас горизонт, — попросил Щербак.

Каныгин понял, что Алексей Фомич хочет остаться с глазу на глаз с Бурцевым, и вышел из комнаты.

— Значит, приказ? — спросил Алексей.

— Да!

— Уезжайте, Юрий Павлович, — неожиданно предложил Алексей. — Уезжайте!

— Как вы смеете?!

— Мы акт составим, что к моменту вашего приезда ворота запани не были закрыты. Отсюда и все беды. Вы ничем не рискуете.

Бурцев переждал минуту и, потемнев, заявил:

— Между прочим, я мог бы и не приезжать — любого инженера послал бы из треста.

Вернулся мокрый Каныгин. Он молча передал сводку Бурцеву. Возле его бахил сразу натекли лужицы.

— Сейчас четыреста восемьдесят, могло быть и больше. Торопится водяной вал.

И Бурцев спросил:

— Трос далеко лежит?

— Его отсюда видно... Решили перетягу ставить? — Технорук с удивлением поднял глаза на начальника запани.

— Решили. — Бурцев произнес это слово уверенно и твердо, как клятву.

В комнате стало тихо.

— Я не дам такого приказа! Понимаете, не дам! — вдруг взорвавшись, сказал Алексей.

— Тогда это сделаю я.

— Здесь не кулачный бой. Где разумная гарантия предотвращения аварии? Вы требовали от нас расчетов — мы их дали. Где ваши расчеты? Я должен знать, почему я отдаю такой приказ. Вы подумали о последствиях неудачи?

— Ведь всю округу разнесет, — с болью сказал Каныгин.

— Неудача исключена. Увидите. — Бурцев торопливо открыл портфель, вынул бумаги, логарифмическую линейку и толстый справочник. — Все, можете идти!

Бурцев остался один. Он видел, как мимо раскрытого окна прошли Щербак и Каныгин. Хотел окликнуть начальника запани, вернуть его в контору, продолжить разговор, но понял, что сейчас это ни к чему путному не приведет.

«Я должен доказать свою правоту. Вот как все обернулось. Они хотят получить от меня расчеты, они меня экзаменуют. Щербак вдруг стал экзаменатором. А ведь ему самому достался очень трудный вопрос. А я чего-то испугался. Чего? Не знаю... Не знаю. А должен знать.

Стоп! Я теряю время. — Юрий Павлович посмотрел на часы, подсчитал: — Сыну пошел десятый час. Он уже спит. А Наташа? Как она там? Ждет мою вечернюю записку. А я не дома. — Он полистал страницы справочника, но мысли уводили его к пережитому. — «Уезжайте отсюда»... Легко это у него получилось! И вроде по-доброму, а в сердце заноза... Хватит об этом! Хватит».

Бурцев потер руками виски и, взяв карандаш, стал чертить схему перетяги. Чем больше он углублялся в поиск нужного решения, тем тверже и уверенней становилось его желание осилить навалившуюся беду. Перебрав несколько вариантов расчетных формул, он остановился на оптимальном, по его мнению, дающем полную гарантию прочности. Сверил свой ответ с примером, обозначенным в справочнике, и с чувством облегчения откинулся на спинку стула.

— Ну вот и все! — Бурцев постучал карандашом по столу, потом взял лист с расчетами, беглым взглядом пробежал вычисления и, не без удовольствия перевернув исписанную страницу, четким почерком вывел: «Алексей Фомич! Принимаю ответственность на себя». И поставил подпись.

В комнату без стука вошел крепкий молодой человек, снял мокрую кепку и сказал хрипловатым голосом:

— Здравствуйте, начальник!

Юрий Павлович молча кивнул головой.

— Нас тут Щербак по тревоге поднял. На реку гонит, — объяснил парень. Потом закурил и добавил: — Тимофей Девяткин. Тутোшний моторист.

— Сильный дождь, — огорчился Бурцев.

— Это у вас, городских, все дождь да дождь, — весело заговорил Девяткин. — А их, дождей, семь. Извини-подвинься.

— Как это семь? — удивился главный инженер.

— Давай посчитаем, начальник, — предложил Девяткин. — Начнем с ливня. Это проливной дождь. Самый мелкий — ситничек. А еще есть помельче. Его моросью величают.

— Слышал.

— Может быть. А вот про сеножной не знаете. Есть и такой — дождь во время покоса. Добавим косохлеста и подстегу.

— Мудреные названия, — отозвался Бурцев, прислушиваясь к далекому реву тракторов, догадавшись, что Щербак собирает технику.

— Это дожди по направлению ветра. Ну, а продолжительное ненастье — мокрые дожди. Вот семь штук и насчитали. Понял, начальник?

— Теперь разобрался, — ответил главный инженер. — Спасибо за науку.

Из тишины долетел чей-то раздраженный крик.

— Опять орет наш хозяин, — осуждающе сказал моторист. — Его голос среди тысячи других различу.

— Кто это? — не понял Бурцев.

— Щербак. Как такому злыдню запань доверили? Не понимаю! Извини-подвинься.

— Первый раз слышу про Щербака такое, — сказал Бурцев.

— В страхе рабочий люд держит. Лишнего никто не скажет. Да чего тут сомневаться?! Ну ладно. Пора мне. Рад был познакомиться.

— Вы вот что, Девяткин. Найдите Щербака, пусть сюда придет.

Вскоре появились Щербак и Каныгин.

Федор Степанович, хмуро посмотрев на Бурцева, сел в угол, снял бахилы и стал перематывать портянки.

Юрию Павловичу так и хотелось напомнить ему, что здесь кабинет, а не раздевалка. Но Щербак, видимо, почувствовал раздражение Бурцева.

— У тебя, Федор, бахилы худые, — сказал он. — Возьми в кладовке новые.

Каныгин что-то буркнул и вышел из комнаты, оставив мокрые следы на полу.

Юрий Павлович взял листок с расчетами и протянул его Щербаку.

— Вот вам гарантия. Изучайте.

— Вы хоть к словам не цепляйтесь. Будет время — объяснимся.

— Согласен, — стараясь выдержать дружеский тон, ответил Бурцев. — Если что непонятно, поясню.

Алексей внимательно ознакомился со всеми расчетами и сказал:

— На бумаге все сходится.

— К сожалению, других способов изложить свои доказательства у меня нет. К тому же мы не на маневрах, а в бою. Вам, военному человеку, это должно быть хорошо понятно. Менять условия игры нельзя. Есть жестокая данность. И она определяет характер сражения. Пригласите технорука, его это тоже касается.

Алексей приоткрыл дверь и крикнул в коридор:

— Федор Степанович!

Каныгин, очевидно, давно управился со своей обувкой и ждал, пока его позовут.

Он вошел в кабинет и спросил:

— Что решили?

— Юрий Павлович обосновал свое предложение. Вот расчеты по установке перетяги. Посмотри.

— Расчеты — это хорошо, — думая о своем, заметил Каныгин. — Дай-ка я гляну.

Покуда он изучал длинные строчки и столбцы вычислений, Щербак и Бурцев молча следили за выражением его лица. И никто из них не мог угадать, что скрывается за неожиданно возникшей ухмылкой технорука.

— Я чего вспомнил? — отложив листок, сказал Каныгин. — Когда я на курсах техноруков у доски стоял и задачку по формуле решал, мне комиссия пятерку поставила. А потом вернулся на запань, и река мне свой экзамен устроила. Я по той формуле действовал и обмешурился.

— Это почему же? — заинтересовался Бурцев.

— Все было бы складно. Только еще не все повадки природы в таблицы загнаны. Так что научность бумаги, — он ткнул пальцем в цифры, — отвергать не собираюсь. Но без опыта ваша формула цены не имеет.

— Я взял максимальные величины, сделал нужные допуски, а вы, Федор Степанович, между прочим, меня к сохе тянете. Странно слышать такое от технического руководителя запани.

— Для вас соха, а для меня жизнь. Я давно по земле топаю, обязан знать, что до меня было.

Юрий Павлович понял, что Каныгина ему не переубедить. Он резко повернулся в сторону Щербака:

— Ваше решение?

Щербак медлил, не торопился сказать последнего слова.

— Хорошо. Я вам помогу. Принимаю ответственность на себя.

Алексей почувствовал в словах Бурцева горечь унижения и с нескрываемой обидой сказал:

— Разве в этом сейчас дело, Юрий Павлович?

— В этом! Кончились маневры.

— Ладно, — невесело согласился Алексей. — Будем ставить перетягу. Я вашим расчетам поверил. Должности вашей — главного инженера — поверил. А вот на-



счет ответственности, то снять ее с себя могу только я сам.

Из конторы вышли все вместе. Бурцев свернул к домику для приезжих.

И тогда Каныгин сказал:

— Ты сам командуй, Фомич. У меня духу не хватит. — И, посапывая, спустился к реке.

Темная ночь была во власти дождя.

Только в нескольких местах по берегу и у самой запани желтел свет в дождевой мути. Лампочки раскачивались от ударов водяных струй.

Алексей прошел к сторожевой будке у запани, где стояла скамейка под фанерным навесом.

На скамейке сидели трое в куртках с капюшонами, накинутыми на головы. Алексей приблизился и осветил фонариком лица.

— Не спится, полуночники? — спросил он, узнав мастеров.

— А сам чего бродишь? — спросил Башлыков. — Я перед сном покурить люблю у речки.

— А ты, Евстигнеев? Ты ж некурящий.

— За компанию.

Третьим был длиннорукий Павел Пахомчик.

— Меня сон не берет. Дождь отвлекает.

Чувствовал Алексей, что они скалят зубы неспроста. Понял, что караулят запань. Интересно, сами надумали или Каныгин посоветовал?

— А главный где? — поинтересовался Евстигнеев. — Вроде вы не поладили?

— Всякое было, — уклончиво ответил Алексей.

— Договаривай. Тут все свои, — настаивал Евстигнеев.

— Будем перетягу ставить, — коротко сообщил Алексей.

— А поможет? — усомнился Евстигнеев.

— По расчетам Бурцева, перетяга сдержит напор.

— А ты как считаешь?

— Мы с Федором возражали.

— Ему по должности положено знать, что к чему, — заметил Павел Пахомчик. — Какой же он главный инженер, если расчета не знает?

— А нас почему не спросили? — Евстигнеев встал со скамейки. — Или нам только багром ворочать? Помяните мое слово, не будет добра от этой затеи. Ты, Фомич, делай по-своему.

— По-своему нельзя. Не в карты играем. Сам же говорю вам: возражал, до хрипоты спорил. А он все рассчитал и доказывает: будет порядок. Теперь поздно толковать. На рассвете подымайте людей. Сбор здесь. А теперь, караульщики, идите, я сам подежурю.

— Не обижайся, Фомич. Я не приду. Если прикажешь — явлюсь. Только руки мои к перетяге не прикоснутся. — Евстигнеев тяжело вздохнул. — Вот так. А кто меня трусом назовет, я стерплю. Потом поговорим.

— Ладно, Кирилл, отдыхай. Не бери душу, — сказал Алексей.

Мастера переглянулись и ушли.

Алексей подставил ладони лодочкой под дождь и плеснул в усталые, бессонные глаза.

На рассвете ливень сменился моросью. Серые тучи низко пластали свои мокрые космы. Ветер разносил смолистый запах костров, тускло мерцавших на берегах реки.

По дороге шумно двигались тракторы. Один тянул волоком бухту троса. Проскрипела длинная телега, груженная баграми. Торопились к реке сплавщики, толкуя на ходу о предстоящей авральной работе.

На левом участке бригада Пахомчика стала рыть котлован для мертвяка. Башлыков увел свою бригаду на другой берег.

Работали быстро, слаженно. Изредка поглядывали в небо, надеялись, что уплывут тучи и поголубеет небо.

Подошел Щербак, распорядился:

— Первым пойдешь ты. А за тобой — цепочка. Людей ставь так — через каждые два метра по двое. Один с багром, страхует, другой трос тянет. Понял, Башлыков?

— Ясно, Фомич, — сказал мастер и громко свистнул. Это была его команда.

Башлыков шагнул на пыж и цепко ухватился рукавицами за конец троса. До другого берега людям предстояло пройти двести семьдесят метров, укротив бревенчатый настил реки, который затаенно поджидал непрошенных ходоков, норовя сбросить их в воду.

Когда сплавщики ступили на бревна, скользкие тяжелые лесины начали ворочаться, пытаясь выскользнуть из-под ног людей, которые метр за метром продвигались к левому берегу.

Часа через три сплавщики дошли до середины реки. Алексей уже несколько раз осматривал пройден-

ный путь, придирчиво проверяя прочность крепления троса.

Бурцев стоял на пригорке. Увидев Щербака, он подошел к нему, снял рыжие рукавицы и, откинув влажную прядь волос, спадавшую на лоб, сказал:

— Ловко работают! Молодцы!

— Была бы польза, Юрий Павлович! А ее не будет! — И, махнув рукой, Щербак ушел.

На миг бледное лицо Бурцева застыло, и невозможно было понять, какие мысли волновали его. Он молча подошел к бревну, выброшенному из угрюмой реки своими братьями, и, со злостью столкнув лесину в воду, увидел, что на середине перетяги образовался большой затор. Бревна безудержно громоздились друг на друга, и сплавщики, видимо, замешкались, не знали, как уничтожить затор. И тогда Бурцев заторопился к ним.

Павел Пахомчик зычно закричал:

— Стой! Опасно! Назад!

Но Бурцев уже вскочил на пыж и, балансируя на шатких бревнах, двигался вперед. Он не заметил, как они, погружаясь, образуют предательские щели. Нога соскользнула с мокрой лесины, и Бурцев, неловко изогнувшись, стал падать. Его чудом подхватил подоспевший сплавщик. Но было поздно. Бревна уже сомкнулись, зажав ногу Бурцева.

Главного инженера вынесли на берег, положили на брезентовый плащ.

Когда прибежал Щербак, Юрий Павлович, корчась от боли, тихо сказал:

— Прости, Алексей Фомич.

— В больницу надо, — сказал Алексей и, найдя взглядом Пахомчика, распорядился: — Поедешь с ним. Из больницы звони.

Несмотря на сильную боль, Бурцев держался стойко. Только изредка сжимал зубы, и тогда помимо его воли из груди вырывался глухой стон.

Угрюмым взглядом проводив уехавшую машину с Бурцевым, Алексей вернулся к перетяге. Собственно говоря, дел у него здесь не было: Каныгин уже проверил последний стык крепления троса и, опираясь на багор, всматривался в толщу бревен.

Теперь всем оставалось ждать.

В полдень опять лихо загрохотал гром и хлынул дождь. Измерили уровень реки: верхняя кромка лизала отметину грозной цифры, устрашающе черневшей на

планке водомерного поста, — шестьсот двадцать сантиметров.

К вечеру водяной вал, шедший из Загорья, домчался до Сосновки, и, хотя он подрастерял на своем длинном пути немало воды, распластавшейся по руслу, все-таки река доказала свой гордый нрав, захлестнула отметку: шестьсот сорок сантиметров. Тучи замешкались, даже на мгновение остановились, будто из праздного любопытства пожелали посмотреть на запань. Суховатым треском откашлялся гром, дождь неожиданно оборвался, и стало тихо. Только с высокого правого берега, булькая и журча, все торопились и торопились в реку мутные ручьи.

Ночь на реке была самой тревожной. Перетяга, став защитной баррикадой запани, приняла на себя невиданный натиск бревен. Зажатые между двумя преградами, они старались вырваться из загона, который устроили люди. Бревна ожесточенно теснили друг друга.

Над лежневыми плитками запани возвышался трехметровый завал. Громада неуправляемого больше сплава вступила в последнюю, отчаянную схватку с запанью.

В десять двадцать утра взбунтовавшийся пыж оторвался от перетяги. Бурно и неожиданно поднятая вода помогла лесинам показать свою удалую силу. Перетяга не выдержала напряженной борьбы — лопнула. Огромная масса древесины устремилась на запань. Динамический удар пронзил ее правое крыло.

Бревна ринулись вперед, сметая все на своем пути.

Стихия победила.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В то раннее туманное утро, когда Алексей уезжал на суд, Ольга пошла проводить его на пристань. Она старалась сдержать волнение, но грустные, беспокойные глаза выдавали тревогу. Почувствовав, что сейчас разрыдается и у нее не хватит больше сил, чтобы подавить охватившую ее слабость, Ольга остановилась и сказала:

— Я не выключила уют. Иди, я догоню.

И, поверив в мгновенно придуманную причину, побежала к дому, но возле молодого ельника остановилась. Сердце глухо металось в груди. Едва отдышавшись, она заторопилась назад к берегу, где в сизой мгле неясно виднелся силуэт катера. Ольга спешила к мужу, радуясь, что смогла удержать бабьи слезы.

— Вот дуреха. Натворила бы беды, — сказала она, прижимаясь к Алексею.

Он слышал усталый, прерывистый голос жены, и минуты расставания угнетали его.

— Все будет хорошо, — негромко сказал Алексей.

Ольга кивнула ему, остро чувствуя, как холодеет сердце.

— Знаю, Алеша, знаю.

Домой она вернулась разбитая. Растерянно ходила из угла в угол, стараясь представить, каким будет судебное разбирательство.

В комнате все было разбросано, дверцы шкафов невесть зачем раскрыты. Алексей уехал с небольшим чемоданчиком, хотя Ольга заботливо приготовила ему теплое белье, шерстяные носки, принесла из подпола банку клубничного варенья.

— Зачем это мне? — спросил тогда Алексей. — Думаешь, суд до зимы протянется? За неделю решат.

— Кто знает, Алеша? А вдруг похолодает.

— Привезешь.

На письменном столе лежало несколько папок. Алексей взял оттуда служебные бумаги, положил в портфель. Ольга заметила, что перед самым уходом Алексей вынул из портфеля какую-то страницу и оставил ее на столе.

Теперь, убирая вещи на свои места, Ольга увидела эту страницу. Исписанная чужим почерком, вся в формулах и вычислениях, она не вызвала у Ольги никакого интереса. Только положив ее в папку, она увидела на обратной стороне строчки: «Алексей Фомич! Принимаю ответственность на себя. Бурцев».

Путаясь в догадках, Ольга твердо была убеждена в одном: бумага касалась аварии.

«Но почему же Алексей не взял ее? — думала Ольга. — Странно. Он никогда не говорил об этой записке». И она с ужасом представила, что станет с Алешей, если его признают виновным в аварии.

Суд длился уже три дня, и Ольга собиралась поехать в город в пятницу.

Вчера она узнала, что Алексей признал себя виновным. Ей сказал об этом начальник отдела кадров запани Пашков, страшно недоумевая и горько сожалея:

— Что с ним случилось?

— Не знаю, Родион Васильевич. — И Ольга рассказала ему про записку Бурцева. — Когда он уехал, я очень боялась, что такое случится. Теперь все сверши-

лось. Никого не пожалел — ни Сережу, ни меня. Как это несправедливо! — Она говорила с искренней болью, веря в сочувствие Пашкова.

— Он себя не пожалел, — услышала она неожиданный ответ Пашкова. — Раньше я тоже думал, что Алексей достоин только упрека. Теперь многое прояснилось. Милая Ольга Петровна, простите меня, ничем не могу вас утешить.

— Он даже защитника не взял.

— И это понять можно — Щербак.

— Легко вы говорите. А у меня сердце разрывается! Ну пусть он такой, его не переделаешь. Но ведь есть люди...

— Есть люди, — прервал ее Пашков. — И судьба Щербака им небезразлична.

— Да, да, — смутно согласилась Ольга. — Но Алеша уже сидит на скамье подсудимых. И ждет приговора. Мне говорили, что за это дают пять лет тюрьмы. Пять лет! — Ольга неожиданно вспыхнула от осенившей ее мысли: — Я поеду в суд! Я сама передам им записку Бурцева. Пусть они знают.

— Я бы на вашем месте сделал то же самое, — сказал Пашков.

Утром следующего дня быстроходный катер примчал Ольгу в город.

Опасаясь, что Алексей запретит ей идти к Градовой и, конечно, отберет записку, Ольга решила сразу же направиться в суд.

Она стояла у дверей кабинета Градовой и ожидала ее прихода. По длинному широкому коридору два милиционера конвоировали наголо остриженного парня с тупым выражением бесцветных глаз.

— За убийство судят, — услышала она разговор стоявших рядом людей.

Ольга уже несколько раз мысленно произносила слова, которые хотела сказать судье, и даже продумала, в какой момент ей следует вынуть записку и передать Градовой. И все-таки ее не оставляло беспокойство от необычности предстоящей встречи. Было мгновение, когда она вдруг решила уйти, но сумела побороть сомнения и страх. Ольга прижалась к стене, и от этого ей стало зябко.

— Вы кого ожидаете? — услышала она голос женщины, подошедшей к двери.

— Судью Градову, — выдохнула Ольга.

— Я Градова. Что случилось?

— Здравствуйте. Я — Ольга Щербак. Мой муж...

— Знаю.

Градову раздражали слезливые просители, назойливо умолявшие ее проявить больше чуткости к их родственнику, дело которого она ведет. И хотя Градова всегда испытывала определенную жалость к близким подсудимого, такие просьбы ее глубоко оскорбляли.

— Я не хочу вас ни о чем просить, — сказала Ольга, догадавшись о мыслях судьи. — Только скажите, как его дела?

— Станный вопрос. Суд еще не кончился. Будет приговор — сами поймете. Извините, меня ждут. — И Градова вошла в кабинет.

Только услышав стук закрывшейся двери, Ольга поняла, что все кончилось: она упустила момент, чтобы передать записку Бурцева.

Ругая себя в душе, Ольга, однако, не зашла в кабинет и направилась к выходу.

Через полчаса она была в гостинице.

Алексей опешил от неожиданного появления Ольги.

— Что-нибудь случилось?

— Нет. Просто я соскучилась. Здравствуй, Алеша.

Они поцеловались.

— Как Сережа?

— Хорошо. У мамы он.

Ольга села на диван, поставив у ног чемоданчик, где лежали рубашки мужа и банка клубничного варенья. Белую сумку она держала в руках, словно собиралась тут же уйти.

— Ты что-то скрываешь? — заметив состояние жены, сказал Алексей.

— Просто устала. Ночь в дороге. За тебя душа болит.

— Что ж делать, Оленька? — Алексей включил электробритву. — Извини, мне скоро в суд идти.

Комната наполнилась тоскливым жужжанием. Оно раздражало Ольгу и почему-то напоминало жесткий разговор с Градовой.

— Скажи, Алеша, почему ты признал себя виновным?

— А говоришь, ничего не случилось, просто соскучилась.

— Я очень боюсь потерять тебя, Алеша. Зачем ты признал себя виновным?

— Я был начальником запани. И все двадцать лет знал, что за Сосновку отвечаю я. Почему же теперь, когда случилась авария, я должен забыть про это? И кто мне поверит, что я неповинен?

— Что с тобой, Алеша? Неужели во всем виноват только ты? Каныгин сорок лет на запани. Он не подставил своей головы.

— Он может, а я...

— На таких воду возят! — не дала ему договорить Ольга. Резким движением она раскрыла сумку и, вытащив записку Бурцева, воскликнула: — Вот виновник! Почему ты прячешь эту бумагу?

— Записка здесь ни при чем.

Вскочив с дивана, Ольга всплеснула руками и умоляющим голосом попросила:

— Объясни! Я хочу понять. Если Бурцев, главный инженер треста, пишет: «Принимаю ответственность на себя», почему ты заслоняешь его своей грудью? Ведь тебе сидеть пять лет. — Она протянула ему бумагу. — Прошу тебя, отдай ее судье.

— Спрячь записку, Ольга. Она мне не нужна.

— Нельзя быть таким жестоким.

— А хорошо поступать, как ты советуешь? Прийти в суд и рывкнуть: «Бурцева судите, а не меня!» Так, что ли?

— Но они не знают об этой записке.

— Бурцев живой, могут спросить. Да и мало что изменит эта записка.

— Ты должен действовать. Нас бы хоть пожалел. — Голос Ольги дрогнул. — Я прошу тебя, ну посоветуйся с защитником. Ты ж ничего не украл. Никого не убил. Тебе нечего стыдиться. Случилось горе. Меня не слушаешь — стерплю. Зачем себя казнишь?

— Я иначе не могу. Как тебе объяснить? — Алексей вышагивал по комнате. — Оставим записку. Рассуди сама. Меня привлекли к уголовной ответственности. Идет суд. При словах: «Подсудимый Щербак» я встаю. Ты предлагаешь на все отвечать: «Моя хата с краю». Достойно ли это, Ольга?! Я сам не сплю. Здесь все горит, — он дотронулся ладонью до сердца. — Не могу перешагнуть через свою совесть. Себя уважать перестану.

— Почему же твоя доброта должна спасать других? Кто Сереже заменит отца, когда тебя уведут в тюрьму? Бурцев?

— Ладно, Ольга. Мне пора. Располагайся. Обедай без меня. Я приду поздно.

Он вышел из гостиницы. Было теплое утро. Щербак постоял, невесело вглядываясь в лица прохожих, и зашагал в суд.

СТРАНИЦЫ, КОТОРЫХ НЕТ В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

Возле дома Щербака остановилась машина, и кто-то постучал в окно. Это приехал шофер управляющего трестом Назарова.

— Я за вами, Алексей Фомич, — сказал он. — Хозяин велел приехать.

— Домой отпустили его?

— Куда там! Мается в больнице. Лежит и все в одну точку смотрит, как чокнутый. Не дай бог, чтобы так прихватило! Ужас! — Виктор был молодой парень, балагур, но шофер классный, за что Назаров уважал его и баловал.

— Как его самочувствие?

— Хреново, но держится молодцом. Семь флаконов лекарств извел. Кошмар! И все дни считает, когда выпишется. — Шофер похрустел яблоком и погода спросил: — А у вас как?

— Все так же, — вздохнул Алексей.

— Копают следователь? Придирается?

— Просто серьезный человек. Разобраться во всем хочет. Про аварию Назаров знает?

— А кто ему скажет? Мне Клавдия Федоровна вчера наказала: если Щербака повезешь, ему тоже скажи, чтобы ни-ни. Сами понимаете, как может обернуться: сердце пару раз стукнет — и все... Кошмар! Так что вы про заговор помните.

— Может, мне лучше не ехать?

— Не знаю, Алексей Фомич. Вам виднее. Я человек какой: сказано — сделано.

— Буду ему в глаза смотреть и брехать как собака. Куда это годится?

— А вы сами спрашивайте — как, что? Про футбол можете. Очень он интересуется. Болеет за армейцев — запомните. Ну, едем?

— Семь бед — один ответ, — вздохнул Щербак. — На месте определюсь.

— Правильно, — согласился шофер, трогая машину.

В палате было чисто и уютно. Кровать Назарова стояла у окна. Он лежал и о чем-то думал, уставившись в потолок.

— Здравствуй, Григорий Иванович, — негромко сказал Щербак.

— Здорово, Алексей, — не двигаясь, ответил Назаров. — Вот и ты меня навестил. Садись, располагайся. Давно не толковал с тобой.

— Живой, значит? — зачем-то спросил Алексей.

— Пока живой.

— Не люблю болеть, — признался Алексей.

— А кто любит? Кому нужен конфликт с медициной?

— Некоторым нравится.

— Так те больше притворяются. И от этого притворства рано помирают. Мы с тобой другие — долго жить будем, Алеша.

— Домой скоро?

— Обещают. Надоело здесь. Скучно.

— Но и «ремонт» необходим.

— На капитальный я б с удовольствием. Я так и сказал профессору, Алеша.

— Посмеялся небось он?

— Да нет. Откровенный мужик. Сказал мне: «Я, знаете ли, хитрый старик. У меня самого лечение особое. Я у гомеопатов лечусь». А мне другое лекарство прописал — покой.

— Покой тебе, Григорий Иванович, не помешает. Это уж точно. Успеешь свое наверстать.

— Ладно. Расскажи, как живешь? Что нового?

Щербак опечалился — очень уж врать не хотелось. И, вздохнув, сказал:

— Да что у нас нового, Григорий Иванович? Сам знаешь, работаем. И все тут. Один день поспокойнее, другой похуже. Так и живем.

— Что же ты ни разу ко мне не выбрался? А? Все-таки в товарищах давно ходим.

— Собирался...

— Сам видишь, какой я. И скучно мне.

— Понимаю, что плохо, — тихо сказал Щербак. — Я все понимаю. Забот было много.

— Заботы всегда будут, Алеша. А болеем мы, к счастью, не каждый день. С планом все нормально?

— Работать не разучились, Григорий Иванович, —

с деликатной застенчивостью отозвался Щербак. — Нормально работаем.

— Кто знает? Отсюда мне не видно. Накапай мне из розовой посуды пятнадцать капель — пора лечиться.

Алексей долго, с терпеливым старанием отсчитывал капли в мензурку, как будто от его аккуратности зависела жизнь Назарова, и, поймав себя на мысли, что просто тянет время, огорчился. «Не умею притворяться», — тоскливо подумал он, протянув лекарство товарищу.

Тот выпил и сказал:

— Вот так каждые три часа. Что еще поведает про свои дела? Что-то ты сегодня не очень разговорчивый, Алеша.

— Сам знаешь, Григорий Иванович, в больнице особый разговор.

— Это ты верно сказал. И я вот историю одну слышал. Как-то заболел старик Рокфеллер, и, чтобы, значит, он поменьше волновался, ему газетку специальную печатали. Разумеется, в одном экземпляре. Мол, доходы в безопасности, рабочий класс не бастует и все в таком роде.

— Неплохо придумали, — сказал Щербак, с тревогой оглядываясь по сторонам.

— Догадливый ты у меня. Газетку уже ищешь, — вздохнул Назаров. — В тумбочке она. Достань.

Алексей заметил, что Назаров оставался спокойным, словно уже давно привык ко всем новостям, а глаза его смотрели из-под густых и лохматых бровей сумрачно, недовольно, точно уличали товарища во лжи. Когда Щербак вытащил газету, сердце его защемило — он узнал статью с крикливым заголовком «Авария» и теперь сидел молча, проклиная себя и все на свете: «Эх, несмышленыш! По глупости решил, что обведу его вокруг пальца. Гриша всех нас, вместе взятых, насквозь видит».

— Кто передал? — глухо спросил Алексей.

— Тут от скуки даже рецепты читать начал, а газеты кочуют из палаты в палату.

— Значит, обо всем уже давно известно?

— Со вчерашнего дня. А статейка жидкая. Валяй сам — все по порядку.

— Долгий это разговор.

— Убытки подсчитали? Небось на миллион наравались?

— Почти миллион.

— Должно быть, и следовательно вокруг тебя уже топчется?

— Допрашивает.

— Тебе, Алексей, в священники подаваться нельзя. Плохо утешать умеешь. Рассказывай.

Может быть, душевная тоска оказалась сильнее тревоги за больного человека, а может, Алексей просто не верил в страх перед сердечными болезнями, неподвластную силу которых ему еще не довелось испытать на себе, только он в глубокой печали обо всем рассказывал Назарову.

— Теперь вот жду суда, — закончил Алексей.

— У тебя еще будет, а надо мной суд состоялся. Сейчас, когда ты толковал про беду.

— Ты-то, Григорий Иванович, при чем здесь?

— Кто Бурцеву пост главного инженера доверил? Ты или я?

— Человек он у нас новый...

— Но я-то старый! — перебил с возмущением Назаров, разом забыв про свою болезнь. — Я на эту должность прочил Мягкова — мне не утвердили. Разве можно было перетягу ставить? Ты куда смотрел? Русло широкое, огромный напор пыжа.

— Нашлись люди, которые отстаивают правильность этого решения.

— И еще найдутся. Черт с ними! Я-то знаю, где правда! — закричал Назаров. — Ты что, слепой котенок, не соображаешь?!

Дверь палаты распахнулась, и вошел главный врач. Он посмотрел на Щербака и возмущенно приказал:

— Немедленно оставьте больного!

* * *

Ольга долго ходила по комнате, размышляя о муже, потом сняла телефонную трубку и позвонила Назарову.

— Мне нужно поговорить с вами, — сказала она.

— Приезжай. Жду, — ответил Григорий Иванович.

Когда Ольга вошла в большой кабинет, отделанный пахучей сосной, Назаров сразу заметил ее смятение, но не стал докучать вопросами, а тут же позвонил куда-то по делам, чтобы она могла хоть чуть успокоиться. Окончив разговор, он подошел к Ольге и сказал:

— Знаю, что тяжело.

Она кивнула головой и вынула записку Бурцева.

Назаров прочитал бумагу, задержал взгляд на формулах и вычислениях, потом шумно задышал, прошелся по кабинету.

Ольга заметила внезапную бледность, растекшуюся по его лицу.

— Вот как! Любопытно, — наконец выдохнул он. — Откуда это у тебя, Оля?

— Лежала у Алексея в папке.

— Мир полон парадоксов, — усмехнулся Назаров. — Черт-те что творится на белом свете. Может, Фомич просто забыл об этой записке? В таком состоянии всякое бывает.

И тогда Ольга рассказала про разговор с Алексеем.

Назаров внимательно слушал, и по глазам его было видно, как зажглись в них гневные огоньки.

— Может, вы уговорите Алешу сказать про записку?

— Нет, его не уговоришь.

— Пропадет он. Засудят. Придумал себе вину и несет чужой крест. Вас-то он послушает, уговорите его.

— Это хорошо, что ты пришла, Оля, — сказал Назаров. — Я не стану уговаривать Фомича. Зря время потратим. Тут другие должны заговорить.

Ольга слушала, растерянно прижимая к коленям белую сумку и не понимая, кто эти другие, о которых говорит Назаров. Но в том, что Григорий Иванович был искренен и честен, Ольга не сомневалась.

И она с надеждой спросила:

— Разве нельзя ничем помочь Алексею?

Два месяца назад, весной, Назаров перенес инфаркт миокарда, и только чудо спасло его. Это чудо было в силе духа больного, в его воле, желании жить; и тогда, повинуясь страстной вере, слабое сердце вновь продолжало биться.

Сейчас в сердце Назарова появилась тупая боль. Он накапал в стакан лекарства, привычно разбавил водой и, выпив, опустил на стул.

— Может, врача вызвать?

— Не надо. Пройдет. А бумагу оставь. Она нужна мне.

* * *

Как-то вечером, уложив спать Сережку — ему уже пошел шестой год, — Ольга читала журнал. За окном начиналась ночь.

В сенях хлопнула дверь, и Щербак, не сняв бахил, прошел в комнату.

— Ты опять поставила двойку Косте Котову?

— Бестолковый мальчишка. Лентяй.

— А то, что Костя в доме отца заменил, ты забыла? Мать его день работает, три болеет, после смерти Анто-на нервы у нее ни к черту. Это ты забыла? А троих детей напоить, накормить и обуть надо. Разве ты не знаешь, что Костя в доме хозяином стал? По дрова — он, по воду — он, на участке — он, в магазин — он!

— Но я не могу лгать, ставлю отметки за знания.

— Больше ты никогда не поставишь ему ни одной двойки!

— Поставлю, — ответила Ольга. — Я педагог.

Алексей сел на стул и язвительно ухмыльнулся.

— Ты довела Костю до того, что он терпеть не может ни географии, ни тебя. Неужели после этого ты можешь называть себя учителем?

Обида отозвалась в душе, но, терпеливо сдерживая себя, Ольга ответила:

— От Кости Котова я буду требовать так же, как и от ребят всего класса.

Алексей вскочил со стула:

— Ты не смеешь ставить ему двойки!

От его крика проснулся Сережка, и Ольга ушла к сыну. Потом, ночью, она плакала и не могла понять, отчего же боль чужих людей для Алеши ближе и дороже слез родного человека? Разве это справедливо?

Через день Ольга вызвала отвечать Костю Котова. Худой и испуганный, он стоял у доски, не приготовив заданный урок, и глядел на учительницу утомленными глазами. Не зная почему, она не поставила ему двойку, должно быть, почувствовала ту правду, о которой говорил ей муж, но от этого ее обида и злость на Алексея только возросли. Может быть, с мальчишкой она и не совсем была права, но все равно не смел Алеша так обижать ее. Не всякую боль души можно утишить — есть обиды, которые проходят и забываются, но оставляют шрамы на сердце.

* * *

До начала судебного заседания оставалось полчаса. Градова мелким округлым почерком выписывала из судебного дела факты, которые предстояло уточнить при допросе обвиняемых. В коридоре слышались громкие

голоса, и в комнату вошли возбужденные заседатели Ларин и Клинков.

— О чем сегодня спор? — оторвавшись от бумаг, спросила Градова. — Опять из-за футбола?

— Что вы! Вячеслав Иванович — любитель-болельщик. В нем еще не проснулся азарт профессионала, — сказал Клинков с детской улыбкой, которую сохранил в свои тридцать лет. — Футбольные страсти посещают его редко.

Ларин молча смотрел на своего коллегу и с мудрой снисходительностью, нажитой за долгие годы, слушал его.

— Разговор о другом, — не утихал Клинков. — Уважаемый доктор не учитывает сложного процесса накопления бесспорных доказательств.

— Вот как! — удивилась Градова. — При его педантичности и профессиональной осторожности это исключено.

— Возможно, в операционной Вячеслав Иванович неуязвим. А по поводу Щербака высказался довольно недвусмысленно: виновен.

— Позвольте, — тут же вмешался Ларин. — У меня сложилось определенное мнение, которое я откровенно высказываю. Я и сейчас утверждаю: нет необходимости расширять круг свидетелей.

— А я настаиваю на вызове новых свидетелей! — горячо возражал Клинков. — И, в частности, Бурцева.

— Разве это что-либо изменит в существе дела? — Ларин чуть повысил голос. — Представьте себе такую ситуацию. Профессор предлагает мне прооперировать больного, которого я наблюдаю. По моим убеждениям, это делать преждевременно. Профессор настаивает. И я поддался его совету. А исход операции летальный. Кто отвечает за смерть больного? Я или профессор? Утверждаю — я. Ошибка доктора Ларина — вот как это надо оценить. Чувство ответственности состоит из многих оттенков. Но все они не исключают главного — собственной совести. Уверен, что я прав.

— До вашего прихода я как раз перечитала показания Каныгина и была озадачена одним обстоятельством. Почему Щербак признал себя виновным, а Каныгин отрицает свою вину? Видимо, каждый из них по-своему оценивает какие-то факты, которые мы с вами еще не выявили. Почему же нам не сделать определен-

ные шаги по пути исключения неизвестных мотивов? Я склонна поддержать предложение Клинкава.

— Из всех дел, которые мне довелось решать, нынешний процесс представляет особый интерес. Передо мной возникает нравственный аспект поведения людей, и я не перестаю об этом думать. В цехе, которым я руковожу, более тысячи человек. Проблема личностной ответственности моей и всех, с кем я работаю, пожалуй, самая важная. — Клинкав говорил медленно, будто взвешивал каждое слово.

— Стало быть, образовалось большинство, — сказал Ларин и, сняв очки, протер стекла платочком. — Ответственность я трактую как позицию человека в жизни. Есть она у него — он личность. Нет, — простите, амеба.

— Обвиняемый признал себя виновным. По вашей концепции он уже личность? — спросил Клинкав.

— Вы, Глеб Кузьмич, чересчур свободно обращаетесь с моей мыслью. Истина всегда конкретна. В данном случае, говоря о Щербакe, утверждаю — личность.

— А вдруг эта личность угодит в тюрьму? — допытывался Клинкав. — Останется Щербак личностью или...

Ларин не дал ему договорить:

— Для меня — да.

Градовой был по-человечески любопытен этот разговор. Она всегда старалась отступить, уйти на второй план, когда говорили или спорили заседатели. В этом она видела не только равноправие судей. Она знала, что жизненный опыт ее товарищей давал им право выносить приговор.

— Будем считать, что вопрос решенный, — сказала она. — Бурцева вызываем свидетелем.

Через несколько минут судьи уже входили в зал, чтобы продолжить процесс.

А тем временем Ольга, растревоженная поездкой в город, возвращалась в Сосновку, домой. Возле остановки автобуса стоял Костя Котов.

— Здравсьте, Ольга Петровна, — сказал мальчик, переступая худыми ногами в стареньких кедах. — Вы от дяди Алексея приехали? Да?

Она молча кивнула мальчику.

— Мамаия сказала мне, что дядю Лешу никто не

посмеет обидеть. И все будет хорошо. Вы не бойтесь, Ольга Петровна. Маманя никогда не обманывает.

Ольга с силой и нежностью обняла мальчика, чем напугала Костю, и, не удержавшись, заплакала...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С того времени, когда Ольга передала Назарову записку Бурцева, Григорий Иванович не встречался с главным инженером. Он не мог и не хотел больше доверять ему техническое руководство делами треста и обстоятельно написал об этом в министерство. Назаров, конечно, догадывался, что у Бурцева найдутся защитники и они будут откладывать решение вопроса до окончания суда.

В понедельник утром в кабинет Назарова, опираясь на костыли, вошел Бурцев и сказал:

— Звонили из Климовки. Они направили запрос по поводу реконструкции запани. Ко мне их письмо не поступило. Может, оно у вас, Григорий Иванович?

— Я передал его Гридневу. Он ответит им.

— Почему Гриднев?

— Добросовестный человек и опытный инженер.

Лицо Бурцева мгновенно зарделось. Он подошел ближе к столу, шумно ударяя костылями о блестящий паркетный пол.

— Я здесь главный инженер. Мне надлежит решать этот вопрос.

— Теоретически все правильно, — сказал Назаров и неожиданно спросил: — Неужели вас не интересует суд над Щербаком?

— Я достаточно информирован о ходе процесса.

— Информированы? — нараспев повторил Назаров. — Очень удобное слово: информирован.

— Я пришел по делу и прошу ответить на мой вопрос.

— Не понимаю, — Назаров горестно покачал головой, — чего у вас больше: подлости или наивности?

— Вы не имеете права так разговаривать со мной!

— Все это пустое, Юрий Павлович. Вы не подумали, что сплавщики больше не поверят вам, ни за что не поверят? Они ведь тоже информированы. А если хотите знать всю правду, то мне звонил начальник Климовской запани и просил решить вопрос помимо вас.

— Грязная склока! Вы задались целью скомпрометировать меня и подтасовываете факты.

— Заблуждаетесь, Юрий Павлович. Вспомните Щербака. В Сосновке случилась не только авария. Там рухнул ваш авторитет.

— Неправда! — воскликнул Бурцев и зачем-то взмахнул костылем, словно искал защиту. — Когда я приехал в Сосновку, на запани было явное предаварийное положение. Я выбрал наиболее радикальную спасительную меру. Щербак согласился с ней. Почему вы не допускаете, что могла произойти ошибка, от которой никто не застрахован, и поэтому оправданный риск не уберег запань?

— Допускаю. В том-то и дело, что допускаю. Но вы добровольно покинули капитанский мостик. Ваша ответственность исчезла, когда случилась катастрофа. А люди, которые были рядом с вами, попали на скамью подсудимых.

— Не я отдал под суд Щербака. Чего вы добиваетесь?

— Справедливости.

— Вам нужно, чтобы меня осудили?

— Нет! Сами сотворите над собой суд.

— Я достаточно пережил. Но не думаю, чтобы вас это волновало.

— Не обо мне думайте. Совесть свою призовите к ответу. И вспомните в эти минуты конструктора Туполева. Когда один из его самолетов шел на посадку и пилоту не удалось выпустить шасси, а это, как вы догадываетесь, угрожало гибелью многих людей, Тупелев первым примчался на аэродром.

— Хорошо, — решительно заявил Бурцев. — Я пойду в суд. И скажу все, что я знаю.

Он цепко ухватился за костыли и вышел из кабинета. Бурцев не сказал Назарову, что у него в кармане лежала повестка в суд. Его вызывали свидетелем по делу Щербака.

В зал вошел Макар Денисович Михеев, старик неопределенного возраста, с морщинистым лицом и гвардейскими усами.

Он первый раз в своей жизни участвовал в судебном процессе и поэтому с нескрываемым любопытством разглядывал зал — познание жизни для него было бес-

престанным. Особенно Михеева поразили судейские кресла, высокие, массивные, украшенные строгим орнаментом. А кресло Марии Градовой венчалось полукружьем, на котором виднелся герб, искусно сработанный резчиком по дереву.

В былые времена Макар Денисович тоже увлекался резьбой. Кое-что даже сейчас осталось: наличники на окнах, крылечный навес...

— Сколько километров от вашего водомерного поста до запани? — спросила Градова свидетеля.

— Кругленько — пятьдесят километров.

— Сколько раз в день вы производите замеры уровня воды?

— Два. В восемь утра и в восемь вечера. Вроде симметрии, — отозвался Михеев. Он любил разные ученые слова и свято был убежден, что мог толковать с людьми на любые темы. А если чего и не знал Макар Денисович — хитростью брал. Пойди потом разберись, где он прав, а где нет.

— Вы сделали замер. Что происходит дальше?

— Беру журнал водомерных наблюдений и пишу, к примеру, три метра или три двадцать. Между прочим, пишу чернилами, карандаш-то, он блеклый — не пользуюсь.

— Дальше что? — по-деловому перебила судья, почувствовав привязанность свидетеля к разговорам.

— Записал аккуратненько, значит, и звоню в контору, на запань. Докладываю по форме: Вербинский водомерный пост в восемь часов утра — три метра.

— Что еще входит в круг ваших обязанностей?

— Я к реке приставлен. Слежу за уровнем воды. Пойдут дожди — река богатеет. А дождь, он ведь не по расписанию хлещет. Иду, замеряю. А когда лес молем идет, глаз не свожу со своего участка. Всяко случается: заторы, завалы. Лес-то в воде дичает. За ним присмотр нужен. Вот помнится...

— Это понятно, — сказала Градова. — Одиннадцатого июня вы передали сводку?

— Нет.

— Почему?

— Не смог. Заболел. Скрутило меня — дыхнуть не мог, симметрия вся моя вышла. В животе, простите, боль, будто по живому режут. Я один, вокруг ни души. Что делать, думаю? Хоть бы до утра дотянуть.

— У вас же есть телефон, — напомнила судья.

— Ясное дело, как мне без телефона? Но на дворе ночь. Кому позвонишь? Дотянул до утра — совсем худо стало. Не пропадать же задаром, думаю: сполз с койки — и к дороге.

— Бюллетень в тот день получили?

— Полная симметрия — меня ж в больницу положили. Справка при мне, — Макар Денисович полез в карман, в другой и, гордый за свою догадливость, вытащил справку. — Из-за этого аппендицита и сводки не было. Такая болезнь, знаете...

— Подсудимый Каныгин, — снова прервала судья подробности объяснения Михеева, — когда вы узнали, что Вербинский водомерный пост молчит?

— Одиннадцатого июня в восемь двадцать утра.

— И что вы предприняли?

— Случается иным часом, что бывает задержка. Но Михеев — человек надежный. Вот и решили обождать.

— И долго вы ждали?

— До вечера.

— Какие потом приняли меры?

— Хотел послать Василия на машине — это наш шофер, — чтобы он проверил на месте, в чем дело.

— А почему катер не направили?

«Вот дурная баба! Какой там катер, ей-богу», — подумал Каныгин и сердито объяснил:

— Река забита лесом.

Слегка смутившись от допущенной оплошности, судья спокойно спросила:

— Что же было дальше?

— Вызвал я шофера и говорю: «Дуй, Василий, в Вербинку». А он отвечает: «Мотор барахлит. По этой дороге я сутки добираться буду. Пусть Леший сам едет на ночь глядя». Я тогда...

Мария задохнулась, словно ее сердце было пробито насквозь шальной пулей.

«Леший, — ожгло Градову. — Точно. Того летчика звали Леший... Ну вот мы и сочлись...»

Она нашла в себе силы, чтобы успокоиться, и спросила:

— Минуточку, подсудимый Каныгин. Кого шофер Василий назвал Лешим?

— Про Щербака он так сказал, — ответил Каныгин. — К Алексею Фомичу фронтовые друзья, летчики,

иногда съезжались. Рыбачили. Так они его все Лешим кликали. А возил их Василий. Вот, верно, и подхватил — язык-то без костей.

Память

Перед тем как отправить молодую радистку Машу Градову в партизанский отряд, ее пригласили в штаб командования.

Курчавый майор, у которого отчаянно скрипели новые хромовые сапоги, сообщил радистке Градовой кодовый шифр — стихотворную строку Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу».

Маша спросила, смущаясь от робости:

— А можно из Пушкина?

Майор, конечно, мог настоять на своем, но вопрос радистки заинтересовал его. Проскрипев по комнате сапогами, он спросил:

— Не уважаешь, Градова, поэзию Михаила Юрьевича?

— Вы меня не так поняли.

— Зря. Красивый человек был поручик Лермонтов.

— Я знаю. Но мне хочется другой код: «Там чудеса, там леший бродит».

С тех пор Градова два года не расставалась с этим кодовым шифром, сказочной пушкинской строкой. А потом, когда она была тяжело ранена и лежала на окровавленной плащ-палатке в туманном осеннем лесу, Маша услышала горькие слова командира отряда:

— Возьми нашу радистку. Добром прошу тебя, Леший! Не выдержит долго она.

И ответ того летчика, который она никогда не забудет:

— Живых надо вывозить, а не покойников!

Но, видно, и вправду от судьбы не уйдешь: спустя много лет, хотя она не искала этого человека, он появился перед ней как подсудимый, доверив ей свою жизнь, как когда-то она ему. Однако Градову все же поражало совпадение случайностей, словно кем-то заранее подготовленных: и кодовый шифр — «леший», и летчик — Леший, и подсудимый — Леший.

Интуитивные предположения, смутные догадки, наконец, предчувствие никак не укладывались в систему убедительных доказательств, дающих ей право окончательно решить, что тот летчик и есть Алексей Щербак, ее теперешний подсудимый.

Во время перерыва все вышли из зала, кто поку-
рить, а кто просто поразмяться.

День был погожий, румяный.

Алексей стоял в коридоре у раскрытого окна. Ве-
терок освежал его, успокаивал.

Рядом остановились Каныгин и адвокат.

— Алексей Фомич, — сказал адвокат, — показания
моего подзащитного меня удовлетворили. Хочу дать вам
несколько советов.

— Но вы же не мой защитник.

— Это, конечно, так, — согласился адвокат. — Но,
видите ли, ваши ответы и ответы моего подзащитного
не должны иметь разночтений. Вы, собственно, связаны
нынче одной веревочкой. Помните главное: не торопи-
тесь отвечать. Вы — хозяин времени.

— Что еще?

— Ваша ирония — это эмоции. Обходитесь без нее.
Вы когда-нибудь были в парикмахерской?

— Заходил.

— Значит, видели, как действует хороший парик-
махер? Классный?

Каныгин крикнул от удовольствия, потому что давно
уже знал эту премудрость, и, не удержавшись, сказал:

— Пять минут мылит, две минуты бреет.

— Именно так, — холодно заметил адвокат.

Он сдержанно поклонился, всем своим видом пока-
зывая, что удивлен поведением Щербака, и торопливо
увел с собой Каныгина.

Алексей повернулся к окну и с молчаливым досто-
инством смотрел на город.

Услышав знакомый голос за спиной, оглянулся и,
пораженный, замер.

Перед ним стояла судья Градова.

— Мне хотелось бы с вами поговорить.

— Пожалуйста, — сказал Щербак.

— Алексей Фомич... — произнесла Градова и
умолкла.

— Я вас слушаю, — напомнил о себе Щербак, не
догадываясь о состоянии судьи.

— Вы летали в Кремневку? Это очень важно для
меня, — чеканя каждое слово, заявила она. — И для
вас тоже.

— Я говорил уже, что летал. Осенью. В гостинице я потом долго вспоминал, когда это было. И представьте себе — вспомнил! Восемнадцатого октября.

— Восемнадцатого?

— Да.

— Вы точно уверены?

— Абсолютно. — И с участием спросил: — А что, вы бывали там?

— Бывала.

— В это время?

— Да. — Градова резко повернулась и зашагала по коридору.

Вечером, когда на улице стало тихо и прозрачно, когда смирился ветер, задремав на крышах, Градова, поразмыслив, пришла к выводу, что не может вести дальше этот процесс, иначе засудит этого подлого летчика.

Ей нужен был дружеский совет мудрого человека. Таким для нее был Александр Павлович, бывший председатель городского суда, юрист больших знаний и опыта. К нему многие приходили за советом, а случилось, что и он сам, познакомясь с запутанным делом, деликатно вступал в беседу с судьей, тактично привлекая его внимание к сложным вопросам, которые не бросались сразу в глаза.

Градова ценила его чуткость, привязанность к людям и с гордостью считала Александра Павловича своим духовным наставником. А когда он ушел на пенсию, не забывала дороги к нему, каждый раз восхищаясь щедростью его сердца. Александр Павлович не ошибся, поняв, что приход Градовой в поздний час не просто визит вежливости, а вызван необходимостью посоветоваться по важному для нее делу.

И хотя она с искренним интересом расспрашивала о его житье-бытье, Александр Павлович уловил удобный момент и сказал:

— Со мной все ясно. В домино на скверике не играю — бог миловал. Пишу учебник «Тактика допроса», — и, коснувшись рукой объемистой рукописи, добавил: — А вот вы мне, мадам, сегодня не нравитесь. Не скрою.

И Градова рассказала о своих треволнениях.

— Давненько меня не баловали такими детективами, — весело сказал Александр Павлович и закурил трубку.

Она ничего не ответила.

— И что же вы хотите предпринять, мадам? — Он поднял на нее глаза, продолжая улыбаться тонкими губами.

— Заявить самоотвод.

— Основания?

— Формальных оснований, к сожалению, у меня нет, — грустно сказала Градова.

— Согласен, — подтвердил Александр Павлович, прикуривая погасшую трубку.

— Но мое самочувствие мешает делу. Вы верите мне?

— Еще бы! — Александр Павлович покачал головой и неторопливо заговорил: — Помнится, в студенческом общежитии был у нас парень, который воровал у ребят продукты. И вот, представьте себе, встречаемся недавно — года три назад. И что же? Я к нему испытывал невероятное отвращение. Так и хотелось, знаете ли... А он уже солидный и достойный человек. Вот ведь как случается.

Градова вздохнула и странно улыбнулась — рассказы Александра Павловича умели успокаивать людей. Заметив, что его собеседница воспрянула духом, он спросил:

— В процессе судебного разбирательства ваше предположение, что тот самый летчик и ваш подсудимый — одно лицо, подтвердилось?

— Нет.

— Он ваш родственник?

— Нет.

— Вы лично причастны к происшедшей аварии?

— Нет.

— Вы имеете фактические подтверждения, что именно Щербак не вывез вас?

— Нет.

— Значит, мы имеем дело только с догадкой, предположением... Допускаете? А если вы ошиблись?

Градова молча кивнула.

— Я понимаю ваше желание заявить самоотвод, — продолжал Александр Павлович. — Но согласитесь, что самочувствие, вызванное догадкой, не может стать поводом для вашего устранения от участия в процессе.

— Несколько часов назад я говорила с ним...

— И что он?

— Щербак утверждает, что прилетал в Кремневку восемнадцатого октября.

— Вы не верите ему?

— Он сказал правду. В тот день к нам прилетал только Леший.

— Но Лешим мог оказаться любой из летчиков. Довольно распространенное прозвище. И еще вопрос. Зная про свой неблагоприятный поступок, зачем ваш подсудимый Щербак точно обозначил злополучный день. Это не сулило ему большой радости. Подумайте. Сей факт должен предостеречь вас от поспешных выводов.

— Возможно, он забыл эту историю...

— Опять догадки, — заметил Александр Павлович.

— Не представил бывшую радистку в роли судьи.

— Можно придумать много версий.

— А подвергать себя столь трудному испытанию — можно? Неужели вы думаете, что я могу забыть тот день?

— При всех эмоциях — закон есть закон. И вы, я знаю, сумеете сохранить свое достоинство. Я бы не санкционировал ваш самоотвод.

— Но закон на моей стороне. Судья не может участвовать в деле, если имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что судья лично, прямо или косвенно, заинтересован в этом деле...

— Вот, вот... Иные обстоятельства. А у вас только догадки. И негоже вам, Мария Сергеевна, принимать поспешное решение. А потому советую: поговорите со своими коллегами, обсудите... Кто у вас заседатели?

— Клинков и Ларин.

— Знаю. Ларин даже мою внучку оперировал. Большой виртуоз.

Когда она уходила, Александр Павлович сказал:

— Где-то я прочитал: если вам везет — продолжайте, если не везет, все-таки продолжайте.

На следующий день Градова, убежденная, что проводит свои последние часы на процессе, устроила перекрестный допрос, который тщательно продумала.

— Свидетель Михеев, — спросила она, — не сообщив одиннадцатого июня уровень воды, ваш водомерный пост причинил ущерб запани?

Макар Денисович подергал гвардейские усы и убежденно ответил:

— Нет.

— Почему вы так считаете?

— А вы разлейте на столе стакан воды — уровень один кругом будет. Симметрия природы.

— Не понимаю вас.

— Выше меня и ниже тоже посты есть. Они свой уровень сообщили, — последовал деловой ответ Михеева.

Каныгин ухмыльнулся, не ожидая, что сейчас наступит его очередь краснеть и волноваться.

— Подсудимый Каныгин! — сказала Градова. — Сколько часов вы ожидали звонка от Михеева?

— Десять.

— Вы не видите в этом нарушения служебных обязанностей?

— Нет, — обиделся Каныгин.

— Почему?

— Я учел данные других постов и понял, какой уровень в Вербинке. Поэтому особенно не тревожился.

— А если бы в том районе был затор? — спросила Градова. — Ведь лес шел сплошным модем.

Каныгин заволновался, мельком взглянул на адвоката, но сказать ему было нечего — судья загнала его в угол.

— Подсудимый Щербак! Когда вы уезжали с западни, кто вас замещал?

— Технорук Каныгин, — ответил Алексей, сразу догадавшись, куда клонит судья и что Федору Степановичу сейчас придется туго.

— Какое бы вы приняли решение, узнай, что водомерный пост не сообщил утреннюю сводку?

— Позвонил бы в правление соседнего колхоза и попросил узнать, что с Михеевым, а заодно посмотреть на водомерную отметку.

— Суд интересуется, как вы расцениваете служебное поведение технорука, ожидавшего десять часов сводку? Не видите ли вы в этом проявление явной халатности при исполнении своих обязанностей?

— Это мои обязанности, — ответил Алексей, не желая делать виноватым своего старого товарища.

— Но в данном случае Каныгин вас замещал.

— При таком стечении обстоятельств он немного недоглядел. — Алексей остался честным до конца.

— Недоглядел, говорите. А может быть, на авось рассчитывал? Ведь если бы в районе водомерного по-

ста образовался сильный затор, то через несколько часов прекратилось бы поступление леса в запань. Вот вам результат халатности! Вы никогда не задумывались, подсудимый Щербак, почему в словаре слово «авария» стоит почти рядом с другим словом, «авось»?

— Мне кажется, это к делу не относится.

— Зря вам так кажется.

В тишине зала было слышно, как от слабого ветра поскрипывают рамы распахнутого окна.

— Свидетель Михеев, скажите, я правильно представила картину возможных осложнений?

Михеев тревожно посмотрел на подсудимых и негромко отозвался:

— Симметрия бы распалась. Это факт.

Уже смеркалось, когда Каныгин и Щербак вышли из здания суда.

— В горле сушит, давай пивка попьем, — невесело предложил технорук.

Через проходной двор они направились в переулок, где бойко шла торговля в маленьком пивном ларьке. В очереди стояли недолго. Взяли по кружке пива и отошли к забору, освещенному вечерним солнцем. Каныгин бросил в кружку щепотку соли — пиво вспенилось через край. Он стал сдувать пену и вдруг заметил на заборе пожелтевший от времени плакатик. На нем была фотография Марии Градовой.

— Это ж надо такое — кружку пива и ту спокойно выпить не дают, — вздохнул Федор Степанович и подошел к Щербаку. — Полюбуйся.

Алексей подошел ближе. Он увидел старый плакат, уцелевший со времени, когда в городе шли выборы народных судей. Рядом с портретом Градовой была напечатана ее биография.

— Что там про нее пишут? — спросил Каныгин.

— Хорошо пишут.

— Хоть злая баба, а мордашка у нее ничего. Видная женщина, — заметил Каныгин. — На карточке заметно лучше, чем в суде.

— Она, оказывается, партизанка. Слышь, Федор?

— Ну и что?

— Была ранена.

— Подумаешь. Будто одна наша судья воевала.

Между прочим, с ней рядом заседатель — так у него в три ряда наградные планки. Пошли. Бог с ней.

Они отнесли свои кружки и отправились в гостиницу.

Еще несколько дней назад Алексей не понимал, почему Градова так дотошно интересовалась его военной биографией. Это казалось ему странной придиркой, а теперь он успокоился, оттого что узнал — она сама партизанила, натерпелась горя и, видно, растеряла фронтовых друзей. Может быть, надеялась через него найти товарищей? Это понять можно.

В гостинице Щербак и Каныгин поужинали, а потом улеглись и молчали, только скрипели пружины, когда кто-нибудь из них ворочался.

Непривычно громко и часто зазвонил телефон.

Каныгин снял трубку.

— Здоров, Родион Васильевич. Здесь он. Подойдет сейчас. — И подозвал Щербака: — Тебя, Фомич, Пашков спрашивает. Видать, беспокоится кадровик.

— Откуда звонишь? — спросил Алексей Фомич.

— С нашей почты. Тут Люба — почтарка — тебе поклон передает.

— И ей от меня привет.

— Что у вас? — спросил Пашков. — Какие дела?

— Как тебе сказать? Ну, одним словом, суд идет. Аж в две смены. Веселого мало, конечно. Устал. Алло! Алло! — В трубке раздались гудки. — Прервали нас, — сообщил он Каныгину.

— Цельный день не везет. Факт, — вздохнул Федор Степанович.

А в этот вечерний час Градова с членами суда сидела в совещательной комнате. Она кратко, не вдаваясь в особые подробности, высказала коллегам обстоятельства, препятствующие ее дальнейшему участию в процессе.

Заседатели были склонны согласиться с доводами Марии Сергеевны и, как ей показалось, хотели поддержать ее просьбу. Она начала писать протокол, чтобы все оформить как положено.

Клинов вдруг спросил:

— А как вас вывезли, Мария Сергеевна?

— Другой летчик спас.

— Все же летчик? — подчеркнул Ларин.

— Да. Смолин. Он сейчас в Аэрофлоте.

— А знаете, я бы тоже вас не взял, — задумчиво сказал Ларин.

— Отчего же?

— Я удивляюсь, как партизанский врач мог вас отпустить? Вам оказали первую помощь?

— Он был убит в бою.

— Вас нельзя было транспортировать. Заявляю вам, как хирург. Это все равно что везти вас на кладбище.

— А оставить тяжелораненую на руках отступающих партизан?

— Какого числа Смолин вас вывез? — спросил Клинков. — Может, вы помните, Мария Сергеевна?

— Девятнадцатого меня оперировали — это я помню из выписки. Значит, восемнадцатого. Да, восемнадцатого!

— А что, если этот Леший не мог вас взять по техническим причинам? — предположил Клинков.

— Каким?

— Не знаю, чего там у летчиков случается, но могу выяснить для пользы дела.

— Не стоит.

— Но ведь вам не удалось установить причину его отказа?

— Нет.

— Только догадываетесь, — негромко подсказал Ларин.

Градова подумала, что действительно она ничтожно мало знает о человеке, которого звали Леший.

— Есть идея! — Клинков посмотрел на товарищей, наверно, вспоминая военные годы, и, убежденный в своей правоте, предложил: — Надо с ним поговорить. И все станет на свои места.

— Я говорила с ним, — печалась, что все снова перепуталось, сказала Градова.

Ларин прошелся по комнате.

— Неужели сейчас, спустя столько лет, он помнит о каждом своем вылете? О каждом пассажире?

— Но Мария Сергеевна!.. — воскликнул Клинков.

— Да, она помнит, — уточнил Ларин. — А он?

— Может быть, — согласился Клинков. — Мне кажется, что вообще наш подсудимый Щербак и тот летчик — разные люди. Готов поспорить.

— Почему вы так уверены? — спросила Градова.

— Этот сплавщик из Сосновки пустил на ветер за здорово живешь миллион рубликов. А тот... Вдруг у не-

го уже полный самолет был раненых? — осенило Клинова. — И вообще, все летчики были героями на войне. И тот, я верю, тоже!

— Адвокат из вас дохленький, — улыбнулась Градова.

Протокол о ее самоотводе остался недописанным.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Каныгин уловил пристальный взгляд судьи, брошенный на него, и понял, что Градова сейчас будет снова допрашивать его в связи с показаниями свидетеля Михеева.

Но неожиданно Градова объявила:

— Пригласите свидетеля Бурцева.

Медленно передвигая костыли и слегка опустив голову, в зал вошел Бурцев. Нога его, закованная в белый гипсовый сапог, не касалась пола, а осторожно плыла над ним.

— Суд разрешает вам давать показания сидя, — сказала Градова.

— Спасибо. Мне лучше стоять.

Появление Бурцева озадачило Алексея. «Все-таки Ольга передала Градовой записку, — подумал он. — Зачем? Я просил не делать этого. Теперь Бурцев скажет, что всю вину сваливаю на него, а себе вымаливаю пощаду».

Он затосковал и рассердился на жену.

Бурцев уже рассказывал суду об аварии на запани, а Алексей все еще не мог успокоиться и с напряжением ждал, когда главный инженер вспомнит о злосчастной записке. Но, странное дело, Бурцев ни словом не обмолвился о ней.

...Восемь лет назад Юрий Бурцев окончил лесотехнический институт, получив диплом инженера-механика по сплавным механизмам.

Но молодой Бурцев всегда тянулся к иным делам, грезы романтики будили его воображение, и он вынашивал в душе красивую и мужественную надежду: стать заметным инженером. Эта надежда увлекала его дальше и дальше, заслоня обычные дела, связанные с его профессией. По ночам ему снились летчики-испытатели, полярники дрейфующих станций, инженеры-космонавты, и среди этих людей он видел себя. Но все, что было связано с риском, вызывающим немой восторг

в душе, влекло Бурцева лишь в мечтах и смутных желаниях. На земле же ему хотелось стоять прочно, долго жить под небом, зная, что знакомый, привычный ход его сердца в безопасности. Закончив самый земной институт, Бурцев понял, что ошибся, но горько не сожалел об этом.

Он был настойчивым и уверенным в себе инженером, а как современный человек понимал, что в карьере нет ничего плохого: растут по службе энергичные и способные люди.

Несколько лет Бурцев работал инженером в сплавной конторе на Каме. Когда главный механик треста ушел на партийную работу, ни у кого не было сомнений, что Юрий Павлович должен занять его место. Так и случилось.

Теперь же он, опираясь на приятелей и товарищей, перебрался главным инженером в крупный трест на Волгу...

Когда Бурцев закончил показания, судья спросила у него:

— Одной из главных причин аварии вы считаете резкое повышение горизонта воды?

— Вы правильно поняли меня.

— Другой причиной вы считаете то, что запань к этому времени не была восстановлена в рабочем положении?

— Да.

— Почему в таком случае вы отвергли предложение подсудимых о сооружении запани-временки в районе заостровья? Они полагали, что это предотвратит вынос древесины в Волгу.

— Я руководствовался техническими условиями. Меня не волновал должностной престиж. Лишь предвзято настроенные люди могут думать иначе. — Юрий Павлович был убежден в своей правоте, и его твердый голос подчеркивал это. — Авария всегда случай гибельный. Фактор времени, порою исчисляющийся мгновениями, предопределяет эффективность принимаемых мер. Было очевидным, что стихия не сложит оружия. Время не отпустит те семьдесят часов, которые были нужны для сооружения запани-временки.

— Однако осуществление вашего предложения тоже не спасло запань, — сказала Градова.

— Это так. Но, повторяю, перетяга была технически обоснована. Это известно специалистам.

Бурцев отвечал на вопросы судьи тоном, который придавал его ответам характер неопровержимой убедительности. Несмотря на свою нелепую позу — широко расставленные костыли казались шаткими, непрочными подпорками его плотной длинной фигуры, — он вел себя уверенно и спокойно. Главному инженеру потребовалось мало времени, чтобы положительно обрисовать свою роль в разыгравшейся катастрофе.

И тогда Градова решила проверить его стойкое мужество — к этому приему часто прибегали судьи, дипломаты и разведчики.

— Установка перетяги совершалась при вашем участии?

— Да, до момента, когда я сломал ногу.

— Какая часть работы была выполнена к этому времени?

— Дело подходило к концу.

— Были нарушены технические нормативы?

— Нет.

— Все соответствовало вашим указаниям?

Бурцев неожиданно замялся.

— В общем, да.

— В общем или конкретно?

— Будем считать, что конкретно.

— Следовательно, ваше предложение обрело характер приказа?

— Я хочу уточнить. Я исходил из технических расчетов, которые произвел на месте.

— Окончательное решение приняли вы?

— Начальник запани не опроверг моих расчетов.

— Вы исключаете, что в тот момент авторитет вашей должности имел бóльшую силу?

— Я тогда не думал об этом.

— Вы знали деловые качества подсудимых, когда приехали в Сосновку? — спросил Клинков. — Как вы их оценивали?

Бурцев не торопился с ответом.

— Вы поняли мой вопрос?

— Да, — сказал Бурцев. — Мне показалось, что они опытные работники.

— А что вы можете сказать теперь?

— Я и сейчас утверждаю, что они были хорошими сплавщиками.

— Были? До какой поры? — вмешалась в допрос Градова.

— На их долю выпало трудное испытание. Об этом забывать нельзя, — сказал Бурцев и впервые оглянулся на скамью подсудимых, видимо, хотел увидеть, как Щербак отреагирует на его ответ.

Но Алексей в это время смотрел в дальний угол зала, где сидел Костров, второй секретарь райкома партии. И когда их взгляды встретились, Костров улыбнулся Щербаку.

* * *

О том, что персональное дело Алексея Щербака будет обсуждаться на бюро райкома партии, второй секретарь Виктор Антонович Костров узнал накануне и сразу отправился к Супоневу. Кабинет первого секретаря был напротив, его хозяин переодевался, ловко и привычно наматывая портянки, видимо, готовился к отъезду.

— Как думаешь со Щербаком поступать, Константин? — спросил Костров, закрыв за собой дверь, обтянутую дерматином.

— Будем исключать.

— Мне это кажется странным.

— Интересно, как бы ты поступил на моем месте?

— Не торопился бы.

— Звонили из обкома, просили обсудить.

— И ты сразу на всю катушку? Нельзя же так, Константин. В первую очередь мы обязаны подумать о человеке.

— Это все лозунги! — рассердился Супонев. — Вспомни историю с Полухаем. Тогда мне здорово досталось за то, что ограничились строгим выговором.

— Полухай — жулик.

— Ситуацию не чувствуешь. Мы должны пойти на крутые меры, — твердо сказал Супонев.

— Должны ли? Есть у нас полная обоснованность обвинений, предъявленных коммунисту?

— Следствие установило, что Щербак прямой и главный виновник аварии. Ты посмотри в глаза правде! В конце-то концов, мы руководители района, черт возьми! — Супонев подтянул голенища. — Мне позарез нужно выехать в рыбацкий поселок, а вместо этого я должен убеждать тебя, святого апостола, в том, что надо уметь бороться за партийную честь.

Костров погладил ладонями потертые местами зеленое сукно стола и сказал:

— Ты не задумывался над тем, что Щербаку помогли стать виновником?

— Не понимаю.

— Помогли совершить ошибку.

— Он двадцать лет на запани! — вспыхнул Супонев. — Это не вариант.

— Завтра и райком может совершить ошибку.

— Демагогия тебе не к лицу, Виктор.

— Я понимаю, что и райком не застрахован от ошибок, — продолжал Костров. — Только каждый наш промах отзывается великой человеческой болью.

— Зачем этот спектакль? Говорим о Щербаке, а не об ошибках райкома. Твое мнение, Костров?

— С бедой, которая постигла запань, пришла и неуверенность Щербака.

— Ничего себе работничек.

— Ты пойми, о чем речь. Представь себе картину, когда лес прет, все сметая на пути. С ума сойдешь! За чем он согласился ставить перетягу? В этом его ошибка.

— Все-таки ошибка. В иное время за...

— Нынче другое время, — перебил Костров.

— Ладно. Но почему, скажи мне, у Щербака не нашлось времени позвонить о беде нам, в райком? Почему своего мнения не имеет? А теперь миллион рублей козлу под хвост. Ты думаешь, нам за это отвечать не придется?

— Я готов отвечать. Я в Щербака верю.

Костров достал из кармана розовый носовой платок и вытер пот со лба. На какое-то мгновение в кабинете возник пряный запах духов.

— Щербака будут судить. Тебе известно, что, если член партии — так записано в уставе — совершает проступки, наказуемые в уголовном порядке, он исключается из партии.

— Именно! Наказуемые! Но только суд может установить виновность Щербака.

— И он признает его виновным!

— Этого никто не знает.

— Я знаю!

— У меня на этот счет есть свое мнение. Это труд, сопряженный с ежедневным риском.

— Накурил, черт! — Супонев недовольно поднялся из-за стола, открыл окно и жестко сказал: — Будем исключать Щербака.

— Разве у нас нет мужества, чтобы принять удар на себя?

— Если суд признает Щербака виновным, мы с тобой будем иметь весьма бледный вид.

— А если суд оправдает его?

— Такого быть не может. Время рассудит нас, Виктор Антонович, — сказал Супонев. — Возможно, на бюро мы сможем лучше понять друг друга.

* * *

Судья Градова, слушая показания Бурцева, улавливала в его беспокойных глазах смутную тревогу. Сначала ей показалось, что свидетель часто менял позу и разжимал кисти рук от усталости. И тогда судья снова предложила ему сесть, но Бурцев отказался. Ее поразило не столько физическое мужество свидетеля, сколько неиссякаемое упорство, с каким он соблюдал верность своему заявлению: мне лучше стоять.

Но, продолжая допрос, Градова все больше убеждалась, что беспокойство, охватившее Бурцева, вызвано каким-то душевным бореньем. Случись такое в иной жизненной обстановке, она бы просто спросила собеседника, что его тревожит, но сейчас это было невозможно. Оставался один путь — ставить перед ним такие вопросы, которые исподволь привели бы судью к пониманию другого, скрытого от глаз внутреннего мира свидетеля.

Градова спросила:

— Предусматривает ли инструкция все виды угрожаемых положений?

— Нет. Сделать это трудно. Стихия выступает всякий раз в новой роли.

— Значит, в Сосновке стихия разыграла спектакль, до сих пор невиданный?

— Возможно, в долгой истории сплава и было где-то подобное.

— Я говорю про Сосновку.

— Здесь такого не случалось.

— Следовательно, руководители запани оказались перед лицом неожиданности. Допускаете ли вы, что им была не под силу роль борцов с угрозой, навязанной стихией?

— Допускаю.

— Если бы вы не приехали в Сосновку, каким мог быть исход разыгравшихся событий?

— Судя по известным мне обстоятельствам, авария была бы неминуемой.

— Вы предложили спасительную меру?

— Я полагал, что это будет так.

— Но авария случилась. А у подсудимых был свой план ее предотвращения. Вы же предложили свой.

— Но я принял ответственность на себя.

В перерыве, когда зал уже был пуст, Костров подошел к Щербаку.

— Ты знаешь, Алексей, грустное зрелище...

— Это тебе со стороны так, а если за оградой сидишь?

— Да, — печально ухмыльнулся Костров. — Радости мало.

— Специально приехал?

— В обкоме был... Задержался. Хотел тебя повидать.

— Спасибо. А я временами думаю: сошел с круга Щербак... Отрезанный ломоть. Плыл, плыл, а на берегу рухнул.

— Зачем раньше времени поминки устраиваешь?

— Привык правде в глаза глядеть. — И, немного помолчав, спросил: — Наверное, из партии исключили?

Костров резко вскинул голову.

— Откуда ты взял?

— Всякое в голову лезет.

— Не мели лишнего... Ты уж сам себе приговор сочинил.

— Что райком-то думает? Скажи, Виктор, если не секрет.

— Все по уставу будет. Кончится суд — разберемся. Как же иначе?

— А я, грешным делом, думал, все свершилось.

— Плохо думал.

— Раньше, бывало, Супонев три раза в день звонил... Подвел я его.

— А себя?

— Если по совести? Себя больше всех. — Щербак поднял голову, посмотрел на Кострова.

— Только кому польза от совести, доброты, если она таким, как Бурцев, руки развязывает. Человеку мало трудиться ради добра на земле. За добро нужно бороться. Яростно. До конца. Об этом подумай, Алексей.

— Думаю, Виктор, думаю. В этом доме баланс подвою не я...

— Ошибаешься. Ты тоже. Ты коммунист.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Тяжело ударяя каблуками башмаков о пол, Девяткин прошел к судейскому столу.

— Моторист Девяткин. Явился по вызову, — сообщил свидетель и, не найдя места своим сильным рукам, спрятал их за спину.

Девяткин держался уверенно, стоял, едва заметно покачиваясь на носках.

Редкие русые волосы падали на широкий лоб, а насмешливое выражение глаз выдавало в нем человека бывалого, знавшего себе цену.

Градова, чуть склонившись над столом, сообщила свидетелю о том, что его гражданский долг — правдиво рассказать все, что ему известно по разбираемому делу, и предупредила, что за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний он несет ответственность по статьям Уголовного кодекса.

— Ясно, — кивнул Девяткин и откинул со лба прядь нависших волос.

— Расскажите суду, что вы знаете об аварии на запани?

— Да разве ж я один знаю? Все знают.

— Суд интересуется, что знаете вы.

Девяткин помолчал, глядя в глаза Градовой, потом сказал:

— Может, у вас вопросы ко мне имеются? А так что?

— У меня пока один вопрос, свидетель Девяткин, что вы знаете об аварии?

— Река наша норовистая, хотя и на нее управу найти можно было. Но Щербак завсегда свой гонор наперед дела выказывает. А было так. Приезжал к нам главный инженер треста Бурцев. И пошел разговор меж ними про то, как спасти запань от аварии. Главный инженер предложил поставить перетягу, а Щербак стал наперекор. Долго спорили, а время шло. Могли бы перетягу еще двенадцатого июня установить. От нее бы больше проку было. Она сдержала бы напор пыжа. Тогда еще вода не была такой высокой. — Самодовольное выражение сошло с лица Девяткина и сменилось тупой сосредоточенностью. Продолжая свой рассказ, он время от

времени поворачивался в сторону Щербака и смотрел на него осуждающим, подозрительным взглядом.

Постепенно судья разобралась, к чему клонит свидетель, сообщая о подробностях аварии. Девяткин рисовал картину катастрофы, связывая ее с жизнью, привычками и характером начальника запани. В трудный день сплава улетел к своему дружку в Осокино. С рабочим человеком не советовался, потому как считал всех ниже себя: как же, он начальник! В семье жил плохо, часто скандалил со своей женой Ольгой Петровной, уважаемой учительницей, да и с другими вел себя круто: то у него ругань с ревизором, то у честных рыбаков улов отнимал, себе забирал, а для отвода глаз худую рыбешку сплавлял в столовую.

* * *

Как-то поздним вечером притаился Щербак в тихих зарослях ивняка в ожидании ночного клева, колдуя над удочками. Два дня подряд он подкармливал здесь рыбу и теперь ожидал счастливого улова. Близилось время клева, когда он услышал за кустами чьи-то громкие голоса. А когда прислушался, узнал говор Девяткина и Любы Зайцевой, начальницы почтового отделения.

— Хочу домой. Поздно уже, — сказала Люба. — И зябко мне.

— Успеется, успеется, милая...

Он обнял Любу, стал целовать. Люба отворачивалась, пряча губы, и тогда Девяткин повалил ее на траву. Она отбивалась, но сильный и упрямый Тимоха, схватив руки, тяжело шептал:

— Подожди, милая, подожди...

Любе удалось подняться, и она испуганно закричала:

— Я не хочу! Уйди!

Послышался звонкий удар пощечины.

— Ну, стерва! — сипло процедил Тимоха и толкнул Любу с такой силой, что она упала навзничь на землю, ударившись головой, и заплакала. Он снова бросился на нее.

И тогда Щербак рванулся из кустов и, подняв Тимоху за шиворот, резко ударил его кулаком в лицо. Девяткин полетел в воду. Мокрый, фыркающий, он выскочил из реки и с воем кинулся на Щербака, но тот успел ударить Тимоху в живот. Девяткин скорчился и рухнул...

— Теперь про пожар, — продолжал свидетель. — Опять же по вине Щербака все случилось. Почему? У нас три катера. Ходим, как известно, на бензине. Вот об этом бензине и пойдет разговор.

Каныгин повернулся к Щербаку и тихо спросил, что за чепуху мелет Тимоха, но Алексей только молча пожал плечами.

— Бензин хранится в неполюженном месте, будто другого у нас и нет вовсе. Предупреждали Щербака: надо убрать бензин в поле, от греха подальше. Он и мне прямо в глаза сказал, что, мол, моторист Девяткин, ты есть рабочий класс, занимайся своим делом и не суй нос куда не надо. Я тогда в пожарную инспекцию написал.

— В деле имеется акт пожарной инспекции, — сообщила Градова.

— Щербак их водкой напоил, на том и расстались.

— Свидетель, вы находитесь в зале суда, — напомнила Градова.

— Правда-то, ясное дело, всем глаза колет. Ну ладно, — ответил Тимоха и продолжал: — Когда дом загорелся, аккуратно запань прорвало. Тут такое началось! И вот, представьте, начальник запани все бросил и побежал домой спасать свое имущество. Сам я не видел, не до этого было. Люба Зайцева рассказывала. Он ей как раз и передал свои чемоданы. Вот он какой, Щербак, — добро народное пропадет, а он свое спасает.

— Кто такая Люба Зайцева?

— Начальник нашей почты.

— Где вы были, когда возник пожар?

— Работал.

— Точнее?

— На причале, в ракушке. Прочищал карбюратор.

— Что за ракушка?

— Залив у нас ниже запани есть. Так его прозвали. Когда сплав идет, там катера стоят. Тихое место.

— Большой залив?

— Километра три тянется. И глубина подходящая.

— Вас кто-нибудь видел там?

— А кто его знает! Я сам себе мастер. Без помощников обхожусь.

— Может, мимо кто-нибудь проходил?

— Не заметил.

— Что было дальше?

— Надо было проверить машину на ходу. — И Де-

вяткин принялся в подробностях рассказывать, как отошел на километр от причала и увидел на берегу ребятишек из пионерского лагеря, они хором звали его и просили перевезти. Как он потом узнал из разговора с ними, дети отбились от своих в походе. Перевез он ребятишек через залив и вернулся к причалу. Глянь, на берегу огонь полыхает как раз в том месте, где бочки с бензином стояли.

СТРАНИЦЫ, КОТОРЫХ НЕТ В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

Тимофей Девяткин появился в Сосновке три года назад. В деревне Бережки, что раскинулась в пяти километрах от запани, он разыскал вдовую сестру матери. Явился он под вечер, в охотку расцеловал свою тетку — не видел ее лет десять, шумно раскрыл помятый чемодан, вынул цветастый платок и небрежно накинул на плечи Серафимы, чем сразу снискал расположение и привязанность пожилой женщины.

— Жить у тебя буду, Серафима, — сказал тетке Тимоха. — В тягость не буду. Силенкой меня бог не обидел. Соображаю, что к чему. Так что и сам не пропаду, извини-подвинься, и тебе пропасть не дам. Слышишь? Не позволю! — громче добавил он, вспомнив, что тетка туга на ухо.

Биография у Девяткина была сложная, мутная, да только мало кто толком знал правду о новом мотористе. В шестнадцать лет, недоучившись, пошел работать на мясной комбинат и вскоре приунылся воровать колбасу. А однажды попался. Вот тут бы и помочь парню на ноги подняться, но на комбинате решили иначе — пожалели его, а может, просто кое-кто испугался скандала. Отпустили Тимоху по собственному желанию на все четыре стороны. В разных должностях перебивал Тимофей: был подсобным рабочим на овощной базе, торговал в пивном ларьке, служил официантом в ресторане, шоферил после армии. С автобазы уволили за пьянство, и устроился он тогда мотористом в Горьком. Получив катер, стал деньги с пассажиров собирать. Так и жил он, стараясь урвать кусок побольше да пожирнее. И все это делал с ухмылкой, с прибаутками.

«Либо ты жизнь за глотку, либо она тебя, — любил рассуждать Тимоха, встречаясь с друзьями в ресторане. — Ну, вперед!»

Однажды прослышал Девяткин от приятеля, что,

если на сплав податься и умеючи действовать, да еще язык за зубами придерживать, можно изрядно пожиться. Надо только завладеть золотым дном реки и обратить затопленные бревна в даровую деньгу. Потому-то он и приехал к тетке.

На следующий день утром поспешил в отдел кадров, к Пашкову.

— Слыхал, вам люди нужны.

Пашков, распечатав пачку «Прибоя», сказал:

— Сплав — что жатва... У нас теперь горячая пора. И люди нам нужны.

Девяткин вынул трудовую книжку и положил на стол.

Пашков полистал ее, посмотрел на Тимоху.

— Значит, моторист?

— Так точно.

— Пьешь?

— А кто ее нынче не пьет?

— Вон сколько выговоров и увольнений! А еще спрашиваешь, нужны ли нам люди. Нет, Девяткин, мотористом не возьмем. Сплав — дело серьезное, ответственное. Тут всегда трезвая голова должна быть.

— Вы меня на пробу возьмите, — упрашивал Тимоха. — Неужто рабочему человеку ходу не дадите? Должны иметь сочувствие...

— Можем взять в бригаду сплавщиков, а про катер забудь.

— Ладно, давайте в бригаду... Я свое докажу.

— А если что, так пеняй на себя.

То ли понял Девяткин, что здесь ему крылышки обломают, то ли решил пригнуться, осмотреться вокруг, подыскать дружков, а там взять свое, только первое время работал он старательно, выделялся сноровкой. Неумная силища позволяла ему орудовать багром вроде бы в шутку. Туда, где были трудные заторы, бригадир посылал Тимоху.

И так случилось, что моторист катера ушел осенью в армию, а на его место поставили Девяткина, поверили, что парень одумался.

Когда лес пускали по реке модем, стремнина паводковой воды подхватывала его и гнала тысячи бревен к низовью. Но не всем бревнам суждено было пройти длинный путь сплава. Иные, наглотавшись воды, теряли свою плавучесть и гибли на дне. И если бы умудриться и посмотреть на разрез реки, то можно увидеть, как

чуть пониже уныло и тяжело плывут мертвяки, лесины, которые едва держатся на воде и вот-вот утонут, обесиленные и усталые. А если заглянуть еще ниже — там кладбище: на дне в один, а то и в два ряда черным сном спят скользкие бревна, топляки, жизнь которых оказалась ненужной. Сколько их похоронено здесь?

Это кладбище и считал Десяткин золотым дном.

Кончился сплав, и в разных местах появлялись охотники за топляками. Таскали по бревнышку, не спеша. Глядишь, на берегу сколько их для дровишек, а то и для венцов новой избы.

Десяткин выискивал места, где промышляли ловцы топляков, и занялся доставкой бревен. Однако ушлый парень быстро смекнул, что зря дешевит. Тогда он начал сам поднимать топляк и продавать золотой товар по дорогой цене. Чаще всего он промышлял поздно вечером, когда шел в дальний рейс. Действовал Тимоха в одиночку, осторожно и смело, буксируя бревна к окрестным деревням. Все сходило ему с рук, и деньги плыли в его карманы.

Он даже продумал, какой следует повести разговор, если кто заметит его. Ход мыслей был таков:

«...Я рыбку ловлю — меня ж не сажают. А здесь что? Я лес не рублю, спасибо лесорубам — они постарались. Мое дело — поднять топляк. Тут главное — хорошее багровище иметь и воды не бояться. Потом уж катер тащит. Вот, браток, я так думаю: жизнь наша короткая, а в ней что главное? Думаешь? А ответ простой: ты у жизни на хребте держись, а на свой хребет не давай садиться. Иди ко мне в артель. Опять же транспорт свой».

Тимоха учитывал, что человек может оказаться неговорчивым, и на этот счет имел свои суждения:

«Говоришь, что, мол, лес государственный? Извини-подвинься. Это когда он в небо смотрит. А когда он речной покойник — тут власть ничейная».

«Это воровство!»

«Опять извини-подвинься. А ежели я клад нашел? Царское золото, к примеру?»

«Надо государству сдать. Закон имеется».

«Слыхал. В газетах пишут».

«Вот видишь».

«Опять же разговор без ажура».

«Какого ажура?»

«А то, что мне государство награду за этот клад даст. Ну премию, что ли. Неважно, как назвать. Только кре-

дитки те положены мне законно. А здесь? Я кто? Моторист. Мне до «утопу» дела нет. Лишь бы мой катер на этот «утоп» не наскочил. Стало быть, к службе моей касательства «утоп» не имеет. А раз так, давай наградные. Не хочешь? Так-то, значит. Сплавной конторе подымать топляк нет резону. Ей два раза одно бревно не засчитывается. Усекаешь? Невыгодно конторе. А я из всего этого итог вывожу. Власть тут моя, и я ни перед кем не в ответе. Извини-подвинься».

* * *

— Свидетель Девяткин! Какое расстояние от ракушки до места пожара?

— Метров шестьсот.

— Куда вы пошли дальше?

— Только через дорогу перебежал, тут и запань провало.

— Расскажите подробнее, что вы знаете о пожаре. Какой был первый очаг пожара?

Девяткин ответил, что о пожаре он мало что знает, видел издали, да и только. И про очаги ничего сказать не может, потому что пожар он и есть пожар.

— Где стоит дом Щербака?

— Недалеко от летней столовой, что сгорела.

— Поточнее, пожалуйста.

— Метров полтора будет. Если вам интересно, можете смерить.

— Измерим. Скажите, каким образом огонь переметнулся так далеко?

— А я откуда знаю? Кажется, ветер был. Помню, сено сухое в стожках лежало. Много ли для огня надо?

— Вы можете описать рельеф местности от бочек с бензином до дома Щербака? — спросила Градова.

Свидетель сердито посмотрел на судью и сказал, что он не понимает ничего про рельеф местности.

— Разве вы не помните, как выглядит местность? Ровная она или холмистая?

Девяткин покачался на носках и ответил:

— Бочки на пригорке стояли, а дальше — низина.

— За ней дом Щербака?

— Нет. За низиной овражек тянется.

— Если идти к Щербаку, овражек обойти надо?

— Зачем? Там мосток проложен.

— Как же бензин попал по ту сторону овражка? Как могли загореться дом Щербака и общежитие?

— Не знаю, — Девяткин пожал плечами. — Может быть, бочки упали, потекли. Я не видел. Костер у столовой горел. В нем подавальщицы халаты кипятили в баке.

Щербак смотрел на широкие плечи моториста, его крепкую шею и неожиданно подумал, что со стороны показания свидетеля, обязавшегося говорить только правду, выглядят убедительно.

— Может, ветер искру от костра подхватил или, может, бензин подтек к костру, кто знает? — заключил Девяткин.

— Вы вспомнили про ветер. Он сильным был? И в какую сторону дул? — спросила Градова.

— Попробуй вспомни, что было два месяца назад! Кажется, когда я от ракушки к пожару бежал, то ветер мне аккурат в грудь дул. Стало быть, в сторону дома Щербака.

Судья искоса поглядела на свидетеля, затем взяла лист бумаги и прочитала:

— «Метеосводка за четырнадцатое июня. Ветер слабый до умеренного, северо-восточный». — Потом, опустив глаза, она внимательно посмотрела на план запани и с явным сожалением в голосе добавила: — Нет, ветер как раз дул в противоположную сторону.

Девяткин охотно согласился:

— Может быть. Разве все упомянешь?..

Допрос Девяткина длился долго, до вечера. Его показания, собственно, мало чем дополнили обстоятельства дела, связанные с аварией, однако Девяткин был одним из очевидцев пожара, о котором никто из подсудимых и опрошенных свидетелей ничего точного сообщить не мог. И совершенно неожиданно для Градовой в ходе судебного разбирательства смутно обозначился еще один поток происшествия: если до допроса Девяткина все еще считали пожар следствием аварии на запани, то теперь судебским чутьем и опытом Градова поняла, что пожар — самостоятельное звено, со своим интересом и тайной, которую нужно раскрыть.

Был перерыв. Судьи собрались в совещательной комнате и пили кофе. Сидели молча, думая каждый о своем. Градова нарушила молчание первой:

— Как вы относитесь к показаниям Девяткина?

— Злой парень, — определил Ларин.

— Это вы зря! — резко возразил Клинков и, смутившись от неожиданной горячности, добавил: — Парень как парень.

Ларин отставил голубую чашечку и спросил:

— Почему он так много и страдальчески говорил про «красного петуха»?

— Говорил о том, что видел, — ответил Клинков.

— Все могло быть иначе, — сказала Градова.

— Вы чего-то не договариваете, — насторожился Ларин. — А я хорошо помню, Мария Сергеевна, когда я впервые появился в суде, вы меня вооружили прекрасной формулой: из тысячи подозрений не составишь ни одного обвинения, из тысячи предположений не составишь ни одной улики.

— Я чувствую определенные провалы в существенных элементах обвинения. — Что-то пока еще не совсем выявленное тревожило Градову. — А что, если нам выехать на осмотр местности?

— Зачем? — не понял Клинков и, встретив удивленный взгляд Ларина, сразу пожалел, что спросил об этом.

— Я убеждена, что поездка в Сосновку более чем своевременна. Мы увидим место, где разыгралась стихия. Уточним детали пожара — тут есть ряд неточностей, допущенных предварительным следствием. И может быть, наши глаза поймут больше, чем мы знаем сейчас. Прошу вас обсудить: целесообразен выезд или нет? Мое мнение вы уже знаете.

Оба заседателя согласились с Градовой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Поезд устало выстукивал чечетку.

Пашков смотрел в окно без интереса и радости, а желание открыть книгу не просыпалось в нем.

Возможно, думал Пашков, его поездка в Москву безрассудна, и, может быть, он, ходок за истиной, будет выглядеть в чьих-то глазах смешным и старомодным человеком, но иначе Родион Васильевич поступить не мог, да и не хотел. Он с юных лет жил верой в трудный свет своей сторожевой звезды — справедливости.

Родиона Васильевича последние дни не покидали сердечные боли, но он успокаивал жену и не хотел идти к врачу:

— Радость моя, я уже в том возрасте, когда не умирают.

— Хоть недельку полежи, — просила жена.

— Для того чтобы лечиться, надо иметь железное здоровье. Мне это один врач по секрету сказал. —

Он привычно гладил лысую голову и добавлял: — И вообще, самое страшное для солдата — это умереть в кровати.

СТРАНИЦЫ, КОТОРЫХ НЕТ В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ

Когда следователь прокуратуры приехал в Сосновку, он не застал Щербака в конторе и отправился к Пашкову.

— Следователь Снегирев, — представился он, стараясь сделать вид, что не замечает свисавший левый пустой рукав пиджака пожилого человека.

— А зовут вас, простите, как? — спросил Пашков.

— Вадим Николаевич.

— Усвоил.

— Где мне расположиться?

— Работать можно в конторе. А проживать? Есть у нас комнаты для приезжих. Одна будет ваша.

Чистенькая комната, куда они пришли, понравилась следователю. Он откинул край легкого одеяла и, тронув рукой постель, сказал:

— Порядок.

— Вот и отдохните с дороги, — посоветовал Пашков и вернулся в контору.

Но Снегирев отдыхать не стал, а направился к за-
пани.

Река не смогла скрыть следов своего недавнего буйства. На отлогом берегу, на песчаных косах лежали выброшенные одинокие лесины, немые свидетели происшедшей драмы. На крутых обрывах высокого берега и пустых откосах виднелись рубцы тяжелых ран. У деревьев, что росли на краю, обнажились корни, и всем своим видом они жаловались на еще не утихшую боль. Временами и сама река неожиданно становилась мутной, грязной, неся пучки сена, ободранную кору, обломанные ветки. Еще несколько дней назад эти ветки дарили свое отражение воде, и, казалось, река гордится, что становится краше от убранства природы, а поди же — проявила нрав и все как есть порушила.

Часа через два Снегирев вошел к Пашкову, явно озабоченный чем-то.

— Щербака все еще нет?

— На складе важные дела. Деньги счет любят.

— Это точно, — согласился Снегирев. — Верно ска-

зано. Поэтому я и приехал в Сосновку. И как это вы ухитрились миллион в дырку от бублика превратить?

— Вы меня уже допрашиваете? — спросил Пашков, вынув пачку папирос.

— Да нет, просто беседую.

Снегирев помолчал.

— Могу я познакомиться с личным делом Щербака?

— Конечно.

— С этого и начнем.

Снегирев любил свою профессию. В его увлечении работой была скрытая влюбленность в собственные достоинства, которые он высоко ценил, а то, что удача жаловала его — многие дела, распутанные Снегиревым, завершались подтверждением судебного разбирательства, — создало ему репутацию дельного работника.

Однажды он присутствовал на совещании, где видный ученый-юрист назвал следователя впередиидущим правосудия. Мысль эта пришлась по душе Снегиреву. В этом определении он нашел для себя подтверждение своих взглядов, своего стиля работы.

В юридическом мире существует выражение: судоговорение. С первой и до последней минуты судебного процесса ведут допрос судьи, говорит подсудимый, выступают свидетели, произносят речи защитник и прокурор. Но тот, кто начал уголовный процесс, кто положил на стол суда обвинительное заключение, молчит. Он, следователь, не присутствует в суде. Вместо него — дело.

— Я здесь восьмой год, — заговорил Пашков, — людей узнал, в сплаве стал разбираться. И не скрою, — он тряхнул лысой головой, — молевой сплав — процесс сложный. Он людского ума и сердца требует. А сколько еще на реках допускают неразумного! Не по-хозяйски действуют. Ведут сплав на низких горизонтах. Слышали по такое? Это же, прямо скажу, беда!

— Не громко ли? — спросил следователь.

— А то, что воду отравляют, рыбу губят! Уйма леса гибнет. Из одних топляков городок можно построить. Куда уж громче? — вздохнул Пашков. — Был бы я в Академии наук, я бы публичный суд над губителями природы устроил. Вот бы следователей на какое дело направить.

— Интересно говорите, но к вашей аварии это не относится, — с ноткой раздражения сказал Снегирев. — Вы, простите, кто по специальности?

— Был учителем, председателем исполкома, командиром батальона.

— Я понимаю вашу тревогу, Родион Васильевич. Однако вы весьма категоричны и склонны к обобщениям.

— Позвольте! — воскликнул Пашков. — Но думать мы все обязаны! Я себя временщиком не считаю. — Лицо его побледнело, заострилось.

— В данном случае меня интересуют только факты, связанные с аварией. Иначе мы в трех соснах заблудимся.

— Должен тем не менее добавить, что со стихией шутки плохи. Она дама капризная. У меня вот папочка имеется. Только за прошлый год шесть аварий на разных запанях было. Так разве наша — единичный случай?

— Я познакомлюсь и с этими материалами, — неохотно ответил Снегирев.

— Стихию судить трудно. Она всегда делает первый шаг. Вот и у нас беда стряслась. А вы сразу личное дело Щербака требуете.

— Разберемся, — смело пообещал следователь.

Снегирев понимал, что дело, которое ему предстояло расследовать, путаное, сложное и застрянет он в Сосновке надолго. И Вадим Николаевич с огорчением подумал, что не успеет съездить в Ленинград к дочери.

— Знаете ли вы, сколько землетрясений происходит на земле за год? — вдруг спросил Пашков, закуривая новую папиросу.

— Не знаю, — на всякий случай сказал Снегирев.

— Триста тысяч.

— Многовато.

— А знаете, что в мире каждую секунду где-нибудь грохочет гроза?

Следователь положил ногу на ногу и, разглядывая носок пыльного ботинка, заявил:

— Это из области естествознания, а не права.

— Но ведь энергия даже самой заурядной грозы равна взрыву пятнадцати атомных бомб, — тихо сказал Пашков.

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Природа бунтует, и, мол, с нас взятки гладки. Только ведь грозы-то у вас не было, а пожар был. Одна загадка. Как лес умудрились в Волгу выпустить — другая. И отвечать за

это кому-то придется обязательно. А вот кому — для этого я и приехал. — И Снегирев раскрыл личное дело Щербака.

* * *

Поезд уносил Пашкова все дальше и дальше от родных мест. Вглядываясь в проплывающие за окном картины, он не сожалел, что ввязался в неравную борьбу за судьбу Щербака, и настойчиво, с безотчетной верой убеждал себя, что обязательно выдюжит, как когда-то в былые военные годы.

В сумерках поезд пришел в Москву.

Остановившись у родственников жены, Родион Васильевич на следующий день вечерним часом отправился держать совет с Андреем Лукичом. Академик Фролов был когда-то солдатом в его батальоне. В ту пору Андрей заканчивал институт и в первые дни войны ушел в ополчение, а нынче Фролов стал признанным теоретиком строительства гидроэлектростанций. Андрей Лукич не только реки, но и моря хотел запрячь в лихую упряжку. С Пашковым он не виделся много лет, но они тесно были связаны жизнью на фронте.

В кабинете академика, заставленном книжными шкапами и полками, Пашков ожидал его прихода, разглядывая ряды энциклопедий, научных работ, справочников.

Пришел большой черный дог и, знакомясь, обнюхал Пашкова. Морда у пса была страшная, под стать собаке Баскервильей, а глаза тихие. Потом, шлепая тапочками, надетыми на босу ногу, в халате появился и сам хозяин. Фролов долго смотрел на Пашкова, словно медленно узнавал его и безмолвно вспоминал фронтовые годы, а затем сказал:

— Здравствуй, комбат...

Они хотели обняться, но постеснялись чего-то или оробели, и Родион Васильевич вдруг ясно вспомнил, как солдат Фролов напросился в разведку, — ему не хотелось отставать от других. Но тогда Андрей скрыл от командира, что у него насморк. Ему казалось, что болезнь эта несерьезная, легкомысленная, и он не считал нужным обращать на нее внимания. А ночью в тылу неприятеля Фролов неистово расчихался. Немцы всполошились. Важное задание было сорвано. Когда Фролов стоял перед комбатом Пашковым и, бледнея, слушал, как его корил командир, именно в этот час между Родионом Ва-

сильевичем и солдатом Фроловым возникла дружба, сохранившая память о невзгодах военной жизни. Вскоре Фролова отозвали с фронта — его идеями создания сибирского гидроэнергоцентра заинтересовались солидные и компетентные лица.

— Здравствуй, Андрей, — тихо ответил Пашков.

Перед академиком Фроловым стоял пожилой однорукий человек, лысый, с пасмурными глазами, будто устал он жить на земле и теперь готовился к смерти. И Андрей Лукич неожиданно вспомнил, что после того, как его отозвали с фронта, кто-то из ребят написал ему в письме, что комбату Пашкову взрывом оторвало руку. Он поднял ее и продолжал вести батальон в атаку, пока не упал, обессиленный, в сухую траву. Бесстрашным человеком остался комбат Пашков в памяти солдата Фролова.

Свет теплого вечера проникал в окно. Одинополчане стояли молча и чего-то ждали, глядя друг на друга. Вероятно, они хотели видеть себя такими же, какими расстались, но это было невозможно. Они верили, что сердца их близки, как и раньше, оттого, что пережили одну боль незабываемых лет, но почему-то каждый испытывал необъяснимую неловкость. Фролов улыбался так же, как и грустил, не меняя выражения лица, потому что, должно быть, привык больше молчать и думать в одиночестве.

Пашков вздохнул.

— Я к тебе, Андрей Лукич, за советом. А может, и помощью. Беда у нас большая. — И, положив на стол план запани, рассказал об аварии.

Фролов слушал его внимательно, только изредка брал цветные карандаши и печатными буквами писал на листе: «Комбат, комбат»... А когда Родион Васильевич умолк, спросил:

— Щербака отдали под суд?

Пашков молча кивнул головой.

Фролов разглядывал чертеж долго. Потом осведомился:

— Человеческих жертв не было?

— Нет.

— Бурцев остался жив?

— Да.

— Мне жаль его. Ибо самое парадоксальное заключается в том, что сам Бурцев знает, что он несчастный человек. Груз, который он взвалил на свои плечи, в ско-

ром времени вдавит его в землю, и он исчезнет как человек. Как главный инженер он уже погиб, — неторопливо размышлял Фролов. — Заурядный пример трагедии некомпетентного человека.

— Меня больше волнует Щербак, — заметил Пашков. — Можно ли ему помочь?

— Что касается Щербака, то, насколько я разобрался, его поведение выглядит драматично и нелепо.

— Но... — хотел возразить Пашков.

— Я понимаю тебя, комбат, — вздохнул академик. — Ты скажешь, что он выполнял приказ.

— Именно так, Андрей Лукич.

— Значит, он счел нужным выполнить этот приказ. И теперь должен нести ответ за свои поступки.

— Ты считаешь, что он виновен? — спросил Пашков.

— Со всех точек зрения.

Родион Васильевич испуганно посмотрел на академика и неожиданно спросил:

— Ты помнишь свой насморок? Тебя в два счета можно было строго наказать. Но тогда мы подошли к решению этого вопроса, исходя из конкретного поведения конкретного человека.

Фролов помолчал, глядя куда-то в пространство, мимо Пашкова. А потом упрямо и громко сказал:

— Он виновен, комбат. Ничего нет хуже на свете, чем стоять навытяжку перед начальством, хорошо понимая, чего стоит это начальство, — он покачал головой, словно соглашаясь со своими мыслями, и продолжал: — Жаль, что это твой друг... Пойми, пусть зло исходило от другого. От иных причин. Но если человек не встал на его пути, такой человек виновен.

Говорили они долго, до полуночи, и домой Родион Васильевич возвращался пешком. В глубине души он надеялся на участие Андрея Лукича, а может быть, даже на его помощь. Однако этого не случилось, и Пашков снова остался один. И вновь он спрашивал себя: возможно, он, Родион Пашков, не прав и ошибается, вступаясь за другого, пусть даже близкого ему человека. В такие минуты Родион Васильевич, казалось, слышал голос своего сердца, без колебаний и каких-либо сомнений говоривший ему, что дело его святое и правое.

Потом в течение нескольких дней он аккуратно являлся каждое утро в министерство, пытаясь попасть на прием к человеку, который мог протянуть дружескую руку и помощь. Что именно этот человек мог сделать,

Пашков не задумывался, он мыслил отвлеченно, надеясь на его участие и авторитетную власть. Но министр был занят с утра до ночи — его рабочий день был плотно расписан, и встретиться с ним Пашкову не удавалось.

В конце недели, проведя в городе три утомительных дня, он с ужасом узнал, что министр улетает в командировку.

И тогда Пашков решился на отчаянный шаг.

Он караулил министра у машины, с прилежным вниманием разглядывая шофера, читавшего газеты. На какое-то время Родион Васильевич забывался, вспоминая свой дом, где он часто сживал с Алексеем Фомином, и они говорили о близком будущем Сосновки, когда на помощь сплавщикам придет большая механизация, или с горестью толковали о войнах, шагавших по земле.

— Здравствуйте, — быстро заговорил Пашков, когда увидел солидного человека, подошедшего к машине. — Мне нужно с вами поговорить, и все как-то не получается. Можно, я провожу вас в аэропорт?

— Садитесь, — сказал министр, открыв перед старым человеком дверцу машины.

Министр сел с Пашковым на заднее сиденье. Он говорил об аварии в Сосновке четко, ясно, справедливо, вел разговор с Пашковым уважительно. Когда-то он и сам был начальником сплавной конторы.

Пашков вспомнил заключение комиссии по поводу аварии и сказал:

— Мне кажется, что этот акт односторонне рассматривает аварию.

— Члены комиссии достаточно опытные люди, — возразил министр, — и у них не было расхождений в определении причин аварии. Это авторитетный документ.

— Возможно, — согласился Родион Васильевич. — Но комиссия не рассмотрела всех вопросов, связанных с аварией.

— Например?

— В частности, устройство перетяги. Этот факт можно истолковывать двояко. В том числе и как основную причину аварии. Однако комиссия оценивает установку перетяги как положительный фактор. И только.

— Я доверяю выводам комиссии. Дальше.

— Не рассмотрен этический вопрос возникшей аварии.

— Что вы имеете в виду?

— Щербак, устанавливая перетягу, выполнял приказ

главного инженера треста, — сказал Родион Васильевич.

— Имеется его письменный приказ?

— Нет. Но сам Бурцев не отказывается от своих слов.

— Это делает ему честь, — сказал министр. — Не каждый человек может в этом признаться, учитывая огромный ущерб, причиненный аварией, и всю меру ответственности, связанную с этим.

— Однако не он привлечен к судебной ответственности, — раздражаясь, сказал Пашков.

— Щербак — начальник запани. Он материально ответственное лицо. Ему и отвечать перед законом.

— Но его заставили оступиться!

— Интересно вы рассуждаете, товарищ Пашков. Разве Щербак не мог отказаться? У меня создается впечатление — вы уж простите меня, но вы взяли на себя неблагодарную миссию — приехали выгораживать этого человека.

— Я очень хорошо его знаю, — побледнев, тихо сказал Родион Васильевич.

— Может быть. Наша практика показывает, что одни люди, долго работая на лесосплаве, становятся умелыми, требовательными руководителями. Другие, напротив, теряют ответственность и обрастают хозяйской ленцией.

— Но ведь сколько времени министерство ставило нашу запань в пример!

— Все было в прошлом.

Родион Васильевич слушал министра и злился.

— Надо иметь мужество отвечать за свои ошибки, — продолжал министр.

— Не каждый на месте Щербака признал бы себя виновным, — сказал Пашков. — Это ли не мужество? Вот вы говорили о прошлом. Решая судьбу человека, нельзя отсекать всю его жизнь. Неужели мгновение катастрофы говорит больше, чем двадцать лет труда?.. Вы можете предотвратить возможную ошибку.

— Как вам известно, даже министры не властны вторгаться в ход судебного разбирательства.

— Знаю, знаю, — торопливо проговорил Пашков, заметив, что машина свернула к аэродрому. — Не об этом речь.

— О чем же? Вы сами сказали, что Щербак признал себя виновным.

— Мне казалось, что именно это признание должно вызвать у вас желание проверить формулу истины и справедливость заключения комиссии министерства.

Министр пристально посмотрел в глаза Пашкову, словно изучая его или стараясь запомнить.

— Не за этим ли вы приехали в Москву?

— Да. Мне хотелось, чтобы вам стала ясна подлинная позиция Щербака в жизни.

— Хорошо, Родион Васильевич, я обещаю вам еще раз проверить, как вы заметили, формулу истины.

...Пашков уже не волновался, когда забирал свои вещи у родственников, и не тревожился, когда стоял на вокзале в очереди за билетом. А потом, сидя в зале ожидания, пропустил свой поезд, а когда открыл веки — увидел свет, потому что уже пришел вечер и зажглись огромные люстры.

Пашков прислушался к теплой и жуткой боли в груди, не находя в себе силы подняться с вокзальной скамьи.

Почувствовав вдруг ледящий холод, как от зимнего ветра, он согнулся и вновь забылся.

— Подвинься, дед, — беззлобно сказали ему молодые ребята, усевшиеся с рюкзаками и гитарой рядом с ним. — Ишь расселся, как Генрих Четвертый.

Ребята запели про темную тревожную ночь. И вокруг почему-то стало тихо, даже в глубине огромного зала ожидания перестали двигаться люди.

Пашков услышал песню где-то очень далеко. На миг он увидел свой батальон, который через сухую степь шел в атаку на врага. И потом пришла сиреневая тишина, ночь, про которую пели ребята. Им было невдомек, что однорукий и старый человек, сидевший рядом с ними, только что умер.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лето угасало медленно.

Торжествовал август, хлебосольный месяц, «густырь». Все созревало, всего было густо.

Градова шла вдоль пустынного берега.

Река дышала ровно и беззвучно, удивительно спокойно. И не верилось, что совсем недавно она неистово бушевала, проявив свой непокорный нрав.

Мария вспомнила о паводке лишь на минуту, потому что в следующий момент она уже увидела над собой холодное военное небо.

Память

Это было в Крыму.

Четыре «фокке-вульфа» летали по кругу над заросшей дубовым лесом седловиной, где сосредоточилась партизанская группа, и методически, через равные интервалы, сбрасывали тяжелые бомбы. Гремели взрывы, разбегалось по сторонам эхо, и грохотали камни по склону горы.

Спрятаться от бомб было негде.

При каждом новом взрыве Мария все плотней прижималась к корням узловатого, коренастого дуба, подмытого злым горным ручьем. Сейчас ручья уже не было. Под корнями дуба пролегло лишь его каменистое русло. Но безжалостная схватка между деревом и водой продолжалась после каждого дождя или очередного снеготаяния, когда ручей вдруг оживал, катился вниз по склону и, kloчoca, уносил из-под дуба пригоршни теплой земли. Дуб был беззащитен от нападков стихии. Он был обречен. И все же именно у него в те минуты искала защиты Мария.

А потом была ночь.

При свете головешки, вынутой из костра, отряд выбрал Марию секретарем партизанского суда. В ту страшную ночь она записала в приговоре: подвергнуть предателя высшей мере наказания — расстрелу.

* * *

Мария посмотрела на часы — кончался перерыв, объявленный после приезда в Сосновку, пора было возвращаться в контору.

У крыльца конторы стоял высокий и жилистый мастер Лагун. Сейчас он исполнял обязанности технорука запани. Пиджак не сходил с его богатырской груди. Увидев Марию, он приосанился и спросил:

— Наверное, вас дожидаясь? Судья Градова?

— Я.

— Так я и понял. Ваши точно описали, какая вы есть. Зовут меня Павел Тихонович Лагун.

— Мария Сергеевна.

— С чего начинать будете? — Голос у него был

звонкий. — Каких людей вызывать? Или дело такое, что секретом пахнет?

— Особых секретов нет. Кое-что надо уточнить. А помощь ваша потребуется.

— Пойдемте, я вам кабинет открою.

Они вошли в контору. Градова остановилась возле двери с табличкой «Начальник запани». Нижняя строчка, где раньше была написана фамилия Щербака, оказалась заклеенной ровной полоской бумаги, выделявшейся ярким белым пятном.

Градова спросила:

— Приказал кто-либо или сами поторопились?

— Говорят, следователь посоветовал... Черт с ней, с бумажкой, — ответил Лагун, открывая дверь.

И в этих простых словах Градова уловила искреннее переживание мастера.

Лагун хотел еще что-то добавить, но умолк, заметив, как Мария пристально разглядывает рабочую комнату Щербака. И сам он, столько раз здесь бывавший, почувствовал почему-то смутный интерес к тикающим старинным часам купца Кузюрина, к столу, даже к стулу, на котором еще недавно сидел Щербак. В голове сплавщика кружилось, то пропадая, то возникая, неотвратимое понятие: был человек.

Градова долго смотрела на военную фотографию Щербака, неизвестно кем и когда оставленную на его рабочем столе. Алексей Фомич был снят возле боевого самолета с пятью звездочками на фюзеляже. Градова перевела озабоченный взгляд на график уровня воды, где красная изломанная черта была неумолимым свидетелем происшедшей аварии.

— Здесь и располагайтесь, — вручая ключ, сказал Лагун.

— Мы будем осматривать место происшествия. Нам потребуется специалист, который вместе с нами засвидетельствует увиденное, вещественные доказательства, — сообщила Градова. — Прошу вас принять участие.

— Хорошо бы Евстигнеева послушать, — предложил он. — Знающий мастер, двадцать лет на запани. Видел, как случилась беда.

— Хорошо. А Зайцева Люба сейчас здесь?

— На месте, где ей быть...

— Пригласите их, пожалуйста, сюда...

Когда все собрались, Градова открыла судебное заседание. Было решено ознакомиться с местом аварии,

заостровьем, где Щербак и Каныгин хотели установить запань-времянку, и осмотреть очаги пожара.

За время процесса Щербак и Каныгин свыклись со строгой процедурой судебного разбирательства. И хоть они не могли быть равнодушными к своей судьбе, безразличие порой само приходило к ним. Но сейчас неловкость и стыд заставили Щербака опустить голову. Глаза глядели на давно не мытый пол — это он отметил сразу же, как только вошел в свой бывший кабинет.

Градова огласила порядок проведения необходимого осмотра и, объяснив новым свидетелям, в чем заключаются их обязанности, попросила выйти из комнаты. А Девяткину сказала:

— Вы останьтесь.

Он уверенно подошел к столу.

— Свидетель Девяткин! В своем показании вы говорили, что подсудимый Щербак в момент аварии покинул запань и побегал спасать свое личное имущество.

— Было такое. Про это мне Зайцева сказала.

— А почему возник этот разговор?

— Шел мимо, глянь — она чемоданы тащит. Ну я и поинтересовался, мол, откуда такое добро? Тут она и проговорилась. А вот почему именно ей он передал? — Тимофей хитровато развел руками и, взглянув на Щербака, закончил: — Это у них спросить надо.

Когда пригласили Зайцеву, она настороженно огляделась и подошла к столу.

— Вы знаете свидетеля Девяткина? — спросила Градова.

— Поселок наш маленький, все друг друга знают. — И, не дожидаясь новых вопросов, горячо добавила: — Только Девяткин всегда врет! — Люба, видимо, не ожидала от себя такой смелости, потому что вдруг замолчала, лицо ее покрылось румянцем.

— Что вам передал во время пожара подсудимый Щербак?

— Два чемодана. Жена и сын Щербака в то время гостили у бабушки.

— Подсудимый Щербак! — неожиданно для Алексея обратилась к нему Градова. — Вы подтверждаете это?

— Да.

— Садитесь.

— Свидетель Зайцева! Что было в этих чемоданах?

— Не знаю.

Люба хорошо помнила, как Щербак, выскочив из горящего дома и увидев ее, оставил ей чемоданы, а сам убежал на запань.

Судьи молча переглянулись.

И тогда прокурор, взглядом попросив слово у Градовой, спросил:

— Где находятся чемоданы сейчас?

— У меня, — тихо ответила Люба.

— Их можно посмотреть? — спросила Градова.

— Конечно.

— Сейчас можно? — уточнила Градова.

— Дом мой рядом. Я быстро схожу.

— Мы вместе пойдем, — сказала судья и посмотрела на Щербака.

Он продолжал все так же сидеть, сложив руки и глядя в пол. Только теперь он вспомнил, что чемоданы все еще стоят у Любы.

Все направились к Любе Зайцевой.

Домик был чисто прибран. В большой комнате, в проеме между окнами, висел портрет улыбающегося парня. На фоне торосов он стоял в меховой куртке у своего трактора.

Мария посмотрела на фотографию и, встретившись взглядом с Любой, услышала:

— Это мой муж, погиб в Антарктиде...

Люба подошла к сундуку, сняла кружевную накидку собственной вязки и, подняв тяжелую крышку, вынула два старых, поцарапанных чемодана, а потом, словно оправдываясь перед Щербаком, повернулась в его сторону.

Алексей молча стоял у окна.

Когда открыли чемоданы, все удивились. В одном лежали летный шлем, планшетка с картой, испещренной разноцветными трассами, и кусок дюралевого обшивки самолета с пятью красными звездочками.

Другой был набит старыми детскими игрушками.

— Это ваши вещи? — спросила Градова.

— Мои, — сказал Щербак.

Прокурор заглянул в чемодан, повертел в руках безглазого медвежонка и захлопнул крышку.

Заседатель Ларин, которому вдруг стало стыдно, будто он без разрешения ворвался в тайну, неведомую и непонятную ему, закурил и вышел в коридор.

Мария не стала просматривать вещи, только сказала секретарю суда:

— Это не имеет отношения к существу дела. Отметьте в протоколе содержимое чемоданов. А сейчас мы отправимся на осмотр очагов пожара.

И она обратила внимание подсудимых и свидетелей, что этот осмотр является составной частью судебного разбирательства, и попросила Лагуна проводить всех к первому очагу пожара.

Когда подошли к месту, где стояли бочки с бензином, Лагун вздохнул:

— Отсюда все и началось.

— Расскажите, что вы знаете о пожаре, — попросила Градова.

— Видите, как трава погорела и земля стала бурой от огня? Здесь был сарай, а в нем бочки с бензином. Место тут тихое, нелюдное. Никто не ожидал, что бревна такое сотворят. Берег, как видите, крутой, семь метров над водой. Когда река тронулась, бревна громоздились, выталкивали друг друга на берег. В этом месте их вывалилось больше, чем где-либо. Сарайчик был хлипкий, лесины повалили его. Упали и бочки. Четыре их было. Три еще непчатые, под металлической пробкой, а одна открыта. Вместо пробки деревянная затычка торчала. Ясное дело, от удара деревяшка выскочила, а бензин пошел свободным ходом. Теперь пройдем дальше. — Лагун провел людей по выжженной земле метров на тридцать в сторону под уклон и остановился. — Здесь, — продолжал он, — подавальщицы столовой кипятили свои халаты. Видите, кирпичи лежат? На них стоял бак. Когда бензин потек, он добрался и до костра. И полыхнуло! Косичкина, которая стиркой занималась, пошла в столовую за содой. Так что пожар без нее занялся. А здесь у нас, — Лагун кивнул на обгоревший навес, — был летний павильон столовой. Сгорел. Только этот кусочек остался, — он развел руками. — По этому участку все.

— Мотористы сами имели доступ к бензину или был завхоз?

— Сами распоряжались.

— Вы говорили, что в одной из бочек вместо металлической пробки торчала деревянная затычка. Как это было обнаружено? — спросил прокурор.

— Девяткин об этом сообщил.

— Кому?

— Евстигнееву.

— Свидетель Евстигнеев, вы подтверждаете это?

— Был такой разговор.

— Когда?

— После аварии, к вечеру. Я вернулся сюда и увидел затычку.

— Разве она не сгорела?

— Я ее в луже увидел. У нас же дожди шли. Луж было много. Видно, так и уцелела...

— Вы сохранили ее?

— Зачем?

— Это очень важное вещественное доказательство.

— Не подумал. Откуда мне знать такое? Был бы револьвер или нож, а тут деревяшка...

Тем временем Лагун, обескураженный ошибкой товарища, отделился от группы и стал искать затычку. «Кто знает, может, еще лежит? Кому она нужна-то, право?» — огорчительно рассуждал он. Потом, закатав рукав, принялся шарить в мутной высыхающей луже. Ему попадались квелые хворостинки, обломки коры, но затычки не было, будто сгинула. Но вдруг лицо его посветлело. Он вытащил руку из взбаламученной воды и, удивившись дорогой находке, зычно крикнул:

— Она!

Лагун передал затычку Градовой, та взяла ее и, почти не посмотрев, протянула Девяткину.

— Узнаю.

— А где металлическая пробка?

— Напарник мой — рыбак. Для грузила приладил.

— Почему вы не сообщили об этом начальнику за пани?

— Так они вместе частенько рыбачили, — пояснил Тимофей, но, заметив, что вокруг никто не улыбнулся, добавил: — Небось сам видел.

При всех видимых и весьма полезных фактах, установленных при осмотре местности, Градова все еще находилась во власти неразгаданных причин пожара в отдаленном от костра месте. Теперь это чувство обострилось, требовало вести поиск истины, дать ответ хотя бы самой себе, о чем же умолчал свидетель Девяткин, если он действительно умолчал.

Секретарь суда, закончив запись проведенного осмотра, закрыла папку и ждала новых указаний.

Градова, щурясь от солнечного света, пояснила, что сейчас суд переходит к рассмотрению причин возникновения второго очага пожара, и вся группа двинулась вперед.

Неожиданно Градова остановилась и сказала:

— Проведите нас кратчайшим путем от костра к дому Щербака.

— Понял, — четко ответил Лагун. — Дорога одна. — Он встал возле обгорелых кирпичей и шагнул вперед, словно хотел прочертить ту кратчайшую линию, о которой просила Градова.

Впереди показался дощатый мостик через зеленый овражек, нареченный в поселке злым прозвищем «тещин язык». Овражек рассекал землю замысловатой глубокой впадиной еще в редком прилесье и, дотянувшись до самого берега, смотрел на реку темным провалом, где по вечерам вели суматошную переключку лягушки.

Лагун прошел через мостик к дому Щербака. Вслед за ним подошли остальные.

Все посмотрели на останки сгоревшего общежития и кладовки щербаковского дома.

— Дом удалось спасти, — сказал Лагун. — Только как сюда огонь переметнулся, ума не приложу.

— Сколько метров от костра до стенки дома?

— А мы измерим, — сказал Евстигнеев и стал отсчитывать метры рулеткой, а когда вернулся, доложил: — Шестьдесят четыре. Ровно.

— Вы не помните, какая погода была в день пожара? — спросила его Градова.

— Хмурая. Но тихая.

— Одному жара покажется холодом, а другой в мороз кричит — жарко, — с усмешкой отозвался Девяткин. — Каждый на свой хохряк думает. Только, помню, ветер был. С катера видел, как ветер волну поднимал.

Градова смотрела в его глаза и улавливала в них тревогу. Ей показалось, что Девяткин, волнуясь, может еще что-либо добавить. И тогда она кивнула ему, соглашаясь.

— Может быть. У каждого свои приметы на погоду.

— Точно, — охотно поддакнул Тимофей. — Я ее примечаю не по облакам, а по своим бокам. А еще я скажу — на землю поглядите. Она же горбатая, под откос идет, извини-подвинься. Потек бензин? А ему здесь раздолье. Вот и добежал сюда.

Прокурор задумчиво прошелся до мостика, зачем-то заглянул в овражек и, вернувшись на место, сказал:

— Я прошу провести эксперимент. Опрокинем бочку с водой и наглядно убедимся, как поведет себя вода... Куда она потечет?

Суд охотно принял это предложение.

Вскоре все было подготовлено. У сарайчика стояли две бочки из-под бензина, наполненные водой. Лагун и Евстигнеев сильным толчком повалили первую бочку. Она покатилась, оплеснула землю водой и задержалась у бугорка. Струя хлынула из отверстия и стала растекаться. Несколько ручейков побежали к месту костра, оставив часть воды на выгоревшей площадке. А дальше уклон был еще больший. И вода быстро подобралась к мостику. Широкий ручеек уперся в торец толстых досок, служивших настилом мостика, и, обойдя их, потек в овражек. Градова попросила опрокинуть вторую бочку, но все произошло точно так же, хотя бочка прокатилась гораздо дальше и ручейки достигли кострища быстрее. Но, добравшись до мостика, вода не смогла одолеть преграду. И опять ручей зашумел в овражек.

Градова подошла к секретарю суда и попросила зафиксировать результат эксперимента, опровергавший прежнюю версию возникновения второго очага пожара.

Она неторопливо обошла с прокурором дом Щербака и остановилась около пепелища, где лежала обгоревшая детская коляска и закопченный остов санок.

— А это что? — спросила Градова, указав на какой-то непонятный круглый предмет.

Прокурор наклонился и, разглядев его, определил:

— Автомобильная крышка. Сгорела вместе с другим барахлом.

— У вас есть своя машина? — спросила Градова, подойдя к Щербаку.

И когда Алексей равнодушно ответил, что машины у него нет, а служебные — только грузовые и стоянка у них далеко, прокурор оживился и сказал Градовой:

— Нужно пригласить шофера. Кое-что следует уточнить.

Вскоре к дому подъехала полуторка. Из кабины выскочил молодой шофер, удивленный срочным вызовом судьи.

— Вас пригласили в качестве специалиста, — сказала Градова, приглядываясь к парню. — Ваша фамилия?

— Пантюхов.

— Давно работаете шофером?

— Пять лет.

— Осмотрите эту крышку, — предложила судья.

— Резина от «Москвича».

— Не ошибаетесь? — переспросил прокурор.

— Это и ежику известно, — отшутился Пантюхов. Но, заметив недовольный взгляд Градовой, понял, что шутка была неуместна, и добавил: — От «Москвича», точно подтверждаю. У полуторки она и диаметром побольше, и бока у нее потолще.

— Кто в Сосновке «Москвичей» имеет? — повернулась Градова к Лагуну.

— Желающие пока ждут очереди, — ответил он.

— Скажите, — обращаясь к Щербаку, спросила судья, — вы раньше не замечали у своего дома валявшейся покрышки?

— Нет.

— Свидетель Девяткин! Чем вы предохраняете борта своего катера? — неожиданно спросила Градова.

— Приспособил покрышки.

— Какие?

— А шут их знает.

— Сколько их у вас?

— Четыре.

— Где вы их взяли?

— Начальник распорядился.

Градова попросила Щербака рассказать, как и когда были выданы покрышки для катера. И он вспомнил, как минувшей весной ездил в трест на машине Пантюхова. Когда приехали на склад, Алексей увидел во дворе старые, негодные покрышки и попросил их у Назарова. Выдали Щербаку пять штук. А когда вернулись в Сосновку, передали их Девяткину для катера — он давно канючил.

— Следовательно, вы получили пять штук?

— Получил.

— Где пятая?

— Я ее тогда под навесом оставил.

— А кто же мог перетащить ее к дому Щербака?

— Это уж вы разбирайтесь. Меня в это дело не впускайте. Если бы я украл чего — тогда ясно. А здесь — мало ли кто баловством занимался?

Солнце клонилось к закату. Небо теряло краски.

Вечером в бревенчатом доме для приезжих, срубленном из старой сосны, было прохладно и тихо. Градова лежала на диване.

«Нет, все плохо, — думала она. — Мне нужны не



догадки, а улики. Хотя бы косвенные. На сомнениях далеко не уедешь. Но где взять улики?»

Она вспоминала подробности проведенного осмотра, когда услышала негромкий стук в дверь.

— Войдите, — сказала Градова, удивляясь неожиданному гостю.

Им оказался Анисим, старый сторож с морщинистой шеей и кривыми ногами, обтянутыми кавалерийскими галифе. Он вошел в комнату торжественно, держа под мышкой большую пожелтевшую подшивку газет. Очевидно, учитывая важность визита, старик повесил на грудь боевые награды.

Марии отчего-то стало жаль сторожа, потому что она догадалась, зачем он пришел. «Верно, подаст свой голос в защиту подсудимых, — подумала она, — и будет долго рассказывать, что знает их давно и верит в их невиновность».

Весь день сторож Анисим готовился к разговору с судьей и караулил ее, чтобы заступиться за Щербака. Ему хотелось рассказать про то, как начальник запани выхлопотал ему пенсию, как заставил его сына учиться, как уважал Алексея Фомича рабочий люд. И еще об очень многом мог рассказать старый сторож. Но когда он вошел в комнату, сразу растерялся и протянул подшивку районной газеты «Вперед» со словами:

— Тут все о нас за три года прочтете.

И, не сказав больше ни слова, ушел.

Судья положила подшивку газет на тумбочку, на которой стояли в молочной бутылке полевые цветы, а сама уселась перед зеркалом и привычными неторопливыми движениями начала массировать лицо. Ее длинные гибкие пальцы неожиданно остановились. Тонкие морщинки, похожие на мягкие паутинки, удобно устроившиеся возле глаз, обозначились сегодня более резко, чем раньше, и Мария поняла, что никакой массаж ей уже не поможет, но все равно продолжала упрямо гладить пальцами лицо.

За открытым окном покоилась тишина.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Машина шла на большой скорости.

Егор Лужин недолюбливал быструю езду, утомлявшую его, но в этой поездке скорость была его союзником — не терпелось узнать, зачем он понадобился су-

дье. Лужин никак не мог представить ценность фотографий, которые он вез с собой, потому что отснятый материал был явно за чертой аварии и только мог свидетельствовать о поведении сплавщиков после беды.

Из телефонного разговора с Градовой он понял, что газетные публикации суд не интересуют. А жаль. Но на всякий случай Лужин захватил свою гневную статью, изобличавшую Щербака и Каныгина, которую редактор отказался печатать: остерегался, должно быть, скандала.

И не вина Лужина, что их газета, однажды громко сообщившая об аварии на запани, неожиданно умолкла, будто бы все обошлось и нет никакого смысла возвращаться к этой истории. Дважды он выступал по этому вопросу на редакционной летучке, и в обоих случаях редактор настоятельно предлагал не торопиться и подождать окончания суда, тем самым отклоняя статью Егора, считавшегося, несмотря на молодость, первым пером редакции.

Скоро машина остановилась у конторы запани, где находилась Градова.

Лужин постучался и открыл дверь.

Склонившись над столом, Градова перечитывала протоколы суда.

Лужин представился. Он откровенно был поражен, оттого что думал увидеть на ее месте пожилую служительницу Фемиды.

— Вас, наверное, удивила моя просьба?

— Скорее озадачила.

* * *

Утром четырнадцатого июня Лужину не спалось. Он поднялся спозаранку, проверил фотоаппарат, вставил в него новую пленку и, прихватив пару запасных кассет, отправился бродить по лесу.

Небо над головой Лужина было скрыто густым зеленым сводом.

Чем дальше убегала тропа, тем больше открывалось лесных чудес.

Сквозь кустарник блеснула вода. Лужин подошел к маленькому синему озеру и замер от таинственной красоты.

Он не удержался, вынул фотоаппарат и с разных точек сделал несколько снимков.

С неохотой уходил он от озера, а потом все-таки вернулся и бросил монету в зеркальную воду.

Лес стал редеть, разбегаться. На обочине тропы лежал спиленный сушняк.

Вдали показались покатые крыши поселка.

Неожиданно легкий ветер неприятно пахнул чем-то горелым, но Лужин стоял, притихший от удивления: перед ним на низкой ветке сидела белка. Егор затаив дыхание щелкнул затвором фотоаппарата. Белка не тронулась с места. Он сделал несколько шагов, белка встрепенулась и легко перепрыгнула на соседнее деревце. Лужин все же ухитрился сделать еще два снимка.

Сильно потянуло гарью.

И вдруг в просветах березового редколесья полыхнуло пламя пожара.

Лужин, забыв про чудеса леса, выбежал на берег и остановился, пораженный буйством реки.

Запруженная река теснила бревна, с силой выбрасывая их на берег, и весь сплавной лес, растянувшийся на десяток километров, неудержимо рвался вперед, сосновыми дулами целился на запань, жизнь которой таяла на глазах.

Из поселка торопливо сбегались люди. Шипящими струями огнетушителей сплавщики сбивали пламя горевшей столовой. Смельчаки бросились откатывать бочки с бензином. За оврачком загорелся новый дом общежития.

И в это же время запань, не устояв перед натиском штурмовавших ее бревен, тревожно захлебнулась в потоке вспененной воды и обессиленно притонула. Река залила низкий берег и стремительно, безумно помчалась вдаль, на встречу с Волгой, унося в своем потоке тысячи вырвавшихся на свободу бревен...

Через два часа мутная, недавно гневная река притихла в своих извечных берегах.

Лужин уловил момент, когда Щербак остался в кабинете один, и вошел к нему. Он еще не знал, как начнет разговор: то ли с беглых вопросов, то ли с выражения искреннего сочувствия, то ли с рассказа о том, что пережил сам. Лужин понимал, что по воле случая оказался на месте происшествия. Но прибыл он в Сосновку по заданию редакции, и неугомонная душа газетчика не могла пройти мимо аварии.

И хотя рука уже тянулась к бумаге, Лужин все еще оставался в плену многих вопросов, которые тре-

бовали объяснений, анализа, знания людей, чьи суровые, озабоченные лица прошли перед ним в этот день.

Алексей, закончив разговор по телефону, посмотрел на вошедшего.

— Лужин, корреспондент.

— Я знаю все ваши вопросы. И самый первый из них таков: каковы причины аварии?

Егор, несколько обезоруженный верной догадкой Щербака, молча кивнул головой, соглашаясь и чуть разомкнув губы — так он делал, когда внимательно слушал.

— Но на сей вопрос ответа у меня нет, — вздохнул Щербак. — Стало быть, и все остальное не имеет для вас интереса.

— Не понимаю, — поскуцневшим голосом сказал Лужин. — Как начальник запани вы должны знать...

— Вот и началось, — с усмешкой прервал его Алексей. — Еще река не угомонилась, а вы на все вопросы хотите ответа...

— Простите, Алексей Фомич. Возможно, я неточно выразился.

— И вам извиняться ни к чему, Лужин. Конечно, я знаю. Но это мое личное мнение. Вы хотите мое утверждение предать огласке и объяснить читателям, почему все произошло?..

— А что в этом плохого?

— А может, я не прав? Зачем тогда мою неправду в газету тащить? Случилась беда... Случилась... — Алексей потер переносицу. — С меня ответ потребуют. Я скажу. А другие наверняка по-своему будут отвечать. И свое будут считать правдой...

— В борьбе мнений и побеждает истина, — гордо заявил Лужин.

— Истина — что золото, Лужин. Ее не сразу среди разных мнений найдешь. Стало быть, беседу нашу отложим до лучших времен. А если уж вам так приспичило, пишите, что видели. Нечасто такое бывает. Ладно. Все. Мне на рейд надо. — И, протянув руку, торопливо ушел.

Неожиданная резкость, с какой Щербак прервал беседу, обидела корреспондента. Однако, выкурив папиросу и подумав, Егор решил, что у него нет оснований держать зло на Щербака. Алексей Фомич был откровенен и честен, а в его отказе отвечать на вопрос о

причинах аварии не было ни испуга, ни сомнений в ощущении своей правоты, ни соблазна воспользоваться случаем и публично обелить себя.

Проще всего для Лужина было поступить так: не посылать сейчас в редакцию никаких материалов, а затем, глубже разобравшись в обстоятельствах дела, выступить с подробной статьей. Но он не мог совладать со страстью газетчика рассказать с места событий читателям об аварии, молва о которой уже понеслась.

Лужин наконец принял решение. Он напишет информацию и тем самым избавит себя от вопросительных взглядов коллег и недовольства редактора. А потом вернется к подробному рассмотрению происшедшей аварии. Время подскажет, когда это сделать: через неделю или позже.

Он пошел на почту, уселся за маленький столик и стал писать.

Эти сорок строк дались Егору трудно. Дважды переписав странички, он, как ему показалось, сумел передать драматизм события. Сложнее было с заголовком — не хотелось крикливости. И Егор пытался в самом названии подготовить возможность в будущем продолжить рассказ о случившемся. «Тревожный день в Сосновке» — назвал Лужин свой репортаж.

Минут через пятнадцать телефонистка соединила его с редакцией. Слышимость была неважная, он часто повторял фразы и, окончив диктовать, попросил машинистку срочно передать материал редактору.

Потом, побродив по берегу, Лужин вернулся в контору. Но, кроме Пашкова, все были на запани.

— Когда будет Алексей Фомич? — спросил Егор.

— Вы из треста?

— Я корреспондент, — представился он. — Лужин.

— Трудно сказать... У нас большая беда, — вздохнул Пашков.

— Я знаю.

— Теперь от забот у нашего Фомича голова кругом ходит...

— Да, да, — сочувственно произнес Лужин. — Мы не закончили наш разговор. Мне бы хотелось продолжить его.

— Посидите. Может, вам повезет. Теперь пойдут допросы, объяснения, докладные... Третьи сутки все на ногах.

Пашков с раздражением курил, глубоко затягиваясь, и дым лениво выплывал в приоткрытое окно.

Лужин неожиданно спросил:

— Кто такой Бурцев?

— Главный инженер треста, — сердито отозвался Пашков. — Авантюрист!..

Лужин молчал — только слушал: загадок прибавлялось.

— Писать собираетесь?

— Уже написал...

— Кто же, по-вашему, в этой истории виновен? — Пашков пристально посмотрел на Лужина.

— Я об этом не писал, — уклонился от ответа Лужин и вышел из комнаты.

Немного потоптавшись у крыльца конторы, он решительно направился на почту.

— Опять будете говорить? — спросила телефонистка.

— Да, пожалуйста. — И Егор назвал номер телефона.

— Я запомнила. Что-нибудь не так?

— Почему вы решили?

— Работа такая. По лицу вижу, какой разговор будет. Хмурый или с колокольчиками.

Когда Лужин взял трубку, он сразу узнал голос редактора.

— Афанасий Дмитриевич! Это Лужин. Вы прочли мой материал? Даже поставили в номер? — Он замялся. — Но... Я прошу снять репортаж.

— Как это снять? — громыхнул сердитый голос. — Разве он не соответствует действительности?

— Соответствует.

— Тогда в чем дело? — недовольно допытывался редактор.

— Мы поступим неправильно, если ограничимся зарисовкой очевидца. Тем более корреспондента.

— Что вы предлагаете?

— Снимите материал.

— Это невозможно. Вы слышите меня, Лужин?

— Слышу. Я не касался причин аварии, не копнул глубоко материал. Это непростительная ошибка.

— Кто вам мешает выступить в очередном номере? Пишите. Исследуйте.

— Я чувствую, что не имею права так выступать. Я разговаривал с начальником запани Щербаком. Он

отказался говорить о причинах аварии. Теперь я понимаю — он прав. И прошу вас...

— Мы будем печатать материал, — решительно ответил редактор.

— Тогда снимите мою подпись.

— Хорошо. Подпишем: «По телефону от нашего корреспондента». Чего вы испугались?

— Афанасий Дмитриевич! В этой истории мне важно изучить всю проблему и найти истину. Разрешите остаться в Сосновке...

— Согласен. Только не поддавайтесь эмоциям. Опирайтесь на факты.

На другой день газета «Вперед» напечатала сорок строк под броским заголовком «Авария». Когда Алексей Щербак, прочитав статью, встретил корреспондента, он скупно сказал на ходу:

— Получил ваш подарок, Лужин. Только почему он безымянный?

* * *

— Меня интересуют ваши фотографии, — сказала Градова.

— Одну кассету — пожалуйста, — сразу же согласился Лужин и просмотрел пленку, на которой успел запечатлеть взбунтовавшуюся реку, рвущуюся на штурм запани. На нескольких снимках полыхал пожар; попадались портреты сплавщиков, снятые в крутые минуты их неравной борьбы со стихией, — здесь можно было увидеть Евстигнеева, Лагуна и еще несколько встревоженных и утомленных лиц; на двух снимках Щербак отталкивал багром вздыбленное бревно, а кончалась кассета фотографиями Тимофея Девяткина, стоявшего у руля в лихо заломленной на затылок форменной фуражке речного флота и в тельняшке, плотно облежавшей его крепкую, красивую грудь.

— А вторую? — спросила Градова.

На второй пленке были фотографии лесного покоя, хоровод березок у маленького озера, лесная дорожка, усеянная шишками, цветы на поляне, белка на ветке. Лужину было почему-то неловко за эти сентиментальные кадры, и он сказал:

— Они не представляют для вас никакого интереса. Это я сделал на прогулке. Давно не был в лесу, обрадовался и пошел поснимать.

— Давайте на всякий случай все напечатаем.

Говорить с Лужиным пока Градовой было не о чем, и она посмотрела на часы — теперь можно было сходиться на реку или побродить в дальней роще, полежать в пахучей траве и подумать обо всем, что она узнала здесь, в Сосновке.

Именно в эту минуту Лужин поднялся со стула, одернул пиджак и, решительно протянув судье свою статью, сказал:

— Это одна из моих работ в области публицистики. Для меня чрезвычайно важно услышать ваше мнение.

Градова с неохотой перелистала несколько страниц и, поняв, о чем идет речь, молча принялась за чтение. И странное дело — с каждой перевернутой страницей Мария все больше и больше радовалась удачно найденному слову Лужина; его гневный общественный обвинительный приговор поражал ее стройностью изложения, убежденностью. Несколько раз Мария поймала себя на мысли, что она сама давно хотела увидеть Алексея Щербака именно таким, жалким и подлым человеком, чтобы по заслугам покарать его, и даже явное отсутствие необходимых фактов в статье не смущало ее. Иной раз строчки расплывались, и она слышала страшный голос летчика: «Живых надо вывозить, а не покойников!» И вдруг другой голос, тихий и чужой, спросил:

«Ты уже заранее вынесла приговор?»

Мария закрыла глаза и откинулась на стуле.

Егор Лужин прочитал на лице судьи все, что хотел узнать от нее, хотя такого эффекта не ожидал. Однако первые же слова судьи поразили его.

— Вы зачем это написали? — спросила Градова.

— Я хотел помочь суду.

Градова, усмехнувшись, спросила:

— Вы уверены, что нам нужна ваша помощь?

Лужин нашелся сразу:

— К этому процессу следует привлечь большой читательский интерес.

— Я расскажу вам, Лужин, одну давнюю притчу. В небольшой деревне крестьяне задумали купить быка. Собрали всем миром деньги, и вскоре появился у них бык. Да такой, что на всю округу славился. Очень гордилась своим быком деревня. Как-то шел по улице пьяный кузнец с кувалдой, а навстречу ему бык. Остановились друг против друга. Кузнец взмахнул кувалдой и ударил быка промеж рогов. Погиб бык. Собрались му-

жики на сход — кузнеца судить. Решили: раз он быка убил, значит, и его надо убить. Но тут поднимается один мужичишка и говорит: «По справедливости оно, конечно, надо кузнеца убить. Но что ж тогда получится? Был у нас бык — теперь нет его. Есть у нас кузнец — не будет. Нет расчета нам кузнеца убивать». — «А что делать? — кричит мир. — Так и простить?» — «Почему простить, — отвечает мужичишка. — Прощать нельзя. У нас вот два печника в деревне. Вот и давайте одного убьем».

Лужин спрятал статью в портфель и закрыл его, думая про себя, что все равно он прав.

— Посмотрим, что вы скажете, когда прочтете эту статью в областной газете, — угрюмо сказал он.

И ему показалось, что она закричала в ответ, настолько неожиданно громким был ее голос:

— Не забудьте, что недопустимо в печати любое выступление до окончания суда, в котором суду навязывают оценку личности подсудимого! Вы бы хоть с Конституцией познакомились! — Но еще непонятней для Лужина оказались последние слова Градовой: — А мне бы, Лужин, хотелось увидеть вашу статью напечатанной, возможно, гораздо больше, чем вам.

Домой Егор возвращался в полном смятении чувств.

Градова легла спать рано — завтра предстояло вернуться в город, но сон не шел — разные мысли будоражили ее сознание. Она оделась и вышла прогуляться.

Вокруг была бесконечная тьма. Только фонарь у дома для приезжих освещал небольшой пятачок. Мария прошла вдоль пустынной улицы. В редком доме мерцал свет. Проходя мимо клуба, услышала из раскрытой двери кинобудки знакомые слова. Пораженная, она остановилась, мгновенно вспомнив давний партизанский фильм режиссера Ивана Пырева.

Градова стояла долго. Воспоминания былых лет проносились перед ее глазами, смыкаясь с голосом, доносившимся с экрана.

Мария ушла к реке, но в ушах все еще звучали слова партизанской клятвы: «Я присягаю, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад не будет уничтожен на нашей земле...»

Потом Мария сидела у разожженного костра возле реки, слушая шуршанье воды.

Заскрипела под чужими шагами сыпучая галька, и рядом опустился на бревно человек. Приглядевшись, Мария узнала Щербака.

— Не спится? — тихо спросила Градова.

— На огонек забрел. А знал бы, что вы тут, так за версту обошел бы!

— Вот как! — Градова удивилась смелости Щербака.

— Лучше скажите, куда дальше тронемся в поисках свидетелей истины? Может быть, на Чукотку?

Мария впервые почувствовала гневную боль Щербака, но тягостная настороженность к этому человеку заставила ее ответить:

— Если будет нужно, мы и на Южный полюс слетаем.

— Деньги зря переведете.

— Вы так считаете?

— Привык отвечать за свои слова. Я ведь сказал суду: виновен! И все тут! Хватит людей мучить.

— Этого мало. Надо, чтобы суд установил вашу виновность.

В слабом отблеске костра Градова увидела воспаленные глаза Щербака. Он встал, торопливо ушел в ночь, и скоро шаги его затихли на берегу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ваши фамилия, имя, отчество? — спросила Градова, оглядывая зал и не замечая сидящих перед ней людей. Сегодняшнее утро началось с неожиданной новости, которую она узнала в фотоотделе судебной экспертизы. И эта новость держала судью в странном и непонятном для нее возбуждении.

— Лужин Георгий Александрович, — ответил журналист. Он был не первый раз в суде, но свидетелем проходил впервые.

Лужин ответил еще на ряд официальных вопросов, но сам размышлял в это время о том, что ему повезло: он стал участником судебного разбирательства, и это поможет ему написать интересную статью о событиях в Сосновке.

— По просьбе суда вы передали нам две отснятые кассеты. Вы представили все, что сделали в Сосновке?

— Да.

— Фотоотдел судебной экспертизы сделал фотогра-

фии с ваших пленок. Ознакомьтесь с ними. — И Градова открыла папку с карточками, веером разложив их на столе.

— Это мои снимки.

— Сколько их?

— Сорок четыре. Все они сделаны с моих негативов.

— Вы говорили, что дважды встречались со Щербак. Когда это было?

— Первый раз четырнадцатого июня, — сказал Лужин. — Разговор был в кабинете короткий. Вторая встреча была на другой день.

— Подсудимый Щербак, вы подтверждаете свои встречи с Лужиным?

— Подтверждаю.

— Свидетель Лужин, вы встречались с мотористом катера Тимофеем Девяткиным?

— Да.

— Когда?

— Пятнадцатого июня.

— Может быть, вы запомнили, как он был одет? — спросила Градова.

— Не помню.

— Разве вы не снимали его?

— Снимал на катере.

— Покажите эту фотографию.

— Вот она.

— Девяткин знал, что вы корреспондент газеты?

— Думаю... — Лужин посмотрел на Градову и понял, что каждый ответ важен для нее. — Думаю, что знал.

— От вас?

— Нет. Об этом не говорили. Я представлялся только Щербаку. Девяткин отвез меня в район заостровья, а когда возвращались, про пожар рассказывал.

— Что именно?

Егор повернулся в сторону Щербака и громче прежнего сказал:

— «Окопался у нас начальничек Фомич. Натворил бед. Поселок едва не сжег».

«Этот моторист — шустрый парень, разговорчивый, — подумал Егор. — Он, должно быть, что-то знает про Щербака. Понятно теперь, зачем суду нужен Девяткин». И добавил:

— Девяткин мне понравился. Деловой человек.

Судья Градова невольно вздохнула и спросила:

- Где вы были, когда возник пожар?
- Точно не помню.
- Какая погода стояла в то время?
- Тихая. Безветренная.
- Садитесь.
- Свидетель Девяткин, вас фотографировал Лужин, когда вы ездили на остров?
- Уважил меня.
- Как вы тогда были одеты?
- А вы посмотрите на фото. Там видно.
- Меня интересует ваш ответ.
- На работе у нас форма одна — сапоги и тель-
няшка.
- А на голове?
- Фуражечка была.
- Судья выбрала среди фотографий карточки Девяткина и показала их ему:
- Узнаете?
- Факт. Тут меня каждый признает.
- А как вы были одеты накануне?
- Девяткин уставился на судью, будто она сама должна была ответить на вопрос. Потом осмелел и брякнул:
- Откуда я помню, как был одет? Не помню, ясное дело.
- Ну а в тот вечер, когда вы встречались с главным инженером Бурцевым?
- Так же был одет, извини-подвинься... Теперь вспомнил.
- Вы говорили Лужину, будто из-за Щербака чуть не сгорел весь поселок?
- Я своих слов не записываю. Не молитва, чай. Но, помнится, насчет пожара толковали. Не отказываюсь. Критиковал я тогда наше начальство.
- Убедившись, что у прокурора и защиты нет вопросов, Градова отпустила моториста. После этого она вызвала Лужина.
- Когда вы сделали эти снимки?
- Утром четырнадцатого июня.
- Более точно можете сказать?
- Между девятью и десятью часами утра.
- Какой снимок из этой серии был последним?
- Лужин выбрал фотографию с белкой.
- Вы уверены, что не ошибаетесь? — спросила судья.

— Абсолютно, — без тени сомнения ответил Лужин. — На пленке видно, это последние кадры.

— Поставьте на фотографии подпись и укажите время съемки.

Лужин выполнил просьбу судьи и вышел из зала.

— Свидетель Девяткин!

Моторист пружинисто и легко поднялся с места, успев заметить пристальный и сосредоточенный взгляд Федора Каныгина. Тогда он повернулся так, чтобы не видеть технорука запани, и с вызывающей прямоотой поднял свои синие глаза на судью.

«Мне бы в лес с тобой сходить прогуляться, — с наглым озорством подумал Девяткин. — Там бы мы быстро разобрались, кто есть кто. Хороша баба!»

— В предыдущих показаниях вы сообщили суду, что с момента пожара находились на месте стоянки катера.

— Точно! И сейчас подтверждаю.

— Вспомните, когда возник пожар?

— Часов в одиннадцать. Может, чуть позже.

— Вы там были?

— Нет.

— А как вы узнали о пожаре?

— Услышал, как рельс загремел, и побежал к запани. А когда свернул от магазина на тропку — так дорога короче, тут и запань прорвало.

— Значит, о возникновении пожара вы ничего не знаете?

Девяткин доверчиво улыбнулся и пожал плечами.

— Откуда, извини-подвинься?

— А в момент аварии вы где находились?

— Около катера.

— Первый пожар возник в десять утра?

— Не помню.

— Прошу пригласить свидетельницу Варвару Косичкину, — сказала Градова.

— Я свободен? — спросил Девяткин.

— Еще нет.

В зале суда появилась рослая, высокая и крепкая женщина лет тридцати, которая слегка растерянно и смущенно оглядывалась по сторонам. Простые волосы цвета вороньего крыла были свиты у женщины чуть ниже шеи в прочную косу.

— Свидетельница Косичкина, вы работаете в столовой Сосновской запани?

— Да.

— Вы помните, когда начался первый пожар?

— В десять часов утра.

— Почему вы так точно запомнили время?

— Я на работу пришла в половине десятого, мне нужно было прокипятить халаты в баке. Покуда собрала белье, разожгла костер, прошло минут пятнадцать. А потом я за содой пошла — кладовщик наш приходит в десять. При мне он кладовку открывал.

Судья поблагодарила женщину, кивнув ей как старой знакомой, хотя и видела всего-то во второй раз, и отпустила.

— Свидетель Девяткин, авария запани произошла в десять часов двадцать шесть минут. Об этом имеется официальный акт. Вот он.

— Пусть будет по-вашему, — недовольно буркнул моторист. — Я что упомянул, то и сообщаю.

— Таким образом, разрыв по времени между началом пожара и аварией составляет всего двадцать шесть минут.

— Может быть, — вздохнул Тимофей Девяткин, раскачиваясь на носках и держа руки за спиной.

— Суд предупреждал вас, что вы обязаны говорить только правду, — напомнила Градова.

И в эту минуту у Девяткина не хватило выдержки. Он с дерзкой ухмылкой заявил:

— Мне работать надо было, а не на часы глядеть! Что же это получается, извини-подвинься? Рабочий человек делом занят, а его за это по загревку? Не годится так. Может, у меня и часов-то сроду нет.

— Скажите, свидетель Девяткин, вы перевозили пионеров на своем катере?

— Было дело. Я рассказывал.

— Никого из детей не запомнили?

— Куда там! Они мне спасибо сказали и побежали. Помнится, правда, какая-то девочка с веснушками была.

— Из какого лагеря были пионеры?

— Чего-нибудь полегче спросите, извини-подвинься. Дети — они же все одинаковые. Да и зачем мне было спрашивать, сами посудите? Если бы я, конечно, знал, что вы спросите, тогда бы обязательно узнал. Это как пить дать!

— Пригласите свидетеля врача Терентьеву, — сказала Мария.

— Я свободен? — спросил Девяткин.

— Пока нет.

В зале суда было очень тихо, и люди, казалось, не дышали, увлеченные процессом, как театральным спектаклем.

По вызову судьи вошла невысокая женщина, загорелая, легкая в движениях.

— Где и кем вы работаете, свидетельница Терентьева?

— Детским врачом в пионерском лагере «Буревестник».

— Вы не помните, отлучался кто-либо из детей вашего лагеря четырнадцатого июня за пределы территории «Буревестника»?

— Хорошо помню. Никто не отлучался.

— Почему?

— В этот день проходил общий медицинский осмотр детей в связи с имевшим место случаем заболевания дизентерией.

— Когда детям было разрешено выходить из помещения?

— Только после обеда.

— Может, мои пионеры были не из «Буревестника»? — Тимофей Девяткин рассмеялся.

Отпустив врача, Градова открыла один из томов дела и прочитала:

— «Сообщаем, что в районе Сосновки и прилегающих районах имеется только один пионерский лагерь «Буревестник». Это справка, — уточнила судья, — подписанная секретарем обкома комсомола и начальником здравоотдела областного исполкома. Ознакомьтесь, свидетель Девяткин.

Но моторист, не взяв справку, огрызнулся:

— Знал бы, что так все обернется, я бы у своих пионеров тоже справку взял. Зачем перевозил их, дурак?!

— Не перевозили вы пионеров! — сказала судья, слегка повысив голос.

— Я вам рассказал, как было.

— Вы говорите неправду, тем самым усугубляете свою вину.

Тимофей продолжал запыряться, и тогда Градова пригласила в зал свидетеля Лужина. Журналист подозрительно посмотрел на Девяткина, словно оценивая его заново, и подошел к судейскому столу.

— Когда вы делали свои фотографии, которые передали суду?

— Примерно с десяти до одиннадцати.

— По какому признаку вы определяете это время?

— Когда я делал последний снимок, обратил внимание, что пахнет гарью. Потом увидел пламя на берегу. Побежал. Здесь я и застал пожар. Горела столовая. Затем произошла авария.

— Свидетель Девяткин, подойдите к столу.

Мария раскрыла папку, вынула небольшую фотографию, показала ее заседателям и предъявила Тимофею.

— Кто изображен здесь?

Тимофей покрутил фотографию, не спеша с ответом. Потом глухо ответил:

— Я.

— Кто вас снимал?

— Корреспондент. На катере это было.

Судья вынула другую фотографию, снова показала ее заседателям и протянула Девяткину.

— А это кто?

Карточка была побольше, сделана умелой рукой мастера на хорошей плотной бумаге, только изображение было не таким резким, как на первой фотографии. И Тимофей был здесь снят не в фас, а в профиль.

— И это я.

Мария положила рядом обе фотографии.

— Вы узнали себя на обеих карточках?

— Узнал.

Теперь судья достала новую фотографию. Она была гораздо больше предыдущих, но две трети карточки были закрыты серой бумагой. На оставшейся видимой ее части был Тимофей Девяткин в той же позе, что и на предыдущей фотографии.

— И тут я, — сам сказал моторист.

— Не видите ли вы сходства между двумя последними карточками?

— Вроде одинаковые, извини-подвинься.

— А точнее?

— Одинаковые, говорю!

— Я тоже так думаю, — сказала Мария Градова и, не торопясь, сняла серый лист бумаги, который закрывал остальную часть фотографии.

И Девяткин увидел себя изображенным теперь во весь рост. Его правая нога чуть повисла над землей, еще не успев закончить шаг, а к левому боку обе руки

прижимали покрывку. При всей крупнозернистости снимка, которая обычно образуется от многократного увеличения какой-либо детали, фотография была достаточно четкой и выразительной.

— Узнали себя, свидетель?

— Мое лицо.

— А сапоги?

— Ясное дело.

— А тельняшка?

— Ну!

— А покрывка?

Тимофей сердито отбросил прядь волос со лба, без спроса взял карточку и стал вертеть ее, напрягаясь умом и памятью.

— Интересное дело. Как она сюда попала?

— Это как раз и интересует суд.

— Разве все упомнишь!

— Вам необходимо вспомнить, свидетель, потому что точно такая же покрывка обнаружена возле сгоревшего общежития и дома Щербака.

— При чем тут пожар? — обиделся моторист. — Мало ли по какой причине была у меня покрывка!

— Вот вы и расскажите.

— Было дело, — медленно заговорил он, видно соображая на ходу. — Хранил покрывку для себя. А ребята баловство затеяли — то с горки спустят, то по поселку гоняют. Вот я и отнял у них.

— А кто мог вас в это время сфотографировать?

— Кто щелкнул, не знаю. Теперь у многих аппараты имеются, извини-подвинься.

Градова, не чувствуя никакой жалости к растерянному синеглазому свидетелю, который еще недавно был таким самодовольным и непогрешимым, достала другую фотографию, еще большего размера. На ней Лужин успел снять молодую прыгающую белку. Однако на втором плане этой карточки, в глубине леса, и был виден Девяткин с покрывкой.

— Может быть, эта фотография вам о чем-либо напоминает?

Моторист тупо смотрел на карточку, должно быть, от волнения еще не разглядев свою персону.

— Ну белка тут...

— Вы приглядитесь, свидетель.

Только теперь Девяткин увидел себя и шумно задышал.

Градова следила за мотористом, хорошо сознавая и догадываясь, что происходило в его опустошенной душе. Теперь она ожидала той самой последней минуты, когда вера в спасение собственной шкуры у свидетеля пропадет, и тогда можно будет сделать еще один шаг навстречу истине. Сколько таких вот злых и ничтожных людей, с неослабевающим упрямством творящих свои черные дела, видела она перед собой! Сколько раз они хотели убедить ее, что были чисты помыслами и добры намерениями! Но разве кто-нибудь знает, как она устала от чужих и унылых физиономий, от беспроектной лжи и сердечной черствости?

— Итак, свидетель Девяткин, вы узнали себя на фотографиях, предъявленных вам?

Девяткин, чувствовавший большую беду где-то рядом, разглядывал пустую стену за спиной судьи, и его потянуло прочь из суда — хотелось убежать хоть на край света и позабыть обо всем. «Сволочи! — думал он. — Как волка травят!»

— Эту последнюю фотографию корреспондент Лужин сделал в лесу перед началом пожара, — сказала Градова.

— Не знаю.

— А когда возник пожар, вы были где-то рядом со столовой.

— С чего это вы взяли, извини-подвинься? — спросил Девяткин.

— Так получается, свидетель.

— А может, этот корреспондент сфотографировал меня в другое время?

— Это просто установить. Свидетельница Косичкина, вы видели журналиста Лужина?

— Видела.

— В каком месте?

— Возле столовой, когда она уже запылала.

— В какое время?

Женщина вытерла капельки пота со лба белым платком и, стараясь не смотреть в сторону Девяткина, ответила:

— Пожар только начался. Гляжу — чужой человек, городской, рядом шастает. Мне, ясное дело, не до него тогда было, но я его запомнила.

— Свидетель Лужин, вы видели Варвару Косичкину около горячей столовой?

— Видел.

— Что вы делали там?

— Только что из леса прибежал.

Градова продолжала допрос Лужина.

— Вы говорили, что, кроме фотоаппарата, у вас был транзистор и вы слушали тогда музыку?

— По «Маяку».

— Еще вы говорили, что точно не помните, какая была музыка, но вам запомнился Юрий Гуляев.

— Да, — подтвердил Лужин.

— На запрос суда музыкальная редакция Всесоюзного радио сообщила, что четырнадцатого июня по «Маяку» в девять часов пятьдесят три минуты Юрий Гуляев исполнял песню «Вдоль по Питерской». Следовательно, именно в это время вы и находились в лесу?

— Да.

Судья перевела взгляд на моториста.

— Объясните суду, свидетель Девяткин, как вы оказались в лесу в это время — около десяти часов утра, что вы там делали и зачем вам понадобилась покрышка?

Странен и совсем непонятен был Тимофею этот допрос. Он, стоявший в недоумении, торопливо, словно стараясь поскорее угодить судье, принялся путано и несвязно рассказывать, как в то утро шел к своему катеру, чтобы поставить его в глубь заливы, потому что подумал, что шальные бревна, не дай бог, помнут корпус машины. И вот шагает он сам по себе, и глядь — на дороге сосновские мальчишки катают покрышку. Он, конечно, отобрал ее. Очевидно, в это время его по дороге и заснял случайный корреспондент. Тут бабахнули в рельс, кто-то закричал, запахло гарью, он понял, что начался пожар, и со всех ног пустился к катеру, потому что он лицо материально ответственное и соображение имеет.

— Что это была за покрышка? — спросила Градова.

— Покрышка как покрышка. Что в ней особенного?

— Эта покрышка одна из тех пяти, которые вам передал начальник запани?

— Может быть, — крутя пуговицу на пиджаке дрожащей от волнения рукой, сказал Девяткин. И быстро добавил: — А может, и нет.

— Раньше ваша память была гораздо лучше, свидетель.

— Разве все упомнишь?

И тогда Градова положила на стол новую фотографию.

— Специалисты выпечатали изображение покрышки, которую вы держали в лесу. Здесь отчетливо видна заводская марка. Взгляните, свидетель.

— Вижу.

— А это фотографии ваших покрышек, которые находятся на катере. Узнаете?

— Вроде.

— Уточните.

— Узнаю, — процедил сквозь зубы Девяткин, неловко кивая, словно хотел боднуть кого-то. А сам горько и тяжело подумал: «Вот гадина! Что делает! Что делает!»

— Специалисты выпечатали заводские марки на ваших покрышках. И там и здесь — одна серия. Вы согласны с этим?

Девяткин долго и упрямо молчал, делая вид, что рассматривает фотографии. Однако деваться было некуда, врать бесполезно, и он согласился с доводами судьи.

— Следовательно, то, что эти пять покрышек одинаковые, не вызывает у вас сомнения?

— Я сказал уже: похожи. — Моторист продолжал крутить пуговицу на пиджаке.

Градова откинулась в кресле, ощущая усталость.

— Теперь постарайтесь вспомнить, как эта покрышка попала к дому Щербака.

— Какая?

— Вот эта самая, которая у вас на фотографии.

— А почему вы думаете, что это та же покрышка? Мало ли покрышек на свете? — не сдавался Девяткин.

— Химический анализ сгоревшей покрышки и покрышки, взятой на вашем катере, тоже подтверждает их идентичность.

— Ч-чего? — заикнулся моторист.

— Вот заключение экспертизы. Ознакомьтесь, свидетель Девяткин.

— Зачем?

— Кроме того, здесь говорится, что в сгоревшей покрышке было много бензина.

И, не дав Девяткину ни секунды передышки, Градова сказала:

— Подойдите к плану запани, свидетель, и покажите, какой дорогой вы шли к катеру с того места, где вас сфотографировал журналист Лужин.

Девяткин, сгорбившись, подошел к плану и дрожащей рукой ткнул указкой.

— Здесь шел. Вдоль берега.

— Кто вас видел в это время?

— А я почему знаю?

— В это время здесь были люди, и вас обязательно кто-нибудь заметил бы. Но здесь вас никто не видел.

— Я шибко торопился. Сами подумайте, что случилось! Разве людям до меня было — беда-то какая, паника вокруг?!

— Вот ваши сегодняшние показания, в которых вы сообщили суду, что были на опушке леса, и именно там вас мог снять корреспондент Лужин.

— Ну?

— А потом шагали лесом к катеру.

— Перепутал я. Столько ходишь каждый день, извини-подвинься.

— Допустим. Но если бы вы шли вдоль берега, обязательно вышли бы к той части поселка, где был пожар. А людей там тоже было достаточно. И вас тоже никто не видел.

— Вгорячах бежал я. Какая разница где? Вроде через мосток перескочил.

— И через мосток вы не переходили. Там тоже были люди.

И Тимофей Девяткин замолчал. Пуговица, которую он крутил на пиджаке, оторвалась и тихо упала. Но от слабого ее стука об пол моторист вздрогнул.

— У вас была только одна дорога — вдоль опушки, потом краем поселка к общежитию и дому Щербака, — сказала Градова. — Вы подошли туда с тыльной стороны спустя несколько минут после начала пожара, облили покрышку бензином и подожгли.

— Нет! — истошно закричал Девяткин. — Не поджигал я!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Алексей вышел из гостиницы, по небу шаланды плыли тучи. Они просвечивались солнцем и казались легкими, свободными и вечными. Но небо потемнело, и шаланды превратились в большие баркасы. Сейчас, в полутьме, небо сливалось с Волгой, и только когда вспыхивала молния, на какое-то мгновение становились заметны просветы чистого неба, похожие на птиц, улетающих вдаль.

Алексей посмотрел на небо. Тучи не торопились окатить землю ливнем, они хитрили, коварно давили темной. Он вошел в детский парк вместе с первым раскатом грома. Ветер поднимал пыль на пустых аллеях и гнал палые листья. Хлынул дождь. И снова весело шелкнул бичом гром.

Алексей увидел белый павильон, который дождь аккуратно расчертил в косую линейку, как тетрадь первоклассника.

— Скорее, дяденька, скорее! — услышал он детские голоса.

И этот призыв заставил Алексея улыбнуться. Наверно, со стороны он выглядел промокшим чучелом. Когда он вбежал под навес, дети расступились и с нескрываемым интересом разглядывали его.

Откуда-то доносился громкий голос репродуктора. Шла передача, посвященная поэту Уитмену.

На игровой площадке он увидел качели, «Чертово колесо», пеструю карусель и довольно хитрое сооружение «Мертвая петля». Все стояло неподвижно. Без ребячих голосов аттракционы выглядели сиротливо.

Рядом с Алексеем оказался мальчик в клетчатой рубашке.

— Дождь скоро пройдет, — сказал он.

— Почему ты так решил? — спросил Алексей.

— Вы на лужи поглядите! Совсем мало пузырьков... Глядите.

— Вижу.

— Так всегда перед концом дождя. Мне дедушка говорил.

— Тебя как зовут?

— Толя.

— А меня Алексей Фомич.

— А моего дедушку Николай Фомич... Вот интересно! А почему вы в детском парке гуляете?

— Разве нельзя?

Толя заразительно засмеялся:

— Тут всем можно!

— Так случилось, — скорее себе, чем Толе, ответил Алексей. — Дождь все хлещет, а ты говорил — пузырьки...

— Вы сразу хотите.

— А знаешь что? Давай покрутимся на «Мертвой петле», — неожиданно предложил Алексей.

Толя удивленно посмотрел на него.

— Испугался?

— Я только темноты боюсь, — признался мальчик. — Но дедушка говорит, что это пройдет. Правда, пройдет?

— Ну, покрутимся? — снова спросил Алексей.

— Давайте покрутимся, — нерешительно согласился мальчик.

Алексей подхватил Толю, усадил в железное креслице, защелкнул привязной ремень. Охваченный нахлынувшим желанием хоть чуть-чуть подняться в небо, уселся сам и, раскинув в стороны руки, крикнул:

— Полетели!

Маленькие пропеллеры зажужжали, рассекая веселый дождь и влажный воздух. И вот уже Алексей, опирав дугу, взметнулся вверх, а мальчишка повис вниз головой, а еще через мгновение взлетел малыш, а Щербак, ощущая всем телом забытое счастливое чувство полета, стремительно понесся к земле и вновь, увлекаемый силой мотора, взметнулся к небу. Пропеллер шумел призывно, и Алексей, притихший, улыбающийся, с новой нечаянной радостью закричал:

— Летим!

А репродуктор все еще рассказывал об Уитмене, о его любви к природе и о том, что законы природы никогда не просят извинений.

Но Алексей не слышал этих слов.

...Когда до начала суда оставалось пять минут, он вошел в зал.

Первым давал показания свидетель Евстигнеев.

— Я никогда по судебному делу не выступал. Поначалу немного тушевался. А потом понял: чего ж стесняться, ведь кругом свои. Я на запани работаю с того дня, как с фронта вернулся. Не поймите, что хвастаю, а для порядка должен сказать — дело знаю, потому и работу такую доверили — мастер. Одним словом, стою я перед вами и думаю... Как же так — дело знаем, а запань порушена? И лес убежал. И выходит, что и я никакой не свидетель, а чистый виновник аварии. Но так выходит у того, кто дальше своего носа ничего не видит. Потому и неверно поступает и, я бы сказал, ошибку в мыслях своих имеет. Запань — это большое предприятие. Служащих у нас — раз, два, и обчелся. Остальные сплавщики. Одним словом, рабочий класс. Главный инженер Бурцев говорил, что надо было закрыть ворота. И тут концы с концами не сходятся. С од-

ной стороны, надо выполнять план, а с другой — они, мол, такие-сякие, они ворота не закрыли. А подумал ли главный инженер, что для нас, для рабочих, план — это ведь не только зарплата? Конечно, получка — дело важное. Но почему на нас иные смотрят только как на работяг? Мол, чего скажут, то и сделают. Ошибочка! Мой отец у лесопромышленника на сплаве работал. Вот там действительно было так. А здесь запань наша, государственная. Стало быть, и план наш. Поэтому, начав сплавную страду, трудишься по сознанию. Не один Щербак, не один Каныгин решали. Собирались мастера, бригадиры. Думали, обсуждали и решили работать. А то, что стихия разбушевалась, тут пока мы не властны. Коснусь перетяги. Рискованная была затея. Ненужная. А нам приказ — ставить перетягу. Сплавщики — народ не из робкого десятка. Могли бы и крепким словом ответить. Но не стали. Теперь жалею об этом. Правда, я свой характер проявил. Не стал устанавливать перетягу. Отказался. И что получилось? Руки свои не замарал, а совесть мучает. Потому как добро тоже нуждается в защите. И делать добро надо как можно раньше, ибо завтра может быть уже поздно. Так что виню я себя не для красного словца, а с загадом, дабы не забывать, что я тоже хозяин. И еще хочу сказать: ошибка в мыслях у главного инженера Бурцева. Он считает, что нам с ним работать. Пустое это. Ему работать с нами. Это другой коленкор. А иначе не будет сплава, разбегутся бревна. Слушает меня суд, потому и говорю, что на душе наболело. Сколько ж можно только наши руки в расчет брать? А про голову и сердце забыли? Вот оно как получилось. И уж совсем под конец скажу. В нашем тресте шестьдесят пять запаней. И одна из них — Сосновка. А над всеми запанями стоит главный инженер. Вот он на какой высоте, руководитель. Я так понимаю: у руководителя все как у других людей. Все. И жизнь. И любовь. И смерть. Разница только в одном — в ответственности. А как же? Он командир!

Бурцев слушал Евстигнеева, опустив голову, прижимая костыли к коленям, чтобы сдержать охватившую его дрожь. Одна мысль владела им: что-то нужно сделать сейчас же, немедленно, чтобы обелить себя, остаться для всех честным и достойным человеком, иначе жизнь его будет загублена. Что же делать? Как поступить? Мозг распалялся от отчаянных решений, но они не сулили успеха, а только усиливали страх.

— Свидетель Бурцев, это ваша записка? — спросила судья.

Главный инженер растерянно ухватился за костыли, медленно поднялся со стула и, посмотрев на страничку, сказал:

— Да, моя. Я написал начальнику запани, что принимаю ответственность на себя.

— Когда это было написано?

— Двенадцатого июня.

— В день, когда вы приехали в Сосновку?

— Да.

— Кто передал записку Щербаку?

— Я.

— Подсудимый говорил вам что-либо по этому поводу?

— Нет.

— Вы задумывались над тем, что записка имеет прямое отношение к судебному разбирательству?

— Я не придавал ей значения. Я сказал Щербаку те же слова. Следовательно, моя позиция была ясна начальнику запани.

— Вы допускаете, что Щербак мог забыть этот разговор?

— Нет.

— Вам известно, что на первом же допросе Щербак признал себя виновным?

— Знаю об этом.

— Имея вашу записку, подсудимый мог бы по-иному рассматривать степень своей вины.

— Видимо, он счел нужным этого не делать.

— Когда вы узнали, что Щербак привлечен к уголовной ответственности?

— Находясь в больнице.

— Вы попали в больницу пятьдесят семь дней назад?

— Да.

— Я напому вам, что в качестве свидетеля вы привлечены по инициативе суда.

— Это вполне законно. Я тут же явился.

— А если бы суд не принял такого решения, как бы вы поступили?

— Считал бы, что у суда нет такой необходимости.

— И все эти пятьдесят семь дней вы не были обеспокоены случившимся?

— Я давал показания по существу дела. Вопросы

эмоций остаются за пределами судебного разбирательства. Разве я не прав?

— Вы не понимаете меня, свидетель. Мы с вами как на острове Доминика, где мужчины говорят на совсем ином языке, чем женщины. После выхода из больницы сколько времени вы работаете?

— Месяц.

— В медицинском заключении, которое мы получили из больницы, написано, что ваша болезнь протекала без осложнений. Вы не теряли сознания. Следовательно, для раздумий у вас было очень много времени. За столько дней можно и до Ташкента пешком дойти. А вы чего-то выжидали.

— Вы допрашиваете меня, как подсудимого.

— Нет, свидетель Бурцев. Я уточняю факты, которые фигурируют в ваших свидетельских показаниях.

— Я говорил правду и только правду.

— В этом я вас не упрекаю.

— Тогда в чем же дело?

— В той позиции, которую вы занимали все это время.

— Я принял ответственность на себя из добрых побуждений. Я не уклонялся от ответственности. Я заявил об этом на суде.

— Но это было всего лишь пять дней назад. И вы сочли, что ваша акция добра окончена?.. Во время войны одному военному инженеру было приказано срочно построить переправу. В дело были пущены телеграфные столбы, которые из-за нехватки гвоздей пришлось крепить проволокой. Когда командир танковой части увидел этот мост, у него волосы встали дыбом: «Я по нему свои танки не поведу». И тогда инженер вспыхнул: «Я сам буду стоять под мостом!» Когда последняя машина прошла на другую сторону реки, инженер вышел из-под моста. Тогда ему было столько же лет, сколько вам сейчас. Вот он действительно принял ответственность на себя.

Она только не сказала, что этим человеком был ее отец.

Лужин неудобно сидел, склонившись над блокнотом, и записывал ответы Бурцева. Он был так удивлен и подавлен услышанным, что даже не успел заметить, как в его душу вкралось сердечное расположение к Щербак-у. Он с грустью начал понимать, что его старой статье копеечная цена в базарный день.

После выступления эксперта, научного сотрудника лесотехнического института, слово предоставили прокурору.

— Я обвиняю подсудимых! — негромко сказал он. Перед ним лежали страницы обвинительного текста, но он ни разу не заглянул в него и многие цифры произносил наизусть, щеголяя памятью. Прокурор избегал монотонности речи, легко и артистично модулировал низким голосом, особенно в тех местах, где образно живописал картины аварии. Его речь была срежиссирована смело, просто и изящно, а полная убежденность в виновности подсудимых обозначилась сразу же. Прокурор обнажил причины, которые, по его мнению, привели Щербака и Каныгина на скамью подсудимых, и главной из них — это он доказывал на ряде примеров — была потеря ответственности. Он считал, что многие удачи выработали в подсудимых уверенность в собственной непогрешимости, и нарисовал не очень приглядные портреты людей, которые потеряли перспективу завтрашнего дня, живя вольготно на проценты от былых заслуг и представляя себя в роли удельных князьков на притоке Волги. Завершая обвинительную речь, прокурор надел очки в тяжелой черной оправе, с чутким вниманием оглядел подсудимых и, повернувшись лицом к суду, твердо и убежденно отметил, что на основе всех перечисленных фактов он признает подсудимых виновными и согласно статье восьмьдесят второй Уголовного кодекса просит их осуждения на три года лишения свободы каждого.

Щербак осторожно откашлялся и закрыл глаза.

Бурцев почувствовал теплоту облегчения, и ему захотелось встать, пройти через весь зал и молча пожать руку прокурору.

Старый технорук был во власти тяжелых раздумий.

Лужин посмотрел на защитника, руки которого тактично гладили записную книжку, словно в ней были собраны драгоценные слова защиты.

— Подсудимый Щербак! — услышал Алексей голос судьи и весь сжался, напрягаясь, точно от ожидаемой боли. — Вам предоставляется слово для защитительной речи.

Алексей поднял голову и с достоинством встал.

— Я отказываюсь от защитительной речи, — сказал он.

Потом слово получил адвокат Каныгина. Он встал, тонкий, толстогубый, чуть забавный на вид, и заговорил

быстро, с хорошим темпераментом и присущим моменту волнением. В своей психологической дуэли с прокурором он подбадривал себя стремительными движениями рук, и эти простые жесты делали его похожим на большого и обиженного мальчика, который хочет разбиться в лепешку, но доказать, что он прав. Адвокат отдал должное ораторскому мастерству обвинителя и по этому поводу вспомнил древних. Он отметил, что прокурор говорил убедительно, но о другом, не о том, что волнует подсудимых и чем озабочен суд. Затем адвокат логично доказал, что эксперт был нетверд в своих выводах и даже заключение сопровождал многими оговорками, которые лишили его необходимой авторитетности. После этого он принялся доказывать невиновность своего подзащитного.

Адвокат закончил речь, выразив уверенность в том, что суд не допустит несправедливости, не вынесет обвинительного приговора старому техноруку, всю жизнь отдавшему сплавному делу, и оправдает его.

Градова предоставила последнее слово Щербаку.

Алексей встал, потер рукой переносицу.

— В последнем слове обычно принято обращаться к суду с просьбой. У меня нет таких просьб.

За ним поднялся Каныгин. Положив тяжелые кряжистые кулаки на барьер, он сказал с сердитой гордостью:

— Последнее слово у покойников бывает. А я жив и жить буду.

Садясь на место, Каныгин перехватил ободряющий взгляд своего адвоката.

Выслушав подсудимых, суд тут же удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Три года тюремного заключения... И по всем правилам арифметики выходило, что приговор вычеркнет из жизни Алексея тысячу девяносто пять дней. И кто знает, может, с этой поры пойдет у него одно вычитание. Горе не ведает плюсов. Это всегда потеря...

Алексей заметил, что, перед тем как уйти в совещательную комнату, Градова, собрав бумаги с судейского стола, посмотрела на него. Он уловил неторопливое движение ее рук, усталость красивого лица, но ничего не смог прочесть в ее взгляде: ни сочувствия, ни осуждения, ни протеста.

Как это много — тысяча девяносто пять дней!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Алексей ехал в автобусе по городу и смотрел в окно, разглядывая улицы и тут же забывая о них, — он думал в это время о своем доме. Алексей давно проехал гостиницу, но не заметил этого и опомнился, когда услышал рев авиационных двигателей.

Здесь, в аэропорту, заканчивался маршрут автобуса. Алексей вышел из машины и, ругнув себя за легкомысленную экскурсию, направился к остановке, где была посадка на обратный рейс.

Рядом в палатке продавали апельсины. Неожиданно очередь зашумела, засуетилась.

Алексей остановился.

Какой-то летчик с независимым видом стоял у прилавка. Одна из женщин, энергично жестикулируя, отчитывала его:

— Если все будут лезть без очереди, апельсинов не хватит.

— Девушка, мне килограммчика три, — сказал летчик кудрявой продавщице.

— Не имеете права! — крикнула женщина.

— Пока я буду стоять в очереди, никто из вас не улетит. Поэтому вашу тревогу объявляю ложной и прошу всех соблюдать порядок. — Летчик повернулся к очереди и вежливо козырнул.

Алексей опешил: «Это ж Лунатик! Черт, усы отрасли!»

И тут же окликнул:

— Лунатик! Степан!

Алексея летчик узнал сразу. И, словно подхваченный вихрем, бросился ему навстречу.

— Леший! Откуда ты?

Они крепко обнялись.

Забыв про очередь, смотрели на них женщины, притихшие, взволнованные чужой радостью.

— Кого из наших встречал? — спросил Смолин, когда они отошли от ларька.

— Димка приезжал ко мне с женой. Порыбачили. Профессор. Преподает в академии.

— Молодец.

— Серафим гостил пару дней.

— Полковник небось?

— Точно. Катапульты испытывает. Здоров как бык, ничто не берет его. Белоусова видел?

— На вертолет пересел. Командир отряда. Недавно по телевидению выступал, рассказывал про сибирские рейсы.

— Если встретишь, пусть пару слов напишет. Мартынов где?

— Разбился.

Алексей не поверил.

— Не может быть!

— Разбился наш Андрей...

Они умолкли, и оба посмотрели на небо. Оно было чистым, голубым.

— Новый аппарат? — спросил Алексей.

— Да.

— Что случилось?

— Ключнул на посадке.

— Наградили?

— Как положено.

— Светка его с двумя осталась, кажется?

— Никак не думал, что она такая стерва. Детей в интернат засунула, сама через два месяца замуж вышла. Вот так! Хоть стой, хоть падай.

— Бывает. У тебя-то что? Как наследники?

— Дочь в институте, сын в армии. Я ходил все время в Сочи, а теперь вот на короткие перевели — сначала в Киев, а нынче сюда. Скоро на отдых, видно.

— Намекает начальство?

— Да нет. Уважает. Но сам понимаешь, не молодые, как тогда, в Крыму. Вот были дни, Леший! Шарашили мы с тобой, старый черт, на полную катушку! Что у тебя?

Алексей вздохнул:

— Плохо, Лунатик.

— Чего вдруг?

— Судят меня. Сегодня как раз последний день.

— Иди ты!

— Авария была на запани. Серьезная авария.

— Минуточку! Где судят?

— Здесь. В городе.

— На набережной, что ли?

— Да.

— Ну-ка, пошли позвоним. Тут у нас с тобой такое знакомство есть — дальше некуда. Надеюсь, помогут.

— Не стоит, — сказал Алексей.

— А в тюрьму командировочку стоит выписать? Там, Леший, суточных не платят. Ты в курсе?..

Через несколько минут они сидели в диспетчерской аэропорта. Смолин полистал записную книжку, pokrутил телефонный диск и сказал:

— Попросите Марию Сергеевну Градову.

— Она на приговоре, — ответил далекий голос.

Степан положил трубку.

Потом они бродили вдоль строя воздушных машин, к которым прикипели с ранней военной юности, и Степан вспоминал, как они вместе с Алексеем спасли раненую Машу Градову осенью сорок третьего года, и та далекая ночь вновь прошла перед ними.

Память

Капитана Щербака вечером вызвали в штаб авиационного полка и поручили с наступлением ночи вылететь в Крым, в партизанский отряд, чтобы вывезти раненых. Задание было сложное. Маршрут перелета и пункт назначения Алексей получил у командира эскадрильи перед вылетом.

Через два часа Щербак посадил машину в заданном районе и принял на борт тяжелораненых. Но бородатый командир отряда, похожий на цыгана, нервно и жалко стал просить летчика взять с собой еще и умирающую радистку. Алексей не мог решиться на такой риск: его машина была перегружена, и он принял жестокое решение — отказал. Другого выхода не было.

Улетая из отряда, Алексей думал о радистке, ему было бесконечно жаль ее, и он решил, что должен к расцвету проскочить обратно в отряд и вывезти девушку — лучше умирать среди своих.

Алексей уже дважды выводил раненых партизан и сразу же терял их из виду, но эти отважные люди, сражавшиеся за крымскую землю, оставались в его памяти.

Алексей летел низко, разглядывая привычным беглым взглядом опаленные и сваленные деревья, заросшие сады, сожженные виноградники, голые телеграфные столбы возле разбитых дорог, и в одну из таких минут заметил вдали самолет противника. «Фокке-вульф», должно быть, возвращался с бомбежки, потому что шел легко и свободно, не имея груза. Он приблизился и дал короткую очередь.

Возможно, враг устал или расстрелял патроны, или просто пелена тумана, поднимавшегося с моря, мешала ему вести хорошее наблюдение, но он улетел прочь.

Несколько пуль пробили фюзеляж машины Алексея.

За фонарем самолета сияли вечные странники неба, но свет звезд не утешал Щербака, как раньше. Он с горечью подумал о радистке и, ясно поняв, что теперь уже спасти ее не сможет, связался с аэродромом.

— Олень! Как слышишь?

— Понял вас, Леший, — ответила земля. — Слышу.

— Возвращаюсь со свидания. На борту трое тяжело-раненых.

— Ни с кем не поругались?

— Да попался тут один конопатый. Поцарапал слегка, но доберусь. На свидание пошлите еще кого-нибудь. Нужно срочно забрать человека.

Земля замолчала. Должно быть, радист разбудил начальство и наводил справки.

— Забрать надо обязательно, Олень, — сказал Алексей.

— Понял вас, Леший. Послать нельзя — скоро светает. Придется подождать до завтра.

— Где Лунатик? — спросил сердито Щербак.

— Только что поднялся с постели. Повез подарочки. До связи, Леший.

— До связи, — ответил летчик и достал планшет, на котором нашел квадрат, куда пошел бомбить Степан Смолин.

Потом пощупал эфир, нашел друга и сказал ему, прижимая ларинги:

— Есть дело, Лунатик. Загляни в шестую комнату после раздачи подарков.

— Зачем?

— Девчонка там помирает.

— Вечно ты приключения на мою голову ищешь, Леший!

— Надо, Лунатик. Надо.

— Бензина у меня не хватит.

— Курс измени.

— На зенитки нарвусь.

— Я прошу тебя, — Алексей вздохнул. — Я бы сам успел, да лататься придется.

— Ладно. До связи.

* * *

И вот теперь, когда поседевший с годами Степан стоял рядом, Алексей догадался, почему так часто ловил

на себе настороженный взгляд судьи, ранее непонятный ему.

Смолин посмотрел на часы.

— Ладно, Леший. Срываться надо — посадка кончается. Держи! — Он протянул Щербаку руку и, прошившись, пружинисто, по-спортивному зашагал к большому самолету, возле которого стоял экипаж в ожидании своего командира.

Щербаку очень хотелось посмотреть, как Лунатик подскочит со взлетной полосы — у него ведь и раньше был коронный взлет, даже дух захватывало, — но решил не мучить себя напрасно и, ощущая отчего-то тоскливую пустоту в гулком сердце, поехал в суд.

Степан Смолин не спеша поднялся по трапу в самолет, угостил своих девочек апельсинами, что привело стюардесс в обычное смущение, потому что командир корабля баловал их. Потом он прошел в пилотскую кабину, снял галстук и, расслабившись, сел за штурвал.

— Коленька, — сказал он, включив радио и связавшись с диспетчерской аэропорта, — позвони по телефончику, — и назвал номер городского суда.

— Кого спросить, Степан Тимофеевич? — уважительно ответили из диспетчерской.

— Градову.

Смолин слышал, как диспетчер сопел, крутил диск, а потом ответил:

— На приговоре она.

— Ясно, Коленька. Через два часа я снова буду здесь. Сделай милость, приготовь машину. Хоть «санитарку», мне все равно. Очень нужно. До скорого. — И выключил радио.

Он сидел молча и вспоминал другого Лешего — молодого, бесстрашного, как тысяча чертей, который не один раз прикрывал его в воздушных атаках, который щедро подставлял свою машину, чтобы его приятель Лунатик не завалился, вытянул и чтобы, не дай бог, не оробел он от страха и непонятного чувства растерянности перед матерым фашистским асом. И уже совсем иные чувства, чуждые мужской сдержанности, несущие святую память фронтового братства, от которых в иную минуту почему-то скупой блеснет слеза и застучит закаленное сердце воина, стали терзать Смолина, настойчи-

во требуя соединиться с другим человеком, случайно забытым в бурном потоке будничной жизни.

«Но я еще жив, тысяча чертей! — подумал Степан Смолин. — Я знаю, что мне нужно делать».

А Щербак в этот час стоял в коридоре суда. Время тянулось мучительно долго, и неизвестность ожидания поглотила все его существо. Каныгин, заметив беспокойство друга, который часто поглядывал на часы, сказал:

— Теперь уже все равно, Фомич. Теперь по ихним часам живем.

— Такая нынче у нас планида, Федор.

— Я тут прикинул и с адвокатом по поводу нас посоветовался.

— О чем?

— Чтобы нас вместе держали. Вдвоем сподручнее.

— Типун тебе на язык!

— Лучше о плохом думать, Фомич. Тогда хорошее большей радостью обернется.

— Какой прогноз у твоего адвоката?

— Успокаивал. Божился, что три года не дадут.

Алексей промолчал, говорить не хотелось.

— Гляди, секретарша появилась, — сказал технорук. — Теперь, значит, скоро.

— Приговор без нее сочиняют, — ответил Щербак. — Судейская тайна.

— Тут все продумано, — вздохнул Каныгин и совсем опечалился, когда увидел возле дверей зала суда двух милиционеров.

Алексей тоже посмотрел на них.

— Подоспело времечко.

— Подошли к причалу, — согласился Каныгин.

— Вид у тебя больно побитый, Федор. Как у собаки. Дрейфишь, что ли?

— Ты не думай, что я тюрьмы испугался. Нет, Фомич. Боюсь, что стыд глаза выест.

И оба старых товарища умолкли, наблюдая за милиционерами. Житейский опыт подсказал им, что эти крепкие парни прибыли в суд, чтобы взять их под стражу сразу же после объявления приговора.

Память

Курсант авиационного училища Щербак вместе с товарищами следил за контрольным прыжком своего одноклассника. Жутким оказался этот прыжок: парашют не

раскрылся, и курсант, сжавшись в ничтожный комок, упал на зеленую поляну. Его уже не могли спасти ни любовь матери, ни теплые слезы девчонки, где-то тосковавшей по нему. Парни растерялись, дрогнули, отчаяние засветилось в их глазах, и этот видимый страх нужно было немедленно убить, обратив его в добрую веру. Курсант Алексей Щербак сказал командиру: «Разрешите повторить прыжок?» — и зашагал на негнущихся ногах к самолету. Страх не отпускал его, уносил вихрем в небо, в ужас, но он прыгнул, и следом за ним пошли другие.

Тогда Алексею был двадцать один год...

* * *

В коридоре появилась секретарь суда и молчаливым взглядом пригласила в зал подсудимых и молодых милиционеров, которые тут же побросали в урну свои недокурные папироски и направились за ней.

Щербак и Каныгин вошли в переполненный зал, осмотрелись.

На своем обычном месте, к которому привык за дни суда, сидел главный инженер Бурцев, только что выбритый в парикмахерской, — от него шел приятный дух легкого одеколона. Рядом с ним пристроился Тимофей Девяткин, опавший с лица, жалобно пряча глаза, повторяя про себя одно и то же: «Как же я, дурак, напоролся?»

Открылась дверь. Вошли прокурор и адвокат. Они заняли свои места. Стулья в полной тишине капризно поскрипели.

Секретарь суда объявила: «Встать, суд идет!» Прогрохотали сиденья, и перед стоявшей умолкнувшей публикой появились Градова и народные заседатели.

Судьи заняли свои места и тоже остались стоять.

Кто-то шумно открыл дверь.

Недовольно вскинув глаза, Градова узнала вошедшего человека.

«Маша! — слышалось ей, хотя она знала, что это совсем не так. — Здравствуй, Маша!»

Да, это был он! Что-то гулко загремело, загрохотало в ее дрогнувшем сознании, и она, стараясь скорее, как можно скорее успокоиться, нашла в себе силы, чтобы обрести хотя бы временный покой в душе, но все равно ощущение невероятной тревоги не оставляло ее.

Это был Степан Смолин.

Он сделал все, чтобы прийти на помощь товарищу,

который, может быть, оступился или покачнулся от жестокого удара судьбы; он пришел, чтобы встать рядом с ним, плечом к плечу, как когда-то, когда их жизнь измерялась мгновениями отчаянной дерзости; он пришел, чтобы обнять друга, с которым не один раз бросал в котелок со спиртом боевые награды, выпивая за боевую удачу, и сказать ему: «Мы с тобой еще побарахтаемся, старый черт!» Он стоял у дверей и видел Алексея, стоящего с опущенной головой, ощущал духоту, словно в зале ожидания вокзала, и плохо понимал, отчего здесь так много людей, разных и взволнованных. Степан пристально оглядел всех, и его догадка, что Маша может осудить Лешего, обрела живую реальность, ясную до конца, и от этого летчик едва не задохнулся — случайность показалась ему такой несуразной, что захотелось горько заплакать, как в детстве, когда он был мальчишкой и его обижали.

Каныгин вдруг почувствовал неведомую боль под лопаткой. Он уперся руками в перекладину барьера и шепнул:

— Худо мне...

Алексей не услышал голоса Федора.

Каныгин, сжав зубы, старался смотреть на судью, но в глазах его рябило.

— «...Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...» — читала Градова.

Зал медленно поплыл. Сначала влево. Затем вправо.

— Леша... — шепнул Каныгин.

Алексей не отозвался.

— «...В ходе судебного расследования суд установил, что подсудимые Щербак и Каныгин не совершили деяний, предусмотренных Уголовным кодексом...»

Каныгин весь напрягся, стараясь уловить слова приговора, но шум в голове заглушал все.

— «...Суд признает Щербака и Каныгина невиновными и выносит оправдательный приговор...»

Лицо Каныгина покрылось испариной. Он стоял с раскрытым ртом и прерывисто дышал.

Алексей увидел серое мокрое лицо Федора и понял, что ему плохо. Он подхватил покачнувшегося технорука и хрипло крикнул:

— Дайте воды!

Секретарь суда проворно выскочила из-за стола и схватила графин. Все молча слушали, как булькала вода, наполняя стакан.

И снова зал вздрогнул, оттого что Евстигнеев выронил из рук очки, которые упали на пол и разлетелись вдребезги.

Дождавшись, когда Каныгин пришел в себя и виновато посмотрел на нее, Градова, стараясь не замечать статную фигуру человека, одетого в форму летчика гражданской авиации, зачитала определение суда. В связи с тем что в процессе судебного разбирательства установлены факты совершения свидетелем Девяткиным поджога, а также за дачу ложных показаний он привлекается к уголовной ответственности.

— Суд установил меру пресечения: взять свидетеля Девяткина под стражу в зале суда, — сказала Градова.

Девяткин неловко взмахнул рукой, хотел что-то крикнуть, но только шевелил губами и мотал головой. Рядом с ним уже стояли два милиционера. Он, зло оглянувшись на судью, пошел под конвоем из зала.

Затем Градова огласила частное определение суда, из которого следовало, что в ходе судебного разбирательства установлен ряд очевидных фактов некомпетентности главного инженера Бурцева, и в силу этих обстоятельств суд рекомендует администрации рассмотреть вопрос о возможности его дальнейшего использования на руководящей работе.

Отчаяние охватило Бурцева, когда он услышал эти слова. Он понял, что проиграл.

И он ушел. Ушел один...

Когда закончился суд, Градова подошла к Смолину.

— Каким ветром, Степан?

— Попутным.

— Я рада этому ветру.

— Я тоже. Встреча с другом всегда приятна. Ты знаешь, кого ты судила?

— Знаю. Очень хорошо знаю. Этот человек когда-то предал меня.

— Маша!

— Ничего не понимаю... Сам говорил, что вывез меня ты!

— Говорил. Только пойми. Это Леший заставил меня слетать за тобой в Кремневку. Он не мог.

— Ты ради него приехал?

— Ради него.

— Боялся? И приехал рассказать, как это случилось?

— Да.

— Ничего бы не изменилось, Степан. Ты веришь мне?

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Отсыяло лето, и вместе с сентябрем в Сосновке грянули дожди. На одном из первых уроков литературы Костя Котов писал сочинение на вольную тему. Склонившись над тетрадкой, он смотрел на чистую страницу, будто ожидал от нее помощи или подсказки.

Перебирая в памяти отрывочные и бессвязные воспоминания своей жизни, Костя откинулся на спинку парты и повернулся к окну, за которым послушно текла река. И не верилось, что совсем недавно она с бешеной силой сокрушила запань. Мальчишка закрыл глаза, вспоминая картины недавней аварии.

Он прислушивался к спокойному плеску реки, но совсем другой, хрупкий звук, тоскливо однообразный, овладел его слухом, и ему почудилось, что все случилось сейчас, а не в тот день, когда он прибежал к дороге, где, спасая девочку, наступившую на сорванный ветром электропровод, погиб его отец. Тогда Костя упал на грудь отца и вдруг услышал, как в нагрудном кармане пиджака тикают в тишине отцовские часы.

Тоненький звук в простые две нотки «тик-так» все еще гремел в ушах, словно требовал рассказать о себе.

Костя склонился над тетрадкой. Но опять не написал ни строчки.

Память уже повела его к заливу, где был устроен учебный сплавной полигон. Здесь молодые сплавщики мерились силой с затором бревен — привыкали бегать по скользким лесинам, орудуя длинными баграми.

Костя помнил, как стоял в отцовских бахилах, ожидая, когда Щербак скажет ему: «Развороши затор», и, едва услышав его команду, с детской удалью прыгнул из лодки на бревно, перескочил на другое и, добравшись до места, где пучился затор, прицелился багром в главное непокорное бревно. С третьего удара он сбил его.

И тогда Щербак сказал:

— Видно, что ты на сплавной улице родился.

Костя долго еще поглядывал в окно, вспоминая всех, кто окружал его, а потом начал писать.

«Когда я был маленький, мне хотелось убежать куда-то, где интереснее жить, чем у нас в Сосновке. Мама говорила, когда я подрасту, это пройдет. И вот мне четырнадцать лет, и пароходные гудки зовут меня в дорогу. Но вдруг все сразу проходит, когда я думаю об одном человеке. Мне хочется стать таким, как он, — Алексей Фомич Щербак, начальник нашей Сосновской запани».

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗРЕНИЕ. Повесть	3
СПРОСИ СЕБЯ. Повесть *	195

* Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

ИБ № 3737

Семен Семенович Клебанов

ПРОЗРЕНИЕ

Редактор **Н. Лагранж**

Художник **Е. Флерова**

Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **В. Пилкова**

Корректоры **Н. Самойлова, Е. Дмитриева, Т. Крысанова**

Сдано в набор 22.07.83. Подписано в печать 13.01.84. А06006.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 18,48. Усл.
кр.-отт. 18,78. Учетно-изд. л. 19,8. Тираж 100 000 экз. Цена
1 р. 40 к. Заказ 943.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Scan Kreyder - 26.05.2018 - STERLITAMAK

63

Семен Семенович Клебанов — драматург, член Союза кинематографистов СССР, член Главной сценарной редакционной коллегии киностудии имени М. Горького. Он автор нескольких книг прозы: «Особое мнение», «Севастопольская тетрадь», «Тайна моего города», «Спроси себя» и др.

Печатался в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Огонек».

По повести «Спроси себя» поставлен одноименный двухсерийный телевизионный фильм.

С. Клебанов более четверти века проработал в печати — был ответственным секретарем «Литературной газеты», заместителем редактора журнала «Смена».

В период героической обороны Севастополя — военный корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе и на Черноморском флоте. В 1966 году газета Военно-Черноморского флота «Флаг Родины» печатала цикл его севастопольских рассказов.

В 1965 году С. Клебанов получил диплом участника конкурса на лучшие радиопередачи, посвященные 20-летию Победы Советского Союза над фашистской Германией, за репортаж с Красной площади во время парада. Имеет двенадцать правительственных наград.

Лауреат Всесоюзного конкурса на лучший сценарий на современную тему к 40-летию Советской власти.